

И. В. ГЕЙНЦЕ

**КНЯЗЬ
ТАВРИДЫ**



Николай Эдуардович Гейнце

Князь Тавриды

Воин, дипломат, блестящий царедворец, князь Г. Потемкин больше известен как фаворит Екатерины II. Истинное же значение этого незаурядного человека для истории России можно определить, опираясь на историческое знание.

Роман Н. Э. Гейнце основан на реальных событиях.

Содержание

Часть первая ИЗ КЕЛЬИ ВО ДВОРЕЦ	0007
I В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ	0007
II ДВОЙНИК	0018
III В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ	0029
IV КНЯЗЬ ХАНДРИТ	0040
V ЮНОСТЬ ПОТЕМКИНА	0051
VI СТАРАЯ ГРАФИНЯ	0060
VII ПО МОНАСТЫРЯМ	0071
VIII ПЕРВЫЙ ЛУЧ И ПЕРВЫЙ ЯД	0083
IX ЗМЕЯ	0095
X АНОНИМНОЕ ПИСЬМО	0107
XI ДВОЙНОЙ ВЫСТРЕЛ	0117
XII ПРЕДСМЕРТНАЯ ЗАПИСКА	0127
XIII ВЕЩИЙ СОН	0138
XIV СТРАШНЫЙ ЗАМЫСЕЛ	0148
XV ПРИ ДВОРЕ	0156
XVI СООБЩНИК	0165
XVII СТРАШНЫЙ ТОРГ	0175
XVIII НА ЧИСТОТУ	0186
XIX ЕКАТЕРИНА — ЧЕЛОВЕК	0197
XX ИМПЕРАТРИЦА	0209
XXI НА ПОЛЯХ БИТВ	0220
XXII ПРИЕМЫШ	0232
XXIII ПОБЕЖДЕННОЕ ИСКУШЕНИЕ	0240
XXIV ПРИМИРЕНИЕ	0248

XXV У СТУПЕНЕЙ ТРОНА	0261
Часть вторая В БОРЬБЕ С ЛУНОЮ	0273
I СВЕТЛЕЙШИЙ	0273
II В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ	0285
III УЗЕЛ	0298
IV ГРЕЧАНКА	0309
V ХОЛОП	0321
VI В ГРЕЧЕСКОМ ПЛЕНУ	0333
VII НЕДОСТАТКИ СВЕТЛЕЙШЕГО	0347
VIII ЖЕНОЛЮБЕЦ	0359
IX ДОСТОЙНАЯ УЧЕНИЦА	0372
X ТАВРИДА	0386
XI РАССЕЯННЫЕ ТУЧИ	0398
XII ВОЗМЕЗДИЕ	0411
XIII ПРОПОЙЦА	0425
XIV «НАШ СЫН ЖИВ»	0438
XV ЖЕНЩИНА-ПРЕЗИДЕНТ	0452
XVI ПЛЕМЯННИЦЫ	0463
XVII СТРАСТЬ СКАЗАЛАСЬ	0475
XVIII В МОНАСТЫРЬ	0487
XIX НА ЮГ	0501
XX ПУТЬ В ВИЗАНТИЮ	0514
XXI В КРЫМУ	0528
XXII РАЗРЫВ С ТУРЦИЕЙ	0542
Часть третья СРЕДИ СТЕПЕЙ	0557
I ОЧАКОВ	0557
II ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕПРИЯТЕЛЯ	0569
III ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН	0583

IV ТРИУМФ	0596
V СМОТРИТЕЛЬ ПАМЯТНИКА	0610
VI ПОПУЩЕНИЕ	0622
VII БЫЛА ЛИ ОНА СЧАСТЛИВА?	0631
VIII ИСПОВЕДЬ	0641
IX НЕОЖИДАННАЯ БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА	0654
X СЛЕЗА ПОТЕМКИНА	0666
XI ПО ДУШЕ	0680
XII РАСКАЯНИЕ	0695
XIII СДАЧА БЕНДЕР	0708
XIV В ЯССАХ	0720
XV СУВОРОВ	0733
XVI ИЗМАИЛ	0748
XVII НА ПУТИ	0765
XVIII ДЕНЬ ПОТЕМКИНА	0778
XIX ДУЭЛЬ	0792
XX ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК	0806
XXI ЗАКАТ	0823
XXII ПОХОРОНЫ ПОТЕМКИНА	0838
XXIII ПОСЛЕСЛОВИЕ	0853

Николай Эдуардович Гейнце Князь Тавриды

Часть первая ИЗ КЕЛЬИ ВО ДВОРЕЦ

I

В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ

На дворе стоял апрель 1791 года. В этот год весна наступила в Петербурге сравнительно рано и день был почти летний.

Это, впрочем, не помешало театралам-любителям наполнить сверху донизу Большой театр, бывший в столице еще новинкой, так как открытие его состоялось 22 сентября 1784 года, то есть только за семь лет до описываемого нами времени.

В шестом часу вечера уже начался первый акт оперы Гольдини «На луне», и зрители с напряженным вниманием следили за игрой артистов, восхищаясь музыкой знаменитого композитора того времени Паизиэлло.

В эту эпоху спектакли начинались обыкновенно в пять часов вечера и кончались не позднее десятого часа.

На одной из скамеек партера сидел красивый молодой человек в форме гвардейского офицера. Высокого роста, с выразительными темно-синими глазами, с волнистыми светло-каштановыми волосами на голове и на усах, с правильными чертами матово-бледного лица, он невольно обращал на себя взгляды мужчин и женщин с различными, впрочем, выражениями. Во взглядах первых проглядывало беспокойство, у вторых же они загорались желанием.

Надо заметить, что в то время в Большом театре кресел было всего три ряда и садились в них одни старики, важные сановники. В ложах второго яруса можно было видеть старух, с чулками в руках, и стариков — купцов в атласных халатах, окруженных чадами и домочадцами.

Молодой офицер, видимо, недавно находился в столице, так как во время антрактов и даже самого действия с любопытством провинциала осматривал на самом деле великолепно отделанную и освещенную театральную залу.

Вдруг взгляд его остановился на сидевшей

одинок во второй от сцены ложе первого яруса молодой даме. Она была брюнетка лет под тридцать, ее черные волосы прекрасно окаймляли белое лицо, на котором рельефно выделялись розовые губки.

Гармоническое сочетание линий, изящество форм, не исключавшие некоторой полноты — таковы были отличительные черты этой удивительной женщины; дальность расстояния не мешала ему любоваться ею, но он догадывался, что она выиграла еще более, если бы было возможно посмотреть на нее поближе.

Было, пожалуй, несколько заносчивости в этих прелестных глазах, оттененных черными густыми бровями, в складках этого розового и улыбающегося рта; слишком много соблазнительного кокетства обнаруживалось, пожалуй, в ее манере держаться и поправлять складки своего платья, но это утрирование принадлежало именно к числу тех недостатков, в которых можно упрекнуть почти всех хорошеньких, знающих себе цену женщин.

Но странная вещь. Когда глаза молодого

офицера остановились на ложе, в которой сидела молодая женщина, ему показалось, что она сделала как бы совершенно незаметное движение удовольствия, тотчас же сдержанное и чуть-чуть кивнула головой.

Это его поразило. Он машинально посмотрел вокруг себя, желая узнать, кому относится этот грациозный кивок, этот мимический разговор незнакомки, но увидел вокруг себя только почтенных старичков, которые ни в каком случае не могли принять на себя проявление чувств красавицы.

Неужели эта тонкая улыбка была предназначена ему? Неужели это он вызвал беглое и мимолетное движение мечтательных глаз, которые затем с очевидною аффектацией, то стали обращаться на сцену, то обводить зрителей.

Вся кровь бросилась в голову молодому офицеру. Сначала, впрочем, он этому не поверил, потом невольно поддался мысли о возможности такого внимания.

Самолюбивое чувство укреплялось в его сердце, и когда, к концу второго акта оперы, тот же кивок головой был сделан в третий

раз, он храбро отвечал на него таким же кивком и улыбкой.

К каким последствиям все это могло повести? Каким очарованием или каким горем может закончиться это приключение? Каким образом он мог даже продолжать его, совершенно незнакомый с нравами и жизнью, Петербурга?

Все эти вопросы лишь на мгновение мелькнули в голове молодого человека, так как когда он самодовольно ответил на последний знак, дама в ложе видимо обрадовалась, что ее поняли.

Когда окончился третий акт, молодой человек вышел в коридор взять оставленную шинель.

Капельдинер, который казалось, кого-то ожидал, быстро приблизился к нему и сунул ему в руку маленький клочок бумаги, сложенной вчетверо.

Молодой человек развернул и прочел написанное наскоро карандашом следующее:

«Приезжайте сегодня вечером, вас ждет карета на площади, в стороне от других. Позвольте, прекрасный мечтатель, отвезти вас

туда, куда зовет вас любовь».

Он дважды прочел эту записку и тотчас же решился. Этот «прекрасный мечтатель» совершенно вскружил ему голову. Не долго раздумывая, он победоносно пробрался сквозь густую толпу, наполнившую сени театра, и вышел на площадь, где действительно заметил стоявшую в стороне от других экипажей карету.

Слуга, одетый в черную ливрею, стоял у дверцы. При приближении офицера он отворил ее, подножка опустилась и молодой человек без дальних рассуждений вскочил в карету.

Как только дверцы захлопнулись, молодой офицер почувствовал, что несется к неизбежному, увлекаемый какою-то неизвестною целью — его охватило странное, невыразимое ощущение. Тысячи смутных волнений поочередно сменялись в его душе: беспокойное любопытство, раскаяние в легкомыслии, радостная жажда предстоящей любви, которая во всяком случае не могла представляться особенно мрачною, так как была возвещена такими прелестными ручками и такою обо-

льстительною улыбкою.

Была минута, когда ему приходила в голову тревожная мысль; он читал французские романы, где герой женскими интригами вовлекался в водоворот политических действий и подобно ему вдруг похищался в карете, запертой на замок.

Он поторопился спустить оконное стекло.

Оно очень легко действовало на пружинах. Дверцы тоже свободно отворялись.

Случилось то, что обыкновенно случается всегда: видя, что есть возможность уйти, он даже не решился попробовать.

Он начал смотреть по сторонам, на окружающую местность, хотя ему, который только утром в первый раз в жизни прибыл в столицу, эта местность не могла объяснить ничего.

Ехали довольно долго. Проехали мост. Вскоре прекратилась мостовая и колеса экипажа видимо врезывались в рыхлую почву.

На дворе почти совершенно стемнело.

Кое-где мелькавшие огоньки в окнах убогих строений указывали на существование людей в проезжаемой местности.

Карета повернула в узкий переулок-тупик и остановилась у решетки, за которой стоял небольшой, но изящный деревянный домик с закрытыми наглухо ставнями.

Лакей прыгнул с козел. Отворил калитку решетки и затем уже опустил подножку.

В это время, когда молодой человек выходил из экипажа, тот же лакей три раза стукнул в парадную дверь домика и она бесшумно отворилась.

Увлеченный таинственностью приключения, молодой офицер не заметил, что при выходе его из театра вышел и неотступно следивший за ним другой офицер, и что другая большая шестиместная карета, запряженная четверкой лошадей, на довольно значительном расстоянии ехала следом за каретой, увозившей счастливого избранника красивой брюнетки.

Когда первая карета повернула в тупой переулок, вторая остановилась на углу.

Молодой человек, между тем, прошел в сенни, вступил в маленькую, темную переднюю, устланную циновками и наполненную цветами; затем, следуя по пятам вертлявой, хоро-

шенькой горничной, очутился в прелестном будуаре, меблированном в греческом вкусе, с обоями на греческий образец, освещенном алебастрового лампою, спускавшеюся с середины потолка, и пропитанном тонким запахом какого-то куренья, которое дымилось из жаровни, поставленной на бронзовом треножнике.

Начало предвещало многое.

Воображение юноши было польщено и очаровано.

Он сел или, лучше сказать, растянулся на изящной кушетке, против камина, в котором искрился блестящий огонек, примешивавший свой свет к лампе, и это двойное освещение распространялось отчасти и на самые отдаленные предметы.

Он обвел глазами всю изящную роскошь окружающей его обстановки и его взгляд, прежде всего, остановился на одном предмете, которого он сначала совсем не приметил: это была небольшая кровать, с шелковыми занавесками, поддерживаемыми позолоченными фигурками амуров; настоящая кровать для кратковременного отдыха какой-нибудь

красавицы, внезапно застигнутой припадком мигрени и желающей уединиться во что бы то ни стало.

«Итак, этот будуар служит иногда и спальней!» — мелькнуло в голове молодого офицера, и эта подробность показалась ему имеющей некоторое значение.

Между тем, хорошенькая горничная, впус- тив его в комнату, тихонько удалилась, по- почти не взглянув на него и лишь сделала отры- вистое движение, видимо означавшее: сиди- те и ждите.

Он и стал ожидать, осматривая окружаю- щие его предметы.

Вдруг он вздрогнул.

Со стены, противоположной той, у которой стояла заинтересовавшая его кровать, глядел на него из массивной золотой рамы презри- тельно властный, знакомый в то время всей России взгляд голубых глаз.

С большого, прекрасно нарисованного мас- ляными красками, портрета смотрел на него, как живой, светлейший князь Григорий Алек- сандрович Потемкин-Таврический.

Молодой человек задрожал.

Кроме, вообще в то время, магической силы этого имени, с ним у сидевшего в изящном будуаре прелестной незнакомки офицера были особые, личные, таинственные связи.

По желанию светлейшего князя, он с поля военных действий из армейского полка был переведен в гвардию и послан в Петербург.

Приехав сегодня утром, он не замедлил явиться в Таврический дворец, но прием его светлейшим был отложен до завтра.

— Пусть погуляет, оглядится... — вынес ему милостивое слово князя докладывавший о нем адъютант.

Он воспользовался этим и поехал в театр.

— И вот...

Все это мгновенно пронеслось в отуманенной голове вытянувшегося в струнку перед портретом всесильного Потемкина молодого офицера.

II ДВОЙНИК

Явственно донесшийся до молодого человека разговор из соседней комнаты, отделенной от будуара, видимо, лишь тонкою перегородкою, вывел его из оцепенения.

— Катя, он еще там?

— Да, Калисфения Николаевна, вот уже час как он ждет, хорошо еще, что я затопила камин.

— Я не виновата... Меня задержали в театре... Как нарочно, явились на поклон... и я уехала почти последняя... А знаешь, с моей стороны эта ужасная смелость... Что если узнает князь...

Молодой человек инстинктивно посмотрел на портрет.

— Но он такой прелестный, и к тому же еще никого я так страстно не любила... Вот мое единственное извинение... — продолжал голос.

«Неужели я так прелестен?» — самодовольно подумал молодой офицер.

— Послушай, Катя, мне надоело ждать-Убери здесь все, я переоденусь сама и приведи его сюда.

Он мигом вскочил. Сердце его сильно билось.

Нельзя не сознаться, что положение его было, действительно, довольно щекотливое.

Он сделал шаг к дверям, из-за которых слышались голоса.

Они отворились. На их пороге показалась Катя, и посторонившись пропустила молодого человека.

Он храбро вошел в другую комнату.

В изящном кабинете, отделанном точно также в греческом вкусе, перед туалетом, на котором стояло зеркало, поддерживаемое двумя бронзовыми лебедями с золочеными головками, сидела прелестная незнакомка и снимала с головы какой-то убор.

Заметив отражение вошедшего в зеркале, она вскочила и бросилась к нему с ловкостью газели.

Он почувствовал страстные, благоухающие объятия, кровь бросилась ему в голову; потом вдруг, порывистым, нервным, неужи-

данным, необъяснимым движением, он был отброшен, чуть не опрокинут, — отброшен этою прелестною женщиною, которой знойное дыхание он еще чувствовал на своем лице.

— Боже мой! — воскликнула она с неподдельным выражением удивления и ужаса и упала навзничь на стоявший вблизи диван.

На крик своей барышни в кабинет вбежала Катя и, ничего не понимая в происшедшем, с недоумением глядела на обоих, как бы спрашивая, что это значит?

— Боже мой! — вскричала она в свою очередь.

— Но что все это значит? — воскликнул наконец, придя в себя, молодой человек, задыхаясь от волнения.

— Я... я ничего не могу сказать... Но наверное это не вы.

— Как это... не я?

— Вам лучше знать...

— Знать! Да ведь тут легко сойти с ума. Что это, комедия или мистификация?

В эту минуту прелестная хозяйка сделала жест горничной и та поспешила к ней.

Обе женщины с минуту разговаривали шепотом.

— Ради Бога, — обратилась Катя к молодому офицеру, — войдите туда.

Она указала ему рукой на дверь будуара.

Потерянный, ошеломленный всем, что случилось с ним в этот вечер, он машинально повиновался и вошел в будуар.

За ним послышался звук запираемого замка.

Совершенно уничтоженный, молодой человек упал на кушетку.

Прошло несколько минут, и он не успел еще привести в порядок своих мыслей, выделить их из того хаоса, в который они были погружены и придать им некоторую стройность, последовательность и определенность, как в кабинете снова заговорили, вероятно не подозревая, что перегородка была чересчур тонка.

— Какое ужасное приключение! Как я несчастна! Какое необычайное сходство... Что делать? Я теряю голову! Как выпроводить его отсюда... Теперь уже ночь... — говорила барыня.

— Успокойтесь, Калисфения Николаевна, я сейчас поговорю с ним... И что же, что теперь ночь... Он не маленький... офицер, — отвечала горничная.

— Подожди... не лучше ли написать ему несколько извинительных слов... Ведь он, кажется, молод, в нем должна быть известная доля деликатности; он не захочет с досады погубить меня, да и к тому же, на самом деле, издали можно было ошибиться...

— Еще бы, я первая попалась бы впросак; но все равно, — издали или вблизи, это совсем не одно и то же...

— Увы! Я сама очень хорошо вижу! А этот! Где же он и что он думает!

«Итак, это была ошибка!» — с отчаянием подумал молодой человек и вскочил с кушетки.

Взгляд его упал на портрет светлейшего. Он, казалось ему, насмешливо улыбался.

Вошла Катя, держа в руках записку. Она была написана наскоро, без подписи и заключала в себе следующее:

«Простите ли вы меня за ночное путешествие, которая я совершенно невольно заста-

вила вас совершить, и за то, которое вам еще предстоит? Ваше сходство с одним из моих родственников, который должен был сегодня приехать ко мне, сделало все это. Мое непротитительное легкомыслие довершило остальное. Умоляю вас, забудьте все, но особенно не сердитесь на меня за неприятность, которую я вам сделала. Клянусь вам, что для меня это гораздо хуже, нежели для вас, и вы должны мне поверить».

— Я сейчас выпущу вас, только достану ключ! — сказала Катя и вышла.

Молодой человек хотел отвечать на прочтенную записку несколькими словами, исполненными чувства оскорбленного достоинства и начал искать перо и чернила на письменном столе. Вдруг ему попался под руку небольшой бархатный футляр.

Инстинктивно он открыл его.

В нем оказался портрет-миниатюра.

Молодой человек остолбенел. Это был его собственный портрет, или же портрет его двойника.

На нем был изображен гвардейский офицер, черты которого были странным образом

поразительно похожи на его собственные, в чем он мог как нельзя лучше удостовериться, приблизившись к большому зеркалу.

Тот же овал, те же линии, но с некоторыми оттенками, которые, впрочем, было весьма трудно заметить.

Он в недоумении положил портрет обратно и беспомощно обвел глазами будуар.

Взгляд его снова остановился на портрете светлейшего князя Таврического.

Ему снова показалось, что этот всесильный красавец насмешливо улыбается углами своего надменного рта.

— Пожалуйте! — вывела из столбняка молодого человека вошедшая с ключом Катя.

Он машинально последовал за нею.

Насмешливый взгляд Потемкина, казалось, провожал его, он чувствовал его на себе.

Катя вывела его из подъезда и проводила до калитки, которую и заперла за ним.

Молодой человек очутился один среди темного и пустынного переулка.

Он на минуту остановился, как бы для того, чтобы собраться с мыслями, затем твердою походкою пошел по деревянным доскам,

заменяющим тротуар.

Он решил идти наугад, так как совершенно не знал ни местности, где он находится, да впрочем, и это знание мало бы помогло ему, так как уже известно читателям, он был в Петербурге первый день.

«Будь что будет! Я поброжу по улицам до утра, а там спрошу дорогу в город, на Ямскую...» — думал он.

Не успел он сделать однако и двадцати шагов, как двое людей загородили ему дорогу и перед ним выросла какая-то черная масса, оказавшаяся каретой, запряженной четверкой.

— Князь Святозаров, именем светлейшего князя Григория Александровича, прошу вас следовать за мной! — сказал грудной приятный голос.

— Князь Святозаров! Вы ошиблись господа! — сказал молодой человек, придя в себя от неожиданной встречи.

— Ваши уловки не помогут... Нам известно, что вы князь Святозаров и его светлость требуют вас к себе...

— Повторяю, господа, вы ошибаетесь, моя

фамилия Петровский Владимир Андреевич... — возразил было молодой человек.

— Повторяю, что мы осведомлены лучше вас...

— Не заставляйте, господин офицер, совершать над вами насилие офицеру при исполнении им служебных обязанностей, прошу вас безоговорочно садиться в карету.

Один из стоявших перед ним вынул из-под полы шинели потайной фонарь и осветил его и себя.

Наш ночной путешественник действительно увидел перед собою человека в военной форме, жестом приглашавшего его в открытую дверцу кареты, у которой стоял лифрейный лакей.

— Именем светлейшего князя Григория Александровича прошу вас, ваше сиятельство.

Молодой человек послушно взобрался на подножку и скорее упал, нежели сел в угол кареты. За ним вошел его спутник и уселся рядом.

Подножку подняли, дверца захлопнулась и карета покатила по рыхлой, немощеной

улице.

Несчастный молодой человек некоторое время сидел с закрытыми глазами, без дум, без мыслей.

Приключение первого вечера в столице сбило его окончательно с толку.

Экипаж выехал на замощенные улицы и шум колес о камни вывел его из оцепенения. Не открывая глаз, он начал соображать.

Кто этот князь Святозаров, за которого его принимают?

Не тот ли, который изображен там на миниатюре, сходство с которым заставило его совершить это ночное путешествие на окраину города, пережить столько сладостных надежд и такое горькое разочарование.

За этим князем Святозаровым следят по приказанию светлейшего князя Григория Александровича Потемкина, портрет которого красуется на видном месте в этом волшебном будуаре-спальне.

В этом должна быть несомненная связь.

Мысли молодого человека перенеслись на князя Потемкина, которого он видел лишь издали, но который играл несомненно какую-то

роль в его судьбе.

Владимир Андреевич припомнил свое детство в Смоленске, в доме родственников светлейшего. Он был воспитанником-приемышем. Кто были его родители — он не знал. Затем он был отправлен в Москву в университетскую гимназию, откуда вышел в военную службу в один из армейских полков и прямо отправился на театр войны с Турцией. Неожиданно, с месяц, с два тому назад, он был отозван из своего полка и переведен в гвардию с командировкою в Петербург, в распоряжение светлейшего князя, генерал-фельдмаршала.

Что могло все это значить?

Эти вопросы жгли мозг молодого человека, но, увы, оставались без ответа.

Вдруг карета остановилась.

Владимир Андреевич открыл глаза и, несмотря на темноту, различил из окна кареты величественное здание Таврического дворца.

III

В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ

Таврический дворец, один из многочисленных памятников блестящего царствования Екатерины II, до сих пор почти в неизменном виде сохранившийся на Воскресенском проспекте, с тем же обширным садом, прудами, островками, каскадами и беседками, два раза во время жизни светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического находился в его владении.

Первоначально оно было построено князем в виде небольшого домика, но после присоединения Крыма, по приказанию императрицы, архитектор Старов на месте прежнего дома построил роскошный дворец, наподобие Пантеона.

Императрица назвала его Таврическим и подарила великолепному «князю Тавриды», как называли тогда не только в России, но и в Европе, увенчанного лаврами военных побед Потемкина.

Главное здание дворца было вышиной

около шести сажень, с высоким куполом и перистилем из шести колонн, поддерживающих фронтоны.

К обеим сторонам дворца пристроены флигеля, выведенные до самой улицы. Обширная площадь перед дворцом ограждена невысокою чугунною решеткою.

Внутреннее расположение дворца, вместе с пространством между обоими флигелями, представляет одну огромную залу, в середине освещенную окном, сделанным в куполе; два ряда колонн придают зале необыкновенно величественный вид.

В одной стороне залы расставлены мраморные статуи, на другой стороне зимний сад.

Вскоре, однако, князь Потемкин продал этот дворец императрице Екатерине II за 460000 рублей.

Незадолго до начала нашего рассказа, а именно в феврале 1791 года, императрица снова подарила этот дворец князю Григорию Александровичу, в числе многочисленных милостей и наград, которыми она осыпала его, прибывшего из Ясс с новыми победными

лаврами.

В тот самый день и час, когда знакомый уже нам Владимир Андреевич Петровский, только что прибывший в Петербург и явившийся к светлейшему, но не допущенный к нему и получивший через адъютанта милостивое «пусть погуляет», начал в Петербурге так печально окончившиеся столичные похождения, сам Григорий Александрович готовился к выезду во дворец.

Высокий, пожилой — Потемкину в то время перевалило за пятьдесят — широкоплечий богатырь, в ярком мундире, обшитом сплошь золотым шитьем, с широкой грудью, покрытой рядом звезд и крестов, русских и иноземных, он уже вышел из кабинета.

Всякий, выдавший светлейшего в первый раз, невольно преклонялся перед этим совершенством человеческой телесной красоты: продолговатое, красивое, белое лицо, правильный нос, высокоочерченные брови и голубые глаза, небольшой рот с приятной улыбкой и круглый подбородок с ямочкой.

Левый окривевший глаз был неподвижен и являлся резким контрастом с правым, пол-

ным жизни, светлым, зорким и несколько рассеянным.

Князь окривел в начале своей придворной карьеры, по милости тогдашнего всезнайки фельдшера академии художеств Ерофеича, изобретателя известной настойки, приложившего к больному глазу Григория Александровича какую-то примочку.

На князя потеря глаза до того сильно подействовала, что он удалился в Невскую лавру, отпустил бороду, надел рясу и стал готовиться к поступлению в монашество.

Его спасли прозорливость и доброта императрицы.

Она сама лично навестила его и уговорила возвратиться в мир:

«Тебе не архиреем быть, их у меня довольно, а Потемкин один, и ждет его иная стезя».

Предсказание монархини сбылось.

Светлейший шел уже к парадной лестнице своей неуклюжей, перевалистой походкой, простой, не сановитой и не деланной, производившей особое впечатление.

«Весь залитый золотом да орденами и регалиями; в камнях самоцветных и алмазах,

и так шагает по-медвежьи», — говорили современники.

Ряды придворных светлейшего блестящей живой изгородью тянулись от зала до подъезда.

Князя сопровождал его приближенный секретарь, Василий Степанович Попов.

Это был подвижный человек, лет сорока семи, среднего роста, с добродушно-хитрым татарским выражением лица. Уроженец Казани, он учился в тамошней гимназии и начал службу в канцелярии графа Панина в первую турецкую войну, перешел потом к московскому главнокомандующему князю Долгорукову-Крымскому, который назначил его правителем своей канцелярии и выхлопотал чин премьер-майора.

После смерти Долгорукова, Попов, успевший сделаться известным Потемкину, как способный, трудолюбивый и деятельный чиновник, был взят им в правители своей канцелярии и скоро снискал неограниченное доверие князя.

Ко времени нашего рассказа он уже был генерал-майором орденов до Владимира I сте-

пени включительно.

Ряд придворных почтительно преклонялся перед шедшим властелином, который был, видимо, в самом лучшем настроении духа, но все с недоумением смотрели на голову вельможи.

Голова эта была светлорусая, в природных завитках, без пудры, которая считалась необходимой при дворе.

Этим-то и объяснялось недоумение окружающих.

Никто не решился, однако, заметить об этом светлейшему.

Один из стоявших адъютантов князя шепнул на ходу об этом Попову.

— Ваша светлость, — обратился к нему Василий Степанович ранее не обративший внимания на несовершенство туалета светлейшего, — ваша светлость! На вас чего-то недостает.

Потемкин быстро взглянул в зеркало и отвечал:

— Правда твоя, недостает «шапки»!

Сказав это, князь уже при входе в подъезд, вдруг круто повернул обратно и среди недо-

умевающих придворных вернулся в свой кабинет.

Вид его был мрачен, добродушно-веселая улыбка бесследно пропала с его красивых губ.

Князь захандрил.

Войдя в кабинет, он грузно опустился в кресло. Василий Степанович и несколько адъютантов вошли следом за ним и стали в почтительном отдалении.

У всех на уме было одно: «Начинается!»

Действительно, начиналось.

Начинались дни, иногда даже недели, когда князь запирался в свою комнату и ложился на диван, небритый, немытый, растрепанный, сгорбленный, в поношенном халате и в утренних туфлях на босу ногу.

Сам князь чувствовал приближение этих дней. Достаточно было малейшей незначительной причины, чтобы ускорить их приближение..

«Подступает! Идет!» — говорил он сам себе, еще будучи на ногах и в сравнительно хорошем настроении духа.

«Пришло! Захватило!» — решал он мрачно, уже лежа на диване.

Болезни этой не понимали не только окружающие светлейшего, но и он сам. Завистники объясняли ее придворными неудачами самолюбивого вельможи или, попросту, народным определением «с жиру бесится».

Но это была, очевидно, болезнь сильная, давнишняя, с юных лет. Это была болезнь душевная, а не телесная.

К ней, впрочем, примешивались иногда недомогания и слабость. Болезнь эта являлась, как лихорадка, периодически и держала больного иногда три, четыре дня, иногда более недели.

Припадки бывали то сильные, то слабые.

— Кофею! — приказал князь.

Адъютант князя Баур бросился отдать приказание метрдотелю.

Баур был любимый адъютант князя, которому он давал серьезные и щекотливые поручения.

В 1788 году во Франции разгорелась революция.

Светлейший, зорко следивший из своего очаковского лагеря за ходом европейской политики, нашел необходимым, ввиду предсто-

ящих событий, достать из французского министерства иностранных дел некоторые важные бумаги, касающиеся России.

Он призвал Баура и велел ему взять дорожную и скакать в Париж за модными башмаками для Прасковьи Андреевны Потемкиной, жены его двоюродного брата, впоследствии графа, Павла Сергеевича.

Весть об этом облетела весь лагерь и возбудила толки и пересуды.

«Вот причудник! В Сибирь посылает за огурцами, в Калугу — за тестом, в Париж — за башмаками!» — толковали в офицерских землянках.

Григорий Александрович, между тем, сунул в дорожную сумку Баура пакет на имя одного из парижских банкиров и несколько секретных писем к кое-кому в Париже, обнял его и отпустил шутя и смеясь.

По приезде в Париж, Баур вручил пакет и письма по адресам, а сам пустился по всем модным лавкам заказывать башмаки «*pour madame Potemkin*».

Князь знал, кого куда посылать и кому что поручать.

На другой день весь Париж толковал уже о странной фантазии русского вельможи — прислать своего адъютанта в столицу Франции за парой башмаков.

По этому поводу был даже сочинен и поставлен на сцене водевиль.

Но в то время, когда парижане занимались разговорами о чудачествах князя, банкир отсчитал одной даме шестьдесят тысяч червонцев за то, чтобы она выкрала из бюро страстно влюбленного в нее министра «известные бумаги».

Золото сделало свое дело — бумаги очутились в руках Баура, а золото у корыстолюбивой сильфиды.

Первый достал модные башмаки, положил в карман бумаги и исчез из Парижа.

Обожатель сильфиды хватился пропажи, но было поздно — она была уже в руках Потемкина.

Таков был адъютант Баур, красивый мужчина, блондин, лет тридцати с небольшим.

— Что же кофею! — с нетерпением повторил князь.

Все присутствовавшие по очереди спешивали.

ли распорядиться о скорейшем удовлетворении желания светлейшего.

— Когда же кофей? — мрачно продолжал повторять Потемкин.

Наконец, дымящийся душистый напиток в большой чашке севрского фарфора, на золотом подносе, был принесен и поставлен перед Григорием Александровичем.

Последний до него не дотронулся. Он сердито отодвинул поднос и встал.

— Не надобно! Я только хотел чего-нибудь ожидать, но и тут меня лишили этого удовольствия.

И князь, низко опустив голову, удалился в смежную с кабинетом комнату, служившую ему уборной — разоблачаться.

— Начинается! — снова мелькнуло в умах присутствующих. Все на цыпочках вышли из кабинета и разбрелись по обширным апартаментам дворца.

IV КНЯЗЬ ХАНДРИТ

Князь захандрил.

Все во дворце затихло, как бы замерло. Все ходило неслышной походкой, говорило шепотом, несмотря на то, что светлейший находился в самой отдаленной комнате дворца.

В комнате этой, обитой серым ситцем, на огромной софе лежит неподвижно этот «баловень счастья» и смотрит в одну точку. Одет он в атласный фиолетового цвета халат, с расстегнутым на груди воротом рубашки. Золотой крестик с двумя образками и ладанкой на шелковом шнурке выбился наружу и лежит поверх халата. Одна шитая золотом туфля лежит у босых ног на софе, а другая валяется на полу.

Князь лежит неподвижно, лишь по временам тяжело вздыхает и ворчит себе под нос.

Из отрывистых фраз можно было заключить об исходной точке этого состояния светлейшего.

— Что желал, к чему стремился — все

есть...

— Исполнены все малейшие помыслы, прихоти... Чинов хотел, орденов — имею... денег... есть... Деревни... дома... есть... Драгоценности... целые сундуки... Пирьы, праздники... давал и даю... Все планы... все страсти... все исполнилось... а счастья... счастья... нет... Все удачи не покроют... не залечат раны первой неудачи... Не залечат... никогда... никогда... — бормотал князь.

Тяжелые вздохи несчастного счастливица оглашали комнату.

В комнату, где лежал князь, имели доступ только самые близкие люди и благоприятели светлейшего, а из служащих — один Василий Степанович, навещавший по временам князя и зорко следивший за столом, на котором лежали бумаги, карандаш, прутик серебра, маленькая пилка и коробочка с драгоценными камнями разного цвета и вида.

Когда князь о чем-нибудь размышлял, то, чтобы не отвлекаться и сосредоточить свои мысли на известном предмете, он брал в руки два драгоценных камня и тер их один об другой, или же обтачивал пилочкой серебро,

или, наконец, раскладывал камни разными фигурами и любовался их игрою и блеском.

Что в это время созревало в его уме, он тотчас же записывал на приготовленной бумаге и потом, отворив дверь, звал Попова и отдавал приказания.

Такая бумага с карандашом, коробочка с драгоценными камнями, серебряный пруттик и пилочка лежали на письменном столе кабинета светлейшего.

Бумага и карандаш клались и на игральный стол в то время, когда князь играл в карты, так как Потемкин и в этом занятии не оставался праздным, и часто прерывая игру, записывал то, что приходило ему в голову. Во время игры в комнату несколько раз входил Попов, становился за стулом князя и как только замечал, что бумага отодвинута, тотчас брал и спешил привести в исполнение написанное.

Впрочем, во время припадков князь редко брал в руки лежавший на столе карандаш, а если это случалось, то было уже верным признаком выздоровления.

В описываемый нами день до позднего ве-

вчера бумага была нетронута.

Князь продолжал лежать неподвижно. Даже принесенные кушанья убирались назад нетронутыми.

Припадок княжеской хандры был, видимо, сильнее обыкновенного.

Понятно, что отсутствие пудры на голове, видимая причина начала припадка, была только той каплей, которая переполнила сосуд. Начало непонятных припадков нелюбимости, доходившей до болезненного состояния, надо искать в более отдаленном от описываемого нами времени жизни Григория Александровича Потемкина.

Недаром он часто повторял непонятную ни для кого даже из близких ему людей фразу:

— Все удачи не покроют... не залечат ран первой неудачи... Не залечат... никогда... никогда...

Был первый час ночи, когда Василий Степанович, во время припадков хандры светлейшего проводивший ночи почти без сна и не раздеваясь, вышел из кабинета князя. Навстречу ему быстро шел Баур.

— Наконец я его накрыл... — с нескрывае-
мой радостью начал он. — Что светлейший?
— Лежит... Но кого же вы накрыли?..
— Князя Святозарова.

Попов отступил и удивленно окинул взгля-
дом говорившего.

— Вы знаете?

— Что?

— Он умер.

— Кто?

— Князь Василий Андреевич Святозаров.

— Он здесь, живехонек... и здоровехонек.

— Послушайте... это что-нибудь да не так;
не далее как несколько часов тому назад я по-
лучил официальное донесение о смерти кня-
зя, убитого на дуэли, в доме его родителей...
Княгиня Зинаида Сергеевна была здесь не бо-
лее как с час времени, желала видеть свет-
лейшего и просить как-нибудь затушить это
дело... Она приехала прямо от только что
охладевшего трупа сына, горе ее не поддается
описанию...

Баур, в свою очередь, отступив шага на два
назад, во все глаза удивленно смотрел на По-
пова.

— Кого же я привез?.. Я взял его там...

— Где?

— На Васильевском.

— А!

— Он вышел от нее, приехав к ней из театра... Я видел его в театре и не мог ошибиться... Это он... Исполняя поручение светлейшего, я привез его прямо сюда... Вы разве не знаете, что светлейший пригрозил ему, что если он еще раз будет у ней, он его на ней женит, а мне поручил следить за ним... Молодой князь, казалось, образумился и, боясь исполнения угрозы, оборвал связь... Но сегодня, видимо, не выдержал и, получив от нее записку, помчался... а я за ним... Прождал я, пока они там амурились, и захватил его... при выходе...

— Поздравляю... значит вы поймали не того... это, конечно, вам делает честь, потому что мертвого привезти было легче, — улыбаясь заметил Попов.

— Повторяю вам, я ошибиться не мог...

— Однако, ошиблись... Не могла же ошибиться мать, приехавшая прямо от трупа своего единственного сына...

— Позвольте... Он тоже уверял меня, что я

ошибаюсь и называл себя Петровским...

— Теперь я понимаю... Вы правы... Он на самом деле поразительно похож на Святозарова... Я видел его сегодня утром, когда он явился к светлейшему.

— Вот так дела! — развел руками Баур.

— Да дружище... На всякую старуху бывает проруха... Это не парижские башмаки... Тут сам черт не разберет, как перепутано... Светлейший, видимо, покровительствует этому Петровскому и это покровительство имеет какое-то отношение к княгине Святозаровой...

— Откуда вы это знаете?

— Знать не знаю ни откуда, а догадываюсь, глаз у меня наметан стал на службе у его светлости...

— Что же теперь делать... Надо все же доложить князю...

— Об этом нечего и думать... Я было доложил ему о смерти князя Святозарова, так и сам не рад был.

— Чего?

— Да понес такую околесину, что хоть святых выноси... О небесном возмездии, геене огненной... О своем навсегда разрушенном сча-

стии, да и об этом Петровском, кстати.

— Вот оно что!

— Вскочил на софе и присел даже, как я ему сказал, потом снова лег, лицом к стене от-вернулся и точно умер... Четвертый раз после этого к нему вхожу — не шелохнется.

— Как же быть?

— Ах, Баур, Баур, точно это вам в первый раз... надо выждать... А арестанта вашего, за беспокойство, угостите-ка ужином, я сам не прочь закусить; обедал наскоро, как всегда, когда беда эта стряется со светлейшим...

— Хорошая мысль, Василий Степанович, прекрасная мысль... Может быть вино развя-жет этому Петровскому язык и мы узнаем что-нибудь интересное... Пойдемте.

— Да вы куда его упрятали?

— Уж и упрятал... У меня в комнатах... Как гость, честь честью...

— То-то... а то неровен час... нам самим го-ловы свернет...

— Вы что-то нынче, Василий Степанович, все загадки задаете...

— Да разве наша с вами здесь жизнь — не сплошная загадка?

— Пожалуй, и правда, — тряхнул Баур своей белокурой головой.

Они оба отправились в помещение Баура, жившего в Таврическом дворце.

Владимир Андреевич Петровский задумчиво сидел в кресле кабинета любимого адъютанта светлейшего и, казалось, не переменил позы с момента ухода последнего с докладом о нем князю.

«Вот тебе и карьера, вот тебе и мечты о покровительстве всесильного, о придворной жизни, красавицах... — думал совершенно упавший духом молодой человек. — Красавицы! — он вспомнил коварную брюнетку и ее жгучий поцелуй. — Попутал бес, в какую попался кашу; может, всю жизнь придется расхлебывать...» — пронеслось у него в голове.

Он чутко прислушивался к царившей во дворце тишине. Малейший шорох заставлял его нервно вздрагивать.

— Что повесил голову, камрад, — дружески ласковым тоном заговорил последний. — И впрямь подумал, что его привезли под гнев светлейшего... На посещение красоток вечерней порой у нас его светлость не гневается:

сам грешит и людям прощает...

Петровский встал и с нескрываемым удивлением смотрел на Баура и слушал совершенно изменившийся тон его голоса. Баур, нисколько не смущенный, представил его Попову.

— Однако, у меня от этой отдаленной прогулки разыгрался аппетит, я чаю и вы тоже проголодались? — обратился он к Владимиру Андреевичу. — Ужин теперь будет очень кстати.

Он вышел распорядиться.

Петровский и Попов остались одни.

Последний заговорил о Петербурге, спрашивал о впечатлении, произведенном им на молодого человека, и, между прочим, заметил:

— Светлейший-то завтра приказал вам явиться, но едва ли представление состоится — он заболел...

— Опасно? — с тревогой в голосе спросил Владимир Андреевич.

— Нет, но надо будет переждать несколько дней...

— Идемте, закусим чем Бог послал! — сказал вошедший Баур. — Чем богат, тем и рад!

Все трое перешли в соседнюю комнату, в которой был сервирован роскошный и обильный ужин «потемкинской» кухни.

Невольный гость отдал должную честь яствам и питьям, но надежды Баура не оправдались — он оказался очень сдержанным на язык.

За ужином решено было, что он останется у Баура, а завтра пошлют за его пожитками на постоялый двор на Ямскую.

— Не знаешь, где найдешь, где потеряешь! — подумал Баур, выслушав согласие Петровского поселиться у него.

Светлейший продолжал лежать на софе, обернувшись лицом к стене, неподвижно смотря в одну точку на замысловатый рисунок ситца, которым были обиты стены.

Он был буквально поражен смертью молодого князя Святозарова и посещением княгини.

Перед ним неслись одно за другим воспоминания юности.

V

ЮНОСТЬ ПОТЕМКИНА

Григорий Александрович Потемкин, впоследствии светлейший князь Таврический, был сын небогатого дворянина, отставного майора Александра Васильевича Потемкина.

Он родился в сентябре месяце 1739 года, в имении своего отца, сельце Чижево, около Смоленска.

До двенадцатого года он воспитывался в родительском доме, а затем был отдан в смоленскую семинарию, так как в Смоленске в то время не было светских учебных заведений.

В 1755 году открылся Московский университет, и мать Потемкина (отец его умер в 1746 году) определила сына в учрежденную при нем дворянскую гимназию, записав его, вместе с тем, в лейб-гвардии конный полк рейтаром.

Молодой Потемкин с самых ранних лет отличался необыкновенною памятью, быстротою ума и чрезвычайным честолюбием, которое обнаруживалось во всех его поступках.

— Хочу быть архиереем или министром! — говорил он еще в бытность свою в семинарии.

В первое время по поступлении в гимназию Потемкин занимался очень прилежно, так что на другой же год получил за успехи в науках золотую медаль.

В 1757 году директор университета Мелиссино отправился в Петербург по делам службы и взял с собою, для представления куратору И. И. Шувалову, лучших студентов и учеников гимназии.

В числе последних находился и Потемкин. Все они через несколько дней по приезде были потребованы во дворец.

Императрица Елизавета обошлась с учениками весьма милостиво и, по ходатайству Шувалова, «для лучшего одобрения и поощрения учащегося юношества», пожаловала их чинами, с оставлением до окончания курса в университете.

Потемкин возвратился в Москву с чином капрала и снова отдался своим любимым занятиям, то есть книгам.

Он читал их без разбора, всегда лежа в по-

стели.

Один из его товарищей, Матвей Иванович Афонин, впоследствии ординарный профессор Московского университета, купил на последние свои деньги исключительно для Потемкина только что вышедшую тогда в свет и наделавшую много шума «Натуральную Историю Бюффона».

Григорий Александрович взял книгу и так быстро пробежал все сочинение, что казалось только перелистал ее.

Афонин, оскорбленный таким невниманием, не скрыл от любимого товарища своего неудовольствия, но был чрезвычайно удивлен, когда последний подробно передал ему содержание книги и доказал, что ознакомился с сочинением весьма основательно.

Другой приятель Потемкина, Ермил Иванович Костров, впоследствии небезызвестный поэт и переводчик Иллиады, дал ему с десяток томов самого разнообразного содержания.

Григорий Александрович возвратил ему их через несколько дней.

— Да ты, брат, видимо, только полистал

страницы в моих книгах, — заметил удивленный Костров, — на почтовых хорошо лететь по дороге, а книга не почтовая езда.

— Пусть будет по-твоему, — ответил Потемкин, — что я летел на почтовых. А все-таки я прочитал твои книги от доски до доски; если не веришь, то изволь, профессорствуй; взбирайся на стул вместо кафедры, раскрой любую из своих книг и спрашивай громогласно, а я отвечу без запинки.

Оказалось на самом деле, что Потемкин не только прочел книги, но вник в каждое сочинение и твердо удержал в памяти прочитанное.

Он пересказал приятелю все как заданный урок. Близость с Афониным, Костровым и особенно с поэтом Василием Петровичем Петровым, впоследствии переводчиком Virgiliевой «Энеиды» и «Потерянного рая» Мильтона, имела большое влияние на развитие будущего государственного человека.

Особенно в благотворном смысле повлиял на Потемкина Петров.

Страстно любя греческую и латинскую словесность, Василий Петрович занимался ими с

молодым своим приятелем, учил его языку Гомера и переводил вместе с ним «Иллиаду».

В Григории Александровиче он нашел внимательного и любящего предмет ученика.

Таков был юноша Потемкин.

Прошло пять лет.

Григорию Александровичу шел двадцать первый год.

Начальство гимназии считало его украшением заведения и возлагало на него блестящие надежды, как вдруг он внезапно охладел к ученью, перестал являться в классы и начал усердно посещать монастыри, где проводил время в беседах с монахами о религиозных предметах.

Университетское начальство, употребив безуспешно все исправительные меры, вследствие представлений инспектора гимназии профессора Антона Алексеевича Барсова, выключило Потемкина из гимназии «за леность и нехождение в классы».

Причиной, произведшей роковой поворот во внутреннем мире молодого человека, была, как и всегда, женщина.

Григорий Александрович влюбился, влю-

бился безумно и даже, увы, не безнадежно.

Безнадежная любовь находит противоядие в самолюбии, но для любви разделенной и остающейся лишь в форме неосуществимой мечты, противоядия нет.

Такова была любовь и молодого Потемкина.

Между ним и любимой им девушкой легла пропасть и рана не зажила до самой его смерти.

Григорий Александрович жил в Москве у приятеля своего покойного отца и соседа по имени в Смоленской губернии, Ивана Дементьевича Курганова.

Иван Дементьевич состоял главноуправляющим графини Анны Ивановны Нелидовой, известной московской аристократки — статс-дамы императрицы Елизаветы Петровны, лично известной Царствующей государыне.

На поклон к Анне Ивановне ездили все московские власти и вся московская знать.

Управление многочисленными имениями, рассыпанными в плодороднейших губерниях России, в которых были младшие управляющие, сосредоточивалось в главной конторе

графини, во главе которой стоял Иван Дементьевич.

Это был высокий, худой старик, всегда с чисто выбритым лицом и с открытым взглядом добрых, честных, голубых глаз, до старости не потерявших своего юношеского блеска.

Он был вдовец и жил со своей единственной дочерью Настей, хорошенькой блондинкой, с золотисто-льняными волосами, но каким-то не детским — ей шел пятнадцатый год — вдумчивым выражением миловидного личика, в одном из обширных флигелей дома графини на Поварской улице, близ Арбатских ворот.

Дом этот, один из немногих сохранившихся до сих пор в Москве в своем прежнем виде, был построен полукругом в глубине обширного двора, огражденного с улицы массивной чугунной решеткою с двумя воротами, украшенными традиционными львами, со всеми причудами теперь, увы, отжившего барства.

Два флигеля своим фасадом выходили на улицу: в правом помещались контора и людская, а в левом жил главный управляющий

Иван Дементьевич Курганов.

Оба флигеля были соединены с главным домом крытыми теплыми галереями.

Товарищи юности, Иван Дементьевич и старик Потемкин, сохраняли, несмотря на разность житейских дорог, положения и состояний, самые искренние дружеские отношения до самой смерти последнего.

Когда мать Потемкина, Дарья Васильевна, привезла сына в Москву и посетила с ним приятеля своего покойного мужа, то последний сам предложил ей поместить Грица — так звали мальчика в родительском доме — у него, не позволив, конечно, даже заикнуться о каком-нибудь вознаграждении.

Дарья Васильевна со слезами на глазах бросилась обнимать своего благодетеля и уехала в свое имение совершенно успокоенная за судьбу своего единственного детища.

Она и не предчувствовала, что в этом доме случится с сыном эпизод, который отразится на всей его жизни, что здесь он утратит навсегда свое личное счастье, чтобы принести его в жертву величии государства, что отсюда он выйдет, как это ни странно, несчастным

«баловнем счастья».

Гриц, которому шел в это время шестнадцатый год, скоро освоился в чужом доме: подружился с четырнадцатилетней Настей, сумел привязать к себе Ивана Дементьевича и сделался в доме, как родной.

Красивый, стройный, остроумный, веселый, он с самой ранней юности умел нравиться людям и привязывать их к себе своим добродушным, откровенным характером.

С Настей он скоро стал на «ты» и между ними возникло чисто братское чувство, которое, подобно тихому ручейку, освещенному полуденным солнцем, мирно катит свои чистые, как кристалл, воды не только без бурь, но даже без малейшей зыби.

Жизнь флигеля шла совершенно отдельно от жизни главного дома графини, и связующим звеном, кроме чисто деловых сношений Ивана Дементьевича с «ее сиятельством», была племянница графини, дочь ее брата, княжна Зинаида Сергеевна Несвицкая, ровесница Насти и большая ее приятельница, часто забегавшая во флигель и по целым часам без умолку болтавшая со своей подругой.

Эта дружба завязалась и продолжалась без ведома старой графини, жившей в главном доме со своей дочерью, молодой графиней Клавдией Афанасьевой, которой в момент нашего рассказа уже исполнилось восемнадцать лет.

VI

СТАРАЯ ГРАФИНЯ

Жизнь графини Анны Ивановны Нелидовой была даже для тогдашней, полной всевозможного рода причудниками и причудницами, Москвы предметом толков и удивления.

Огромный дом был переполнен приживалками, число которых с прислугой доходило до ста пятидесяти человек.

Парадных комнат было множество, но Анна Ивановна почти никогда не выходила из своих внутренних апартаментов.

Более всего поражала комната, где она спала: она никогда не ложилась в постель и не употребляла ни постельного белья, ни одеяла.

Она не выносила никакого движения око-

ло себя, не терпела шума, почему все люди ходили в чулках и башмаках в ее присутствии говорили шепотом.

Без доклада к ней никто никогда не входил.

Чтобы принять кого-нибудь, соблюдалась тысяча церемоний, и нередко желавшие видеть ее ожидали приема по несколько часов.

В официантской сидело постоянно 12 официантов; на кухне было четырнадцать поваров и огонь никогда не гасился, так как Anne Ивановне приходила фантазия спросить чего-нибудь закусить не в назначенный час и это случалось зачастую ночью; для обедов и завтраков, у нее, как и для сна, не было положенных часов.

Все делалось по капризу, по первому требованию ее сиятельства.

Комната, где она постоянно находилась, была обита малиновым штофом.

Посредине было сделано возвышение, на котором стояла кушетка под балдахином, от кушетки полукругом с каждой стороны стояло по шести ваз из великолепного белого мрамора самой тонкой работы, и в них горели

Лампы.

Эффект, производимый всей этой обстановкой, был поразителен.

В этой комнате Анна Ивановна совершала свой туалет, также необыкновенным способом.

Перед ней стояли шесть девушек, кроме тех, которые ее причесывали; на всех них были надеты принадлежности туалета ее сиятельства.

Графиня ничего не одевала того, что не было согрето предварительно живой теплотой.

Для этого выбирались красивые девушки от 16 до 20 лет; после двадцати лет их назначали на другие должности.

Даже место в карете, перед тем как ей выехать, согревалось тем же способом, и для этого в доме содержалась очень толстая немка, которая за полчаса до выезда садилась в карете на то место, которое потом должна была занять графиня.

Пока она выезжала, немка нагревала место на креслах, в которых Анна Ивановна всегда сидела.

Спала графиня на кушетке, на которой рас-

стилалось что-нибудь меховое, и покрывалась она каким-нибудь салопом или шалью.

На ночь она не только никогда не раздевалась, но совершала даже другой туалет, не менее нарядный, чем дневной, и с такими же церемониями.

Надевался обыкновенно белый пеньюар, вышитый или с кружевами, на шелковом цветном чехле, затем пышный чепчик с бантами, шелковые чулки, непременно телесного цвета, и белые башмаки с лентами, которые завязывались, а бантики тщательно расправлялись, как будто бы графиня ехала на какой-нибудь бал.

В таком пышном туалете графиня опускалась на кушетку и никогда не оставалась одна.

При ней было до сорока избранных женщин и девушек разного возраста, которые поочередно должны были находиться в ее комнате.

На ночь в комнату ее сиятельства вносились диваны, на которых помещались дежурные.

Они должны были сидеть всю ночь и

непрерывно говорить вполголоса.

Под их говор и шепот дремала причудница, и если только они умолкали, она тотчас просыпалась.

Стол ее был не менее прихотлив, как все остальное, и накрывали каждый день на сорок персон.

Сама она обедала с дочерью и племянницей за особым столом, к которому приглашались только избранные, а зачастую даже в своей комнате, куда вносился уже накрытый стол на шесть персон, так как она требовала около себя абсолютной тишины и спокойствия.

Она не хотела знать никакой заботы, никакого горя, и когда ее второй сын Михаил был убит на дуэли, ей решились сказать об этом только год спустя.

Старший сын ее, Николай, пропал без вести, уехав за границу.

Все доходы с имений привозились и сдавались Ивану Дементьевичу. В одной из комнат конторы стоял комод, куда ссыпались деньги по ящикам, по качеству монеты, и сам Иван Дементьевич хорошенько не знал, сколько

ссыпалось и сколько расходовалось.

Дело велось по простоте, без книг и двойных и тройных бухгалтерий.

В доме было так много всевозможных редкостей, что комнаты были похожи на магазин.

Одних платьев счетом было пять тысяч.

Для них велась особенная книга, с приложением образчиков, по которым графиня назначала, какое платье желала одеть.

Два сундука были наполнены самыми редкими кружевами, ценностью до ста тысяч рублей.

Целая комната была занята разными дорогими мехами, привезенными, как говорили, из Сибири.

Графиня страшно любила наряжаться, покупала очень много по магазинам.

Когда ей нравились какие-нибудь материи, то она покупала кусками, чтобы у других не было подобных.

Рожденная княжна Несвицкая, она вышла замуж поздно — под сорок лет: так долго не могла она найти себе человека по сердцу.

Граф Афанасий Григорьевич Нелидов про-

жил с ней не более десяти лет и умер от ожирения сердца, оставив ей по завещанию все свое громадное состояние, которое, в соединении с огромным приданым графини, и составило то колоссальное богатство, которое считалось первым даже в Москве, тогда городе невероятных богачей.

Дочь графини Анны Ивановны, Клавдия Афанасьевна, была сильная брюнетка и резкими чертами восточного типа лица напоминала свою мать.

Те же злые глаза, те же надменно сложенные губы, тот же прямой нос с горбинкой и низкий лоб.

Ни она, ни мать, в молодости не были красивыми, они обе брали фигурой, сложением и посадкой.

Когда графине Клавдии или «Клодине», как звала ее графиня Анна Ивановна, было тринадцать лет, в доме ее матери появилась княжна Зина, десятилетняя девочка, дочь покойного младшего брата графини, князя Сергея Несвицкого, умершего молодым вдовцом.

Сначала девочки жили дружно, но это продолжалось каких-нибудь два-три года, пока

еще не успел окончательно сложиться властный и эгоистичный характер молодой графини.

Княжна Зинаида, гордая от природы, не дала себя совершенно подчинить своей взрослой кузине и они разошлись, одна с затаенным злобным чувством, другая — найдя себе утешение в дружбе с Настей Кургановой.

Годы шли; все хорошеющая княжна Зинаида Сергеевна возбуждала все большую и большую ненависть со стороны своей двоюродной сестры, пока, наконец, не случилось обстоятельство, доведшее это «родственное чувство» до своего апогея.

Но не будем забегать вперед.

Молоденькая Настя успела заинтересовать свою подругу рассказами о появившемся в доме мальчике Грице, который с годами делался стройным, красивым молодым человеком.

Детские игры и забавы с летами привели к другому чувству, заставившему юные сердца товарищей детства, как это бывает всегда, забиться сильнее и тревожнее.

Княжне Зинаиде шел в то время восемнадцатый, а Потемкину двадцать первый год.

Молодые люди влюбились друг в друга.

В это же время в доме графини Нелидовой появилось новое лицо.

Это был князь Андрей Павлович Святозаров, прибывший из Петербурга, где он играл довольно значительную роль при дворе императрицы Елизаветы Петровны.

Он приехал в отпуск повидаться с родными, безвыездно жившими в Москве и входившими в тот высокий круг московского высшего общества, в котором вращались графиня Нелидова и ее дочь.

Князю было лет тридцать пять. Он шел по статской службе и метил в сенаторы или министры.

О его выдающихся способностях государственного человека говорили с полным убеждением в компетентных правительственных сферах.

Он стоял во главе одного из административных учреждений столицы, был на виду, но был холост.

Петербургские маменьки уже целые годы устраивали безуспешно облаву на выгодного жениха, желая доставить своим дочкам бле-

стящую партию.

Появление его в Москве, хотя и на время, вселило сладкие надежды в московских матерях взрослых дочек.

Графиня Анна Ивановна тоже наметила князя в женихи своей Клодин, а последняя, кроме того, без ума влюбилась в петербургского гостя.

На московских балах и «soirées dansante» князь был видимо увлечен величественной фигурой молодой графини Нелидовой, ее восточным типом и огненным взглядом черных глаз.

Он стал усиленно ухаживать за ней и сделал визит в дом графини.

Этот визит изменил его намерения.

Совершенная противоположность молодой графини, которой уже было за двадцать, ее двоюродная сестра княжна Зинаида, восемнадцатилетняя блондинка, с выражением лица гетевской Гретхен, положительно заполнила сердце уже пожившего и избалованного женщинами князя и он круто повернул в ее сторону.

Совершилась безмолвная драма.

Гордая графиня Клодина заметила перемену в князе и, затаив в сердце злобу и ненависть к неожиданной сопернице, первая отстранила от себя намеченного ее матерью и избранного ею жениха, объявив матери, что не любит его и не может сделаться его женой.

— Не перестарок же я какой-нибудь, что вы хотите сбить меня с рук, тапан, — заметила она. — Князь, кажется, к тому же, совершенно растаял от прелестей Зинаиды, — язвительно заметила она. — Ему она как раз под пару, покорная овечка, да и вам, тапан, сбить ее с рук чем скорее, тем, думаю, лучше...

Графиня Анна Ивановна удивленно вскинула глаза на свою дочь, так как, вместе с другими свидетелями ухаживания князя на балах и вечерах за ее дочерью, думала, что последняя не прочь сделаться из флейлин статс-дамой и переехать в Петербург уже княгиней Святозаровой.

Она прочла на лице графини Клодины серьезное решение.

— Как хочешь, та shere, я тебя не неволю, ты ведь мне не мешаешь... — ответила стару-

ха.

Князь Святозаров обратился таким образом из жениха Клавдии Афанасьевны в жениха Зинаиды Сергеевны.

Последняя, влюбленная в Потемкина, далеко не старалась увлечь блестящего жениха, что еще более раззадоривало последнего.

Он сделал предложение старой графине, и та, после переданного уже нами разговора со своею дочерью, дала свое согласие.

— Я поговорю с ней... и думаю, что это уладится, — сказала она восхищенному князю.

VII

ПО МОНАСТЫРЯМ

Молодой Потемкин, между тем, в один прекрасный день признался Ивану Дементьевичу Курганову в своей любви к княжне Зинаиде Сергеевне.

Старик страшно взволновался.

— Вот глупости! Разве ты не знаешь, что княжна Несвицкая самая богатая невеста не только в Москве, но, пожалуй, и во всей России.

— Я это знаю, — отвечал Григорий Александрович, — но Зина любит меня.

— Почему ты это знаешь?

— Она сама мне это сказала.

Курганов окинул молодого человека строгим взглядом.

— Ты воспользовался тем, что моя дочь ее подруга, и увлек молоденькую девушку, почти ребенка, ты, еще сам мальчишка...

Григорий Александрович опустил голову.

— Если ты это сделал, то поступил более чем нехорошо... нечестно... Графиня Анна Ивановна, конечно, доверяя мне, смотрела сквозь пальцы на частые посещения моей квартиры ее племянницей... Ты сделал меня невольным нарушителем доверия ее сиятельства, ты, в благодарность за мою ласку, за любовь к тебе, как к сыну, опозорил мои седины.

— Иван Дементьевич, Иван Дементьевич... — бормотал смущенный юноша.

— Я хочу все знать... Говори...

Молодой человек рассказал ему в подробности весь свой роман с молодой княжной.

Курганов выходил из себя. Его чистой совестью представлялось все это в мрачном виде,

он все преувеличивал и продолжал волноваться.

Он позвал свою дочь и стал упрекать ее в пособничестве этому «позорному делу» — его подлинное выражение.

Настя плакала и уверяла отца, что она не имела никаких дурных намерений, что ничего дурного не случилось.

Старик несколько успокоился, убедившись на самом деле, что происшедший под его кровлей роман двух молодых людей остался на почве чистого чувства.

— Честь и дочь — мои главные сокровища, — сказал Иван Дементьевич, обращаясь к молодому Потемкину. — Ты поступил непорядочно, хотя я убежден, что не умышленно... Ты говорил ей о любви и нарушил ее сердечный покой и за это ты должен быть наказан. Как?.. Чтобы меня и мою дочь обвинили в пособничестве к ловле богатой невесты для сына моего друга... Одна эта мысль ужасает меня! Что подумает обо мне ее сиятельство! Она может потребовать от меня отчета... Ты понимаешь это, Гриц, сознаешь ты свою опрометчивость?

Потемкин стоял понуря голову.

— Ты можешь это поправить только тем, что более не увидишься с княжной.

Григорий Александрович тяжело вздохнул.

— Ты вздыхаешь, ты страдаешь при этой мысли, — продолжал старик, — но подумай только, как бессмысленна твоя любовь. Княжна Несвицкая — богачка, никогда не может быть твоей женой, женой теперь еще школьника, а впоследствии, в лучшем случае, гвардейского офицера с несколькими десятками душ за душою... Будь благоразумен... Собрись с силами, будь честен и забудь...

— Но она?! — воскликнул с болью в голосе молодой человек.

— Она выйдет замуж за князя Святозарова... Он сделал ей предложение... Говорят, он так же богат, как и она...

Григорий Александрович зарыдал как ребенок, закрыв лицо руками.

— Несчастный, как он ее любит! — пробормотал Иван Дементьевич.

Григорий Александрович на другой же день рано утром ушел из дома и вернулся

только поздно вечером.

Такую жизнь он повел изо дня в день.

Княжна, конечно, узнала о странном поведении молодого человека.

Настя сочинила ей целую историю, что Потемкин решил теперь жить только для науки, что он сам недавно назвал будто бы свое увлечение княжной детской шалостью, согласившись с ее отцом, считавшим это чувство одной глупостью, а потому и избегает ее.

Княжна была поражена, неутешна, но, увы, не отступалась от своего чувства.

Настасья Ивановна, между прочим, передала своей подруге и сущность разговора ее отца с Григорием Александровичем и княжна почувствовала себя оскорбленной.

С ее сердцем, с ее чувством, значит, только играли?

Она горько оплакивала свою потерянную иллюзию и разбитые мечты.

В это-то время ее позвала к себе графиня Анна Ивановна, которая передала ей о предложении, сделанном князем Святозаровым.

— Я уже выразила согласие... Надеюсь, что ты не пойдешь против моей воли, я тебе заме-

нила отца и мать, — заметила графиня.

Княжна согласилась.

Князь был красив, знатен, ласков, может быть только немного серьезен для такой молодой девушки.

Княжна чувствовала к нему симпатию и сказала себе:

— Я его могу полюбить!

Этой любовью к мужу она хотела вылечить рану своего молодого сердца.

Свадьбой не замедлили. Она была роскошна. Вся титулованная, сановная Москва присутствовала на ней. Молодые, сделав установленные визиты, через несколько дней уехали в Петербург.

Григорий Александрович Потемкин по-прежнему вел образ жизни, о котором народ очень метко замечает: «одна заря вгонит, другая выгонит».

Домашние его почти не видали и не знали, где он проводит дни. Иван Дементьевич находил нужным дать свободу молодому человеку.

«Пусть забудется... даже покутит малость... Эта встряска только для него полезна...» — ду-

мал старик.

Потемкин, однако, и не думал кутить.

Он бросился в другую сторону и целые дни, не посещая классов, проводил в монастырских церквах.

Усердная и продолжительная молитва юноши обратила на него внимание монахов, с которыми он вскоре свел знакомство и стал проводить время в их кельях, за беседой на тему о суете мирской жизни.

Полученное первоначальное воспитание в смоленской семинарии сближало его с лицами духовного звания.

Он нашел среди них себе покровителей, которые поддержали появившуюся в голове молодого человека мысль идти в монахи.

Последовавшее исключение Потемкина из гимназии еще более укрепило его в этом намерении. Свадьба княжны Несвицкой с князем Святозаровым окончательно подвинула его на этот решительный шаг.

Но для поступления в монашество необходимо было заручиться рекомендацией кого-нибудь из лиц высшего духовенства.

В это время в Москве славился умом и по-

движническою жизнью архиерей Амвросий Зертис-Каменский, впоследствии известный архиепископ московский и калужский.

Об искреннем желании юноши Потемкина было доложено его преосвященству покровителем молодого человека, монахом Чудова монастыря.

Его преосвященство пожелал увидеть будущего инока и подвижника, как говорил о нем докладчик.

С трепетом сердца вступил Григорий Александрович в архиерейские покои и остался ждать в приемной, пока служка пошел докладывать о прибывшем его преосвященству.

Много дум пронеслось в голове молодого человека, много ощущений испытал он за те десять-пятнадцать минут, которые он провел в приемной Амвросия.

Служка вернулся и попросил Потемкина следовать за ним.

Пройдя еще две комнаты, он отворил дверь и пропустил в нее Григория Александровича.

Молодой человек очутился в образной архиерея.

Это была довольно обширная комната, две стены которой были сплошь увешаны иконами старинного художественного письма, некоторые в драгоценных окладах, а некоторые без всяких украшений, внушающими своей величественной простотой еще более благоговейные чувства... Двенадцать лампад слабым мерцанием освещали комнату, борясь со светом дня, проникавшим в узкие готические окна.

На высоком кресле в черном камлотовом подряснике сидел почтенный старец, перебирая правой рукой надетые на левой кипарисовые четки.

Покрытый клеенкою войлок пола заглушал шаги.

Все в этом уголке молитв московского иерарха располагало к молитвенному настроению.

— Подойди сюда, сын мой Григорий! — раздался грудной, проникающий в душу, голос Амвросия.

Потемкин приблизился и с благоговением и каким-то душевным трепетом поцеловал благословившую его руку чудного старца.

Архиерей долгим пронизательным взором обвел стройного красивого юношу, казалось, созданного для счастья, любви и беззаботной жизни шумной молодости, и кротко улыбнулся углом рта.

Быть может, и в голове сурового по жизни монаха промелькнула именно эта мысль и он не мог представить себе этого полного жизни красавца в подряснике послушника, отрекающегося от этой еще неизведанной им жизни.

— В монахи, слышал, хочешь? — спросил его преосвященство.

— Имею искреннее желание, ваше преосвященство... — отвечал хорошо заученной формулой ответов Григорий Александрович.

— А давно ли это у тебя искреннее желание и почему явилось оно? — спросил, после некоторой паузы, пристально смотря прямо в глаза гостя, Амвросий.

— С малолетства... — отвечал заученной фразой Потемкин и опустил глаза, не вынося проникающего в душу взгляда старца.

— Ой ли, с малолетства... Что же, родители изобидели?..

— Никак нет-с...

— Так с чего... Ты мне, молодец, признавайся, как на духу... Между мной и тобой только Бог...

Он снова уставил свой взгляд на Потемкина.

Тот невольно опустился на колени у ног епископа и зарыдал так же, как зарыдал, когда Иван Дементьевич запретил ему видеться с княжной.

— Говори! — заметил Амвросий, дав ему выплакаться.

Григорий Александрович, прерывая свою речь всхлипыванием, откровенно и подробно рассказал весь свой роман с княжной Несвицкой, решение приютившего его Курганова, свадьбу княжны и свое исключение из гимназии...

— С этого-то ты и захотел в монахи? — снова углом рта улыбнулся архиерей. — Отречься задумал от жизни, еще не жив... Думаешь молиться-то легче, чем учиться или служить... Нет, брат, нелегко это, коли по-настоящему, а не по-настоящему совсем не надо, потому грех еще больший... больший... Бога ты не обманешь... Ты, чай, в службу записан?..

Григорий Александрович отвечал, не скрыв и получение чина капрала.

— Видишь, тебя наша матушка-царица еще малышом уже пожаловала, а ты от службы увильнуть хочешь на монастырские хлеба... Ловок, я вижу, ты, брат... Вот тебе мой отеческий совет... Поезжай-ка ты в Питер да послужи-ка верой и правдой нашей милостивице, благоверной государыне... Коли годов через десять сохранишь желание в монахи идти — иди, а теперь нет тебе моего благословения...

Потемкин все еще продолжал стоять на коленях, понутив голову.

— Встань, — сказал архипастырь.

Амвросий тоже встал и подошел к вделанному в стене шкафу, отпер его и, вынув пачку денег, подал ее Григорию Александровичу.

— Здесь пятьсот рублей тебе на дорогу и на первое время... Поезжай и служи...

Григорий Александрович дрожащей рукой взял деньги.

Амвросий благословил его. Молодой человек облил руку старца слезами благодарности. Он вышел от него обновленный.

На другой же день он уехал в Петербург, простившись с Кургановым и не скрыв от него ничего.

Матери он тоже написал откровенное письмо.

VIII

ПЕРВЫЙ ЛУЧ И ПЕРВЫЙ ЯД

Прибыв в Петербург, Григорий Александрович без всяких препятствий был зачислен в действительную службу вахмистром лейб-гвардии конного полка.

Это было в половине 1761 года, последнего года царствования императрицы Елизаветы Петровны, умершей внезапно 25 декабря 1761 года.

Полковая служба вскоре его сблизила со всею лучшею петербургскою молодежью.

Он сделался одним из горячих приверженцев великой княгини Екатерины Алексеевны.

Непродолжительно было царствование Петра III, вступившего на престол после смерти Елизаветы Петровны.

Наступило 28 июня 1762 года — день госу-

дарственного переворота, доставившего коро-
ну Екатерине II.

В числе окружавших в Петербурге молодую государыню представителей гвардии находился и вахмистр Потемкин.

Принимая присягу в верности от гвардии, императрица подъехала верхом к конно-гвардейскому полку и обнажила шпагу.

Вдруг она увидала, что на ней нет темляка и смутилась. Начальство полка заметило это смущение и растерялось.

Григорий Александрович, не сводивший глаз с обожаемой всею молодежью того времени государыни, первый заметил это и, подскочив к смутившейся императрице, сорвал со своего палаша темляк и поднес его стоявшей перед полком с обнаженной шпагой Екатерине.

Государыня милостиво приняла услугу догадливого вахмистра и подарила его благо-склонной улыбкой. Императрицу поразила находчивость и присутствие духа молодого красавца.

Потемкин уже намеревался отъехать к своему месту, но лошадь его, привыкшая к эс-

кадронному ученью, остановилась подле лошади императрицы и не слушая ни шпор, ни усилий всадника, стояла как вкопанная.

— Как вас зовут? — обратилась к сконфуженному вахмистру императрица, желая ободрить его.

— Вахмистр Григорий Потемкин, ваше императорское величество, — отвечал Григорий Александрович.

— Откуда вы родом?

— Дворянин Смоленской губернии, ваше императорское величество!

— Давно на службе?..

— Второй год, ваше императорское величество!

— Не тяжела служба?

— Теперь, когда жизнь каждого из нас посвящена вашему императорскому величеству, — легка...

— Хорошо сказано, господин подпоручик Потемкин... — отвечала государыня.

Таким образом Григорий Александрович был произведен в подпоручики.

Через несколько дней ему было, кроме того, пожаловано шестьсот душ крестьян.

Первый луч яркого солнца счастья блеснул на него.

Набожный юноша всецело приписал это благословению архиерея Амвросия и деньгам, данным ему московским иерархом.

В нем заговорило честолюбие и в этом чувстве ему захотелось утопить оскорбленное чувство первой любви.

Снова, как во дни раннего детства, в его голове застыла мысль: «Хочу быть министром».

Эта новая, созданная им цель его жизни, казалось, успокоила его. Его мысли перестали нестись к дому на набережной Фонтанки, где жили князь и княгиня Святозаровы.

Последние жили очень замкнуто и Григорий Александрович в течение проведенного в Петербурге года ни разу не встречался со своим прежним кумиром.

Светские петербургские сплетни, однако, не миновали его ушей и глубоко огорчали его.

В петербургском свете говорили, что брак Святозаровых нельзя отнести к разряду счастливых, что супруги не сошлись характерами и ведут жизнь далеко не дружную.

К несчастью, в этих толках было более правды, чем это бывает обыкновенно.

Княжна Зинаида Сергеевна, выйдя замуж лишь с надеждой полюбить своего мужа и этой любовью заглушить первое чувство, не нашла поддержки своим стараниям в князе Святозарове.

Молодой муж не понял ее.

Он чувствовал только, что его жена не принадлежит ему всецело и вместо того, чтобы стараться привлечь ее к себе ласкою, он стал ревновать к прошедшему, сделался недоверчивым и угрюмым.

Он совершенно перестал улыбаться, молчал и окончательно удалился от общества, принудив к этому и жену. К каждому шагу, к каждому движению княгини он стал относиться с предубеждением.

Сам, быть может, не сознавая того, он сделался тираном.

Молодую княгиню это еще более оттолкнуло от мужа.

Через одиннадцать месяцев после свадьбы княгиня подарила мужа сыном.

Князь был на седьмом небе.

Можно было подумать, что он переродился, но, увы, не в пользу жены, — ее он как бы даже не замечал.

Какая-то непонятная отцовская любовь поглощала его всецело.

У него была одна цель в жизни — его сын Василий.

Он окружил его всеми возможными роскошью и удобствами, он расточал ему свои ласки, об нем только и заботился, об нем только и говорил, ему он только и улыбался.

Его друзья и сослуживцы смеялись над ним и говорили, что ему недостает только одного для полнейшего счастья: что он не может кормить сам грудью своего сына.

Княгиня была удалена от сына, она видела его только изредка. К нему приставили кормилицу.

Казалось, князь хотел быть один любимым своим сыном.

Когда мать брала его на руки, он выходил из себя и кричал с беспокойством:

— Оставь, оставь, ты делаешь ему больно!

Он запретил ей даже целовать своего ребенка.

Княгиня покорно переносила весь этот ад семейного очага, эту полную невыносимость мук жизни в золоченной клетке, но все же чувствуя свое одиночество, свою незащищенность от домашнего тирана, она искала хоть кого-нибудь, кому бы могла излить свою наболевшую душу, и нашла...

В несчастной княгине приняла участие ее двоюродная сестра Клавдия Алексеевна.

Надо заметить, что молодая графиня Нелидова недолго после свадьбы Зинаиды Сергеевны оставалась в девушках.

Она вскоре вышла замуж за графа Петра Антоновича Переметьева, старика лет под шестьдесят, годившегося ей не только в отцы, но, пожалуй, в дедушки.

Этот неравный брак наделал большого шума в Москве и был толкуем на разные лады в московском высшем обществе.

Цель графини Клодины была достигнута, она переехала с мужем в Петербург и, также как княгиня Святозарова, сделалась статс-дамой при дворе императрицы.

Она-то и приняла участие в своей кухне и выказала ей горячую привязанность.

Зинаида Сергеевна верила в эту запоздалую дружбу и платила ей искренней взаимностью.

Доверчивая и честная по натуре, она и не подозревала, что ее двоюродная сестра играет комедию и с адским расчетом ловко строит ей роковую западню.

Графиня Клодина поклялась отомстить за отбитого у ней жениха, князя Святозарова, и выжидала.

Какое мщение задумала она?

Она хотела во что бы то ни стало, совершенно разбить их семейную жизнь и самой явиться в роли утешительницы князя Андрея Павловича, которого она не могла разлюбить до сих пор, но чувство к которому тщательно скрывала в тайнике своего сердца.

Она не была из разборчивых в средствах для достижения своей цели. Она бы ни на минуту не задумалась сделаться любовницей князя Святозарова, лишь бы доставить огорчение его жене, ее счастливой сопернице.

Этой-то предательнице и доверилась молодая княгиня.

Окончательное охлаждение, происшедшее

между супругами после рождения сына, было на руку светской интриганке.

Она воспользовалась невинными признаниями своей кузины, чтобы разжечь ревность князя Святозарова.

Вскоре она узнала всю тайну княгини Зинаиды Сергеевны.

Она любила молодого Потемкина и до сих пор не забыла его.

На этом графиня Клодина построила свой гнусный план. Она знала, что молодой Потемкин в Петербурге.

Слух о происшедшем в Петергофе стал быстро известен в высшем свете. Вскоре она устроила, что молодой Потемкин был ей представлен и сделал визит. Его пригласили вечером на маленький *soirée*. Графиня привезла почти насильно к себе и княгиню Святозарову.

Так состоялась неожиданная для обоих встреча.

Графиня Клодина следила за ними во все глаза. Это было в гостинной. Она видела, как они оба смутились и растерялись. Княгиня побледнела при виде молодого офицера и, ед-

ва, поклонившись, вышла в другую комнату.

Потемкин посмотрел ей вслед и отошел к окну, чтобы скрыть взволновавшие его чувства.

Графиня Клодина все это заметила и осталась довольна.

— Они до сих пор любят друг друга, — сказала она себе. — Дело теперь только в том, чтобы раздуть огонь.

В это время в зале начались танцы.

Графиня подошла к Григорию Александровичу.

— Как вы задумчивы? — сказала она. — Почему вы не танцуете.

— Я никогда не танцую! — отвечал он печально.

— Это теперь говорят все молодые люди... Какие скучные делаются мужчины... Неразговорчивые, серьезные...

— Но если уж дан от Бога серьезный характер.

— Как у вас?

— Да.

— Тогда надо позволить развеселить себя такому капризному существу как я... Мы ведь

с вами старые знакомые, жили когда-то под одной кровлей, хотя виделись довольно редко... Так прочь скуку... Я готова побиться об заклад, что знаю причину ее.

Потемкин побледнел.

— Садитесь здесь со мной. Тут нам никто не помешает и поговорим о вашем, данном от Бога, серьезном характере. Мне сдается, что он явился у вас не особенно давно.

— Вы думаете?

— Да, и знаю даже с какого времени...

— Вот как!

— С тех пор, как княжна Зина вышла замуж.

Григорий Александрович вскочил, как ужаленный:

— Что вы... говорите... — начал он, задыхаясь.

— Тише, тише... — засмеялась она. — Я читаю в вашем сердце, как в раскрытой книге. Вы все еще ее любите.

Он схватил ее за руку.

— Ради Бога, замолчите! — бормотал он.

— Кто же нас слышит? И ее ведь здесь нет, она в зале...

— Все равно... если бы вы знали...

— Что?

— Я чувствую, что не могу совладеть с собой... О, говорите, как вы могли узнать тайну, которую я сам от себя скрывал... Может быть, она сама вам сказала?..

— Несчастливая Зина ничего не говорила мне... Я просто догадалась...

— Вы назвали ее несчастною?..

— Да, она несчастлива.

— Разве князь...

— Князь обожает ее... Но она его не любит...

— Она его не любит?!

— Она не может любить, потому что ее сердце принадлежит вам, потому что она осталась верной своей первой любви...

— О, замолчите, замолчите...

— Почему? Разве я говорю неправду, разве вы сами не заметили, как она побледнела, встретившись с вами, как она задрожала, кланяясь вам...

— Мне показалось, что она хотела избежать этой встречи.

— Конечно, при такой массе свидетелей

она должна была бояться выдать себя.

Григорий Александрович задыхался от волнения. Графиня Клодина положительно пожирала его глазами.

— Я люблю Зину и страдаю с ней вместе. Я бы так хотела видеть ее счастливой... Зачем вы не женились на ней?

— Я не смел и об этом и думать...

— Жаль, что я не знала об этом ранее... Зина была бы теперь вашей счастливой женой.

IX ЗМЕЯ

— Теперь я все понимаю! — продолжала коварная женщина. — Иван Демснтьевич своим самолюбием и своей гордостью погубил две жизни... Он разлучил вас с Зиной и разбил вашу университетскую карьеру... В это время князь сделал предложение... Вы, быть может, не знаете, что сначала она отказала... Она наверное ждала... вас... Но, так как вы скрывались от нее, она с отчаяния послушалась совета моей матери... Она, конечно, подумала, что вы никогда не любили ее.

— Бедная княгиня! — вздохнул Потемкин. — Она презирает меня теперь, ненавидит, быть может...

— О, я могу поклясться, что тот поцелуй, которым она подарила меня, предназначался для вас.

Григорий Александрович сомнительно покачал головой.

— Нет, нет, все кончено! Она жена другого... О, если бы я смел с ней поговорить, если бы я мог ей сказать...

— Что вы все еще ее любите?

— Нет, это было бы для нее оскорбительно... но я хотел бы объяснить ей свое поведение в Москве...

— Что же вас удерживает?

— Она не захочет меня выслушать...

— В ее будуаре может быть — нет... Но здесь у меня...

— За такое счастье я отдал бы всю жизнь! — сказал он дрожащим голосом.

Глаза графини Клодины блеснули.

— Это я вам устрою... Необходимо, действительно, чтобы вы оба объяснились. Это будет для нее утешением, а для вас облегче-

нием...

— Как вы добры.

— Хорошо, хорошо, вы меня поблагодарите после...

В это время в гостиную вошла княгиня Зинаида Сергеевна.

Графиня Клодина пошла ей навстречу, между тем, взгляды княгини и Григория Александровича, продолжавшего стоять на том же месте, встретились.

Казалось, это были две встретившиеся молнии.

Княгиню поразила необыкновенная бледность молодого человека.

Ее сердце наполнилось жалостью.

Сославшись на головную боль, она простилась с хозяйкой, которая успела шепнуть ей:

— Я буду у тебя завтра... Мне надо многое сказать тебе...

Княгиня вспыхнула. Она прочитала на губах подруги готовое с них сорваться имя Потемкина.

— Ты всегда моя желанная гостья... — с трудом проговорила она.

Подруги расцеловались.

— Так до завтра! — шепнула княгиня.

— Да.

Княгиня уехала.

Вскоре откланялся хозяину и хозяйке и Григорий Александрович.

На другой день, часов около трех, графиня Клодина уже была в будуаре княгини Святозаровой.

Последняя ожидала ее с нетерпением.

— Твои вчерашние слова, милая Клодина, ужасно беспокоили меня, — начала княгиня Зинаида, когда подруга удобно уселась в кресле. — Я продумала о них всю ночь... У тебя есть верно передать мне что-нибудь очень важное?

— Это зависит от того, как ты на это взглянешь... Дело идет о сохранении твоего спокойствия, даже о предупреждении опасности.

— Опасности! Ты меня пугаешь...

— Ты доверила мне часть своей тайны, милая Зина, но сказала, с понятной сдержанностью, не все... Но настоящая дружба пронизательна... Ты простишь меня, если я тебе скажу, что я все узнала.

— Все узнала! — воскликнула, дрожа, кня-

гиня.

— Да, вчера я еще сомневалась, но твое смущение вечером мне все открыло.

Княгиня опустила голову.

— Но это не та опасность, о которой я говорю, — продолжала великосветская змея. — Главная опасность заключается в его любви к тебе... в любви безумной...

Княгиня радостно улыбнулась.

— Ты думаешь? — спросила она.

— К несчастью, я в этом уверена...

— Он тебе сказал это?

— Да.

— Что же он говорил тебе? — взволнованным голосом торопливо спросила княгиня.

Графиня Клодина рассказала о вмешательстве в любовь молодых людей Ивана Дементьевича Курганова.

— О, я теперь все поняла! — воскликнула княгиня, закрыв лицо руками.

— Несчастный открыл мне свое разбитое сердце, он говорил мне о своей безнадежной любви к тебе, о своем безысходном горе.

Княгиня Зинаида простонала, не отнимая рук от лица. Графиня продолжала.

— Его отчаяние произвело на меня сильное впечатление... Сознаюсь тебе, мне стало искренно жаль его...

— Клодина, Клодина! — подняла голову княгиня Зинаида и вдруг испуганно спросила:

— Ты не сказала ему, что и я несчастна?..

— Я от этого воздержалась...

— Значат, он думает, что я его не люблю...

— Милая моя, большинство женщин умеют скрывать свои чувства, ты же не принадлежишь к их числу. Твои глаза зеркало твоей души... Ты сама выдала себя ему с головой... Он понял, что ты не забыла его...

— О, горе мне! — воскликнула княгиня.

— В настоящее время он находится в отчаянном положении. Вновь вспыхнувшая страсть к тебе не остановится ни перед чем... Меня это заставляет опасаться... тем более, что он теперь на хорошей дороге по службе... на дороге блестящей...

— Несчастный! — пробормотала княгиня.

— Его любовь безгранична, и во всяком случае он хочет тебя видеть, с тобой говорить.

— Это невозможно! — испуганно восклик-

нула княгиня.

— Эта мысль засела ему в голову... Чтобы добиться этого, он на все готов, он силой ворвется в твою комнату и, думаю, не побоится даже твоего мужа, если бы он загородил ему дорогу.

— И ты не объяснила ему все безумие этой мысли?

— Объяснить безумному?!

— Что же делать, что же делать?.. — говорила княгиня, ломая руки.

— Это-то и есть та опасность, о которой я упомянула и которую надо предупредить...

— Но как? Я не вижу средств!..

— Подумай, что может произойти, если между отчаянно влюбленным Потемкиным и твоим мужем произойдет стычка.

Молодая женщина задрожала.

— Клодина, Клодина! — умоляющим голосом сказала она. — Не покидай меня, посоветуй мне...

Несчастливая сама лезла в западню.

Графиня, по-видимому, обдумывала и, наконец, сказала после продолжительной паузы:

— Знаешь, Зина, что бы я сделала на твоём месте?

— О, говори, говори...

— Чтобы предупредить с его стороны безумную выходку, я согласилась бы на его просьбу, я бы увиделась с ним.

— Что ты выдумываешь?! Пойми, как я могу его здесь принять, тайком от мужа?..

— Здесь, конечно, нет, но Петербург велик. Есть много мест... где встретиться. Это может произойти будто бы нечаянно...

— Свидание! — испуганно вскрикнула княгиня. — Я никогда не решусь на это!

Графиня Клодина закусила губу и окинула свою собеседницу злобным взглядом.

Это было, впрочем, лишь на одно мгновение. Она переломила себя и сказала ласково:

— Я ведь только сказала, что бы я сделала на твоём месте... Я опасаясь за твоё семейное спокойствие и хотела предупредить катастрофу... Впрочем, я не понимаю, что ты видишь дурного в этом свидании, тем более, что им, быть может, можно спасти несчастного человека от самоубийства...

Княгиня тихо плакала;

— Подумай об этом, милая Зина, — продолжала графиня. — Дело идет о жизни и смерти почти юноши, одно твое слово может спасти или погубить его... Признаюсь тебе, что я дала ему слово, что уговорю тебя на это свидание... Это мой долг, а то бы он еще вчера наделал глупостей, которые могли кончиться смертью его, или князя.

Графиня Клодина, видимо, принимала все меры, чтобы запугать княгиню Святозарову и заставить ее решиться на тот шаг, который нужен был ей для ее мщения.

Молодая женщина все еще не соглашалась.

Графиня решилась на последнюю ставку.

— Знаешь ли, чего я всего более боюсь? — сказала она. Княгиня подняла на нее свои заплаканные глаза.

— Говори мне все, что ты думаешь...

— Что он вызовет твоего мужа на дуэль...

— Но по какой причине?..

— Боже мой, как ты наивна; конечно, он не скажет ему: «я люблю вашу жену». Мужчины всегда найдут какой-нибудь повод для столкновения... Он умышленно оскорбит тво-

его мужа публично и причина дуэли готова...

Княгиня Зинаида Сергеевна сидела, как приговоренная к смерти.

— Что делать? Что делать? — повторяла она. Графиня Клодина молчала.

— Скажи мне хоть слово... Дай совет... — с болью в голосе обратилась молодая женщина к своей гостье.

— Я уже сказала... — хладнокровно отвечала та.

— Согласиться на свидание... — задумчиво произнесла княгиня.

Графиня продолжала сидеть молча, перебирая кружева своего платья.

Молодая женщина тоже молчала. По ее лицу было видно, что внутри ее происходит страшная борьба.

— Я хочу его видеть, я буду с ним говорить! — воскликнула княгиня.

В глазах графини блеснула злобная радость.

— Я буду с ним говорить! — повторила княгиня. — Но где и как?

— Положись на меня! — с убеждением сказала графиня.

— Ты сможешь мне...

— Ты сомневаешься в дружбе?!

— И останешься около меня, чтобы в случае чего, спасти меня от самой себя?

— Я обещаю тебе это.

— Но кто его об этом предупредит?

— Я.

— Скажи же ему, что я это делаю только для того, чтобы исполнить твое обещание... Слышишь?..

— Успокойся... Скажу все, что надо и что оградит твою честь.

— Где же мы можем увидеться?

— Я обдумываю это и мне кажется, что я придумала.

— Так пусть это будет завтра, послезавтра, как можно скорей.

Графиня Клодина нежно обняла свою жертву и, притянув ее к себе, горячо поцеловала.

— Где же? — спросила с дрожью в голосе княгиня.

— Я скажу это тебе завтра... Сегодня я все это еще хорошенько обдумую.

— Где же мы увидимся?

— Приезжай ко мне... в это же время...
— Хорошо... И это будет завтра же?..
— Этого я не знаю... Ты очень спешишь...
— Чем скорее, тем лучше... Я не успокоюсь до тех пор, пока все это так или иначе не кончится...

— Все кончится благополучно... — углом рта улыбнулась графиня. — Однако, мне пора... Мне еще надо во дворец.

Обе женщины снова крепко расцеловались.

Искренен был поцелуй только со стороны княгини Зины.

Х

АНОНИМНОЕ ПИСЬМО

Княгиня Зинаида Сергеевна на другой день каккуратно прибыла к своей «спасительнице», как она мысленно называла графиню Клавдию Афанасьевну.

Дом графа Переметьева находился на Невском проспекте, вблизи Фонтанки, следовательно в очень недалеком расстоянии от дома Святозаровых.

Был прекрасный день ранней осени.

На дворе стоял сентябрь.

Подъехав к роскошному дому графа Переметьева, княгиня отпустила свою карету, приказав приехать за ней часа через три.

У подъезда дома она заметила карету графини.

— Ужели сегодня! — подумала княгиня и сердце у ней усиленно забилося.

Графиня Клодина ожидала ее, действительно, уже в шляпе и после первых приветствий объявила, что пора ехать. Княгиня покорно последовала за своей подругой.

Обе женщины сели в дожидавшуюся у подъезда карету и она покатила.

— Куда мы едем? — робко спросила княгиня.

— На Васильевский...

— Он там ждет? — тревожно воскликнула княгиня.

— Нет! Свиданье назначено не на сегодня. Боже мой, как ты дрожишь, успокойся или...

— Я не знаю, что со мной? Я ужасно боюсь.

— Боишься, разве я не с тобою...

— У меня какое-то тяжелое предчувствие близкой беды.

— Какой ты еще ребенок!

— Клодина, если он там не ждет, для чего же мы едем в такую даль, на Васильевский...

— Ты это узнаешь... — смеясь, ответила графиня.

Васильевский остров в описываемое нами время входил в состав города лишь по 13-ю линию, а остальная часть, вместе с Петербургскою стороною по реку Карповку, составляла предместье.

На десятой линии, куда привезла графиня Клавдия Афанасьевна княгиню Зинаиду Сер-

геевну, среди развалившихся хижин и заборов был лишь один почти новенький одноэтажный деревянный домик, весело выглядывавший из-за палисадника, освещенный мягкими лучами сентябрьского солнца.

Дом, казалось, необитаем. По крайней мере, с переднего фасада пять его окон были закрыты ставнями и заложены болтами, в открытых оставались лишь окна, выходившие в большой двор и тенистый обширный сад позади двора.

Карета остановилась и графиня вышла из нее, предложив сделать то же самое и своей спутнице.

Княгиня с недоумением осматривала пустынную, немощеную улицу, с деревянными мостками вместо тротуаров.

Клавдия Афанасьевна, между тем, дернула за звонок, находившийся у калитки.

Из стоявшей в глубине двора сторожки показался высокий, несколько сгорбленный старик и медленно, развалистою походкою подошел к решетке.

Увидав графиню, он как-то быстро выпрямился и также быстро отодвинул засов.

— Здравствуйте, матушка, ваше сиятельство... — зашамкал ой своим беззубым ртом, низко кланяясь приехавшим дамам.

— Здравствуй, Акимыч, все ли у тебя благополучно?

— Бог милостив, ваше сиятельство, все благополучно... и чему быть неблагополучному... тишь у нас, да гладь, да Божья благодать!..

— Отопри дом... — приказала Клавдия Афанасьевна.

Старик бросился, насколько позволяли ему его старческие силы, снова к сторожке и вышел через минуту уже к вошедшим на дворе дамам, гремя ключами...

Направившись к дому, он отпер подъезд и графиня с княгиней вошли в дом.

Он был небольшой, но очень уютный, вся меблировка, состоявшая из дорогой мебели, зеркал, бронзы, содержалась в образцовой чистоте.

Из окон, выходявших в сад и во двор, лились потоки света.

— Где мы? — удивленно спросила княгиня.

— У меня! — отвечала Клавдия Афанасьевна.

на.

— У тебя!

— Да, этот дом принадлежал матери моего мужа, которая до самой смерти не хотела переехать в другую часть города. После ее смерти, муж оставил его как он есть, но конечно отремонтировал, оттого он и выглядит почти новым. Старик Акимыч, бывший дворецкий старой графини, с женой и двумя взрослыми дочерьми, сторожит этот памятник его барыни, как зеницу ока; старшая его дочь служит у меня камеристкой и все семейство мне очень предано... Я вспомнила об этом домике, заботясь о тебе... Домик этот точно нарочно устроен для свиданий... влюбленных.

Княгиня вдруг вспыхнула и укоризненно посмотрела на свою подругу.

Та, как будто, не заметила этого взгляда и продолжала:

— Сегодня суббота... Через неделю я приеду сюда в это же время... Теперь ты знаешь дорогу и можешь приехать одна... Впрочем, карета, которая привезла нас сюда, будет ожидать тебя у подъезда моего дома и доставит тебя без хлопот в этот глухой уголок Пе-

тербурга... За это время я извещу Потемкина и он также приедет сюда... Мы оба будем тебя ждать после трех часов...

— Если это уже так надо, то я приеду... — сказала княгиня с дрожью в голосе. — Но ты ведь будешь здесь, не правда ли... Ты будешь около меня? Ты мне это обещала...

— Да, да, если ты этого хочешь, успокойся...

— У меня нет больше от тебя тайн, Клодина, все, что бы я ни говорила с Григорием Александровичем, ты можешь слышать...

— Какое счастье, что я вспомнила об этом домике... — заметила графиня, не отвечая ничего на слова Зинаиды Сергеевны.

Они вышли из дома.

Акимыч почтительно ожидал их у крыльца.

— Иди, садись в карету, я сделаю только кое-какие распоряжения... — сказала графиня и, подойдя к старику, стала ему говорить что-то вполголоса.

Через несколько минут она вышла из калитки и села рядом с сидевшей уже в карете княгиней Святозаровой.

Менее чем через четверть часа они были уже дома и княгине вскоре доложили, что за ней приехала карета. Подруги расстались, крепко несколько раз поцеловавшись.

Неделя прошла.

Княгиня Зинаида Сергеевна с удовольствием бы провела эти дни наедине сама с собою, но графиня Клодина, видимо опасаясь, как бы ее подруга не раздумала и не разрушила бы этим весь хитро придуманный план, являлась к ней ежедневно и под каким-нибудь предлогом увозила ее из дому.

В субботу утром, князь Андрей Павлович Святозаров получил следующее письмо:

«Ваше сиятельство!

Один преданный друг считает своей священной обязанностью предупредить вас о деле, которое касается вашей чести и семейного счастья и которое известно уже всему Петербургу. Уже с месяц, как княгиня Святозарова назначает свиданья одному молодому офицеру. Эти свиданья происходят в 10-й линии Васильевского острова. Там есть единственный приличный дом с тенистым садом и вы без труда найдете его. Сегодня, в субботу, они

должны видаться там после трех часов. От вас зависит, ваше сиятельство, убедиться в справедливости этих слов и наказать тех, кто покрывает незаслуженным позором ваше честное имя».

Прочитав эти строки, князь, как пораженный громом, упал в кресло в своем обширном, роскошно отделанном кабинете.

Его была лихорадка и он обезумевшими глазами смотрел на листок бумаги, который держала его дрожащая рука.

— Какая подлость! — хрипло простонал он и злобно скомкал роковое письмо.

Несколько минут он остался неподвижен и даже перестал дышать.

Затем он поднял голову, его побледневшие губы горько улыбались.

— Анонимное письмо! — с омерзением сказал князь самому себе.

Вдруг в груди его заклокотало ревнивое бешенство.

— Но если это правда! — прошептал он. — У меня нет врагов! И притом этот подробный адрес... Нет, это должно быть правда... Она не любит меня... О, позор, позор! Обманут, обма-

нут ею... О, несчастная, презренная женщина... Ничто не удержало ее, бесстыдную, от преступной страсти — даже мысль о своем ребенке не могла спасти ее! Она украла мою честь и покрыла позором мое имя и колыбель своего ребенка... А я... я любил ее так искренно... Я все еще люблю ее и теперь!.. О, как справедливо было мое подозрение... Это ужасно, ужасно!

Он вскочил в неистовстве.

Из его груди вырвались глухие стоны, его руки поднялись как бы кому угрожая.

Было мгновение, когда он хотел идти к жене и показать ей это письмо.

Если бы он это сделал, княгиня могла бы сейчас оправдаться, рассказав всю правду.

Но, к несчастью, князь этого не сделал. Ревность — плохой советчик.

Она овладевает разумом и сердцем и смущает самую сильную душу.

Князь решил убедиться и отомстить.

Князь неровными шагами стал ходить по кабинету, стараясь успокоиться, что было необходимо для появившегося в голове его плана.

Спокойствие, между тем, не давалось ему.

Напротив, он более и более расстраивал себя, припоминая поведение своей жены за последнее время. Оно представлялось ему в самых мрачных красках. Ее слова, ее движения, самое выражение ее лица восставали в его односторонне направленном уме уличающими фактами ее неверности.

Сомнение в ее виновности через какие-нибудь полчаса выросло в твердую уверенность...

— О, я буду отомщен, я смою мой позор кровью...

Он бросился в детскую, чтобы у колыбели своего ребенка найти силу пережить те несколько часов, которые остались до полного убеждения в том ужасном факте, что он «обманутый муж» и что у его сына нет «честной матери».

XI

ДВОЙНОЙ ВЫСТРЕЛ

К завтраку граф вышел по наружности совсем покойный. Он принудил себя даже к разговору со своей женой. При этом, однако, он пристально смотрел на нее и заметил, что она имела расстроенный и растерянный вид.

— У нее нечистая совесть! — подумал он.

После завтрака он спросил:

— Ты сегодня дома?

— Нет, я думаю выйти.

— Куда, можно полюбопытствовать?

— К Клодине.

— Но она, кажется, была вчера у тебя.

— Да, но я обещала ей сегодня привезти узор для подушки...

— Ты поедешь в карете?..

— Нет, я хочу пройтись, мне необходимо движение...

— Как хочешь... Я также еду.

С этими словами он вышел из столовой.

Княгиня вздохнула.

Ее снова охватил страх.

Но не ехать было нельзя. Графиня и он ждали.

«Быть может, я поступаю нехорошо, но я делаю так, как подсказывает мне моя совесть!» — подумала княгиня.

Князь Андрей Павлович вернулся к себе в кабинет и с силой дернул за сонетку.

Через минуту в комнату вошел камердинер.

— Велите заложить карету, но чтобы она не выезжала к подъезду ранее, нежели я скажу.

— Слушаю-с, ваше сиятельство! — сказал старый слуга и направился к двери.

— Степан! — остановил его князь. — Когда графиня выйдет из дома, доложишь сейчас же мне.

Камердинер вскинул удивленно-испуганный взгляд на своего барина, но тотчас потушился и произнес лаконически «слушаю-с», удалился.

Князь подошел к одному из библиотечных шкафов, стоявших по стенам обширного кабинета, отпер ящик и отворил его.

Вынув черной кожи футляр, он открыл его.

В футляре оказался изящно отделанный пистолет-двустволка.

Положив обратно футляр в ящик, он вынул из последнего пороховницу и мешочек с пулями. Медленно и тщательно зарядив пистолет, он сунул его в карман.

Медленными шагами начал он ходить по кабинету.

Дверь отворилась и на ее пороге появился камердинер.

— Ее сиятельство изволили выйти из дому! — доложил он.

Князь вздрогнул, остановился, обвел слугу недоумевающим взглядом и вдруг, как бы что-то вспомнив, быстро направился к выходу из кабинета, бросив на ходу камердинеру:

— Велите подавать карету!

Камердинер посторонился, чтобы пропустить князя и, печально качая головой, пошел исполнять приказание.

Когда князь вышел из подъезда, он увидел свою жену в нескольких стах шагах от себя, уже подходящей к Аничкову мосту.

Князь Андрей Павлович пошел пешком, приказав экипажу следовать за собой шагом.

Он быстро дошел до моста, чтобы не потерять из виду жену.

Последняя шла не торопясь по Невскому проспекту и не доходя до дома графа Переметьева, вдруг скрылась.

«Она села в заранее приготовленную карету!» — догадался он.

Вскочив в свою карету, он приказал кучеру следовать на расстоянии за ехавшим экипажем.

Бледный, со стиснутыми от внутренней боли зубами, он то и дело высовывался из окна кареты и страшным взглядом следил за экипажем, увозившим его жену на любовное свидание.

Княгиня Зинаида Сергеевна ехала ни жива, ни мертва, хотя, конечно, и не подозревала, что в ста шагах от нее ехал за ней ее муж.

Графиня Клавдия Афанасьевна, понятно, и не думала ехать в этот день на Васильевский остров.

Устроив ловушку своей подруге, она ограничилась лишь тем, что отдала на этот день соответствующие приказания Акимычу, его жене и дочерям на случай прибытия в запад-

ню намеченных ее жертв.

Сама она в тот момент, когда обе кареты с князем и княгиней Святозаровыми, уже подъезжали к 10-й линии Васильевского острова, спокойно обсуждала со своей портнихой фасон нового бального платья к предстоящему зимнему сезону.

Княгиня робко вышла из остановившегося экипажа и с замиранием сердца подошла к калитке.

Она оказалась отворенной.

Она вошла во двор и направилась к парадному крыльцу, тоже оказавшемуся незапертым.

Пройдя переднюю залу, она очутилась в гостиной, окна которой выходили в сад.

Здесь она увидела совершенно незнакомо ей молодого офицера.

Это не был Потемкин...

— Поручик Евгений Иванович Костого-ров... — представился он ей, почтительно кланяясь.

— Что вам угодно? — растерянно произнесла княгиня и зашаталась.

Он ловко подставил ей кресло, в которое

она скорее упала, нежели села.

— Мой друг и товарищ Григорий Александрович просил... поручил... — начал, путаясь, молодой человек.

— Что он поручил вам? — снова, почти бессознательно, спросила княгиня, вся дрожа от волнения.

— Хотя он и желал бы очень видеться с вами, независимо от вашего настойчивого приглашения, переданного ему вашей знакомой...

Княгиня подняла голову и окинула его удивленным взглядом.

— Но, обдумав все серьезно и хладнокровно... он нашел, что это свидание будет лишь лишней мукой для него и для вас... Вам лучше не видеться совсем... особенно наедине... Он просил вас извинить его... Он не будет...

— И это он... поручил... сказать... вам... когда сам...

Княгиня остановилась и побледнела еще более.

— За мою скромность... я ручаюсь вам честью нашего мундира... Притом, я не имею удовольствия вас знать... не знаю и не хочу

знать вашего имени... — сказал молодой человек, думая, что сидевшую перед ним барыню возмутила откровенность с ним Потемкина.

— Но где же графиня? — вдруг вскрикнула Зинаида Сергеевна. Молодой офицер с недоумением посмотрел на нее.

— Я не знаю никакой графини и не видел здесь никого.

Княгиня поднялась в страшном волнении. Она стала понимать правду.

В это время с улицы донесся шум подъехавшего экипажа.

— Это ловушка! — бормотала она. — Это ловушка! Но к чему, зачем?

Молодой человек был изумлен. В соседней комнате раздались тяжелые шаги.

Княгиня бросилась к двери и очутилась лицом к лицу со своим мужем.

— Измена, подлость! — вскрикнула она и стала перед князем, преграждая ему дорогу.

Лицо князя Андрея Павловича страшно изменилось. Он был бледен, как полотно, губы его дрожали. В руке у него был пистолет. Он прямо подошел к молодому офицеру.

— Выслушай меня, выслушай меня! — кричала княгиня, бросаясь между мужем и молодым человеком.

Он с силою оттолкнул ее. Он совершенно обезумел.

— Милостивый государь! Я клянусь вам, что я эту барыню... — начал было молодой человек, но не успел окончить фразы.

Раздался двойной выстрел.

Граф выстрелил из обоих стволов.

Несчастный молодой человек глухо вскрикнул и упал к ногам графа.

Княгиня с криком сделала несколько шагов к раненому, и вдруг зашаталась и упала около него.

— Я отомстил! — пробормотал князь, взглянув на свою жертву с этими словами он бросил пистолет в окно, в сад.

Затем он поднял свою жену на руки и понес ее, запачканную кровью, из дома через двор на улицу, где кучера весело болтали друг с другом.

Появление князя с бесчувственной княгиней на руках прекратило их разговор.

Оба кучера обменялись взглядами.

Князь положил свою жену в карету, сел рядом и велел кучеру ехать домой.

Княгиня очнулась уже около Невского проспекта. Она удивленно обвела глазами кругом себя и вспомнила все.

С каким-то паническим ужасом она отодвинулась от своего мужа в угол кареты.

— Он умер! — простонала она.

— Я, защищая свою честь, убил твоего любовника!.. — сказал князь.

Глаза ее сверкнули гневом. Она уже готова была защищаться, но вдруг замолчала.

Незаслуженное оскорбление возмутило ее.

Если она решилась на это роковое, устроенное графиней свидание, то только для того, чтобы спасти своего мужа от безумной выходки влюбленного в нее Потемкина, а теперь этот муж, убийца ни в чем неповинного человека, смел бросать ей в глаза обвинение в неверности.

Она и Потемкин сделались жертвою гнусной интриги злой, хитрой и мстительной женщины; его друг, взявшийся исполнить его поручение, подсказанное благоразумием, заплатился за это жизнью, а этот убийца споко-

ен и считает себя правым.

— Почему же вы меня так же не убили, как и этого несчастного... — произнесла она, судорожно подергивая губами.

— Ты мать моего ребенка! — сказал он. — И несмотря на все это, я люблю еще тебя...

Она вздрогнула.

— Да, — продолжал он ласково, — это правда, Зина, я все еще тебя люблю, я постараюсь забыть... — сдавленным шепотом проговорил он последние слова.

— Свое преступление... — сказала она.

— Позор, которым ты меня покрыла... — отвечал он. — И если ты хочешь, я могу тебя простить.

Она презрительно пожала плечами и сухо ответила:

— Я не нуждаюсь ни в чьем прощении, а в вашем в особенности... Забудьте сегодняшней день, если можете, а я, я не в силах забыть его.

В это время карета остановилась у подъезда.

Князь вышел и предложил руку жене, чтобы помочь ей, но она сделала вид, что не за-

метила его протянутой руки.

Войдя в дом, она тотчас ушла в свою комнату и заперлась изнутри.

XII

ПРЕДСМЕРТНАЯ ЗАПИСКА

Оставшись наедине с собой, княгиня опустилась в кресло, закрыла лицо руками и неудержимо зарыдала.

Напряженные с того момента, как она очутилась в карете и вспомнила все, нервы не выдержали и она должна была найти исход в слезах, крупными каплями катившихся из глаз несчастной женщины.

— Ее муж — убийца ни в чем неповинного человека! Она — участница этого преступления, главная причина смерти товарища друга ее детских игр, предмета ее первой и, кажется, последней любви — Потемкина.

Она вся дрожала при этом воспоминании. Вдруг ей пришла на память графиня Клодина. Лицо княгини исказилось от внутреннего волнения. О, как она ненавидела теперь эту женщину!

— Это чудовище! — вслух произнесла она с омерзением.

Она бросилась на колени перед висевшими в углу образами, ломала руки, рыдала и молилась.

В опустевшем домике на Васильевском острове происходила, между тем, другая, полная ужаса сцена предсмертных мук молодого офицера.

Он видел как князь унес жену и понял, что последний принял его за любовника, разбившего его семейное счастье.

Евгений Иванович хотя и присел на полу, но чувствовал себя очень слабым.

Он сознавал опасность своего положения и не обольщался надеждою на возможность жить.

В его уме сложилась какая-то странная уверенность, что он ранен смертельно.

Вследствие этого он откинул всякую мысль о себе и задумался над положением остальных действующих лиц в этой роковой драме, где он разыграл роль случайной жертвы.

Только случайной — это он хорошо пони-

мал.

Сидевшие в нем пули предназначались для Потемкина. Последний, конечно, не знал об этом, посылая его на это роковое свидание.

Эта дама и ее муж несомненно принадлежат к высшему петербургскому свету, и ни он, ни она неповинны в его смерти. Она понятно, менее всех, придя на свидание любви, не рассчитывала сделаться свидетельницей убийства. Он, застав свою жену с любовником, каковым должен был быть сочтен каждый мужчина, находившийся наедине с его женой, имел нравственное право; кровью похитителя его чести смыть позор со своего имени.

Значит виновных в его смерти нет.

Так решил умирающий.

За что же они пострадают за него, если его труп найдут здесь, и начнется следствие?

За что он заставит их испытать все неприятности полицейских розысков?

Нет, никогда! Ведь этим он не вернет себя к жизни.

С усилием он расстегнул мундир и вынул из кармана записную книжку с карандашом.

Вырвав листок, он написал слабеющей рукой следующие строки:

«В смерти моей прошу никого не винить... Я застрелился сам. — Костогоров».

Спрятав записную книжку, он сунул в карман и написанную им записку.

Еще минуту и он бы опоздал. В глазах его потемнело и он лишился чувств.

Пришедший вскоре Акимыч застал бездыханный труп.

Он бросился в полицию, которая вскоре прибыла на место и увезла покойника в часть, впредь до выяснения личности застрелившегося офицера.

Найденная в кармане записка, а в саду револьвер привели: полицию к несомненному убеждению, что офицер застрелился.

Оставался открытым вопрос, как, зачем попал он в необитаемый дом графа Переметьева.

Спрошенный Акимыч отозвался положительным незнанием.

— Проветривал я, ваше благородие, комнаты, — отвечал он на вопрос квартального, — может и забыл запереть входную дверь, а как

его милость забрались туда и засели — мне неведомо.

На этом показании старик и уперся.

Весть о самоубийстве офицера на Васильевском острове, доложенная в тот же день государыне полицмейстером, облетела быстро весь город и достигла графини Переметьевой и князя и княгини Святозаровых — этих трех лиц, которые знали более по этому делу, нежели петербургская полиция.

Граф Петр Антонович Переметьев съездил к полицмейстеру и этот визит сделал то, что неправдоподобному показанию Акимыча о том, что ему неизвестно, каким образом поручик Костогоров очутился в охраняемом им доме, дали полную веру.

На князя известие о найденной записке самоубийцы произвело самое тяжелое впечатление.

— Сильно же он любил ее, если ходил на свиданья, постоянно ожидая смерти, и чтобы не набросить тень на любимую женщину, носил в кармане свой смертный приговор.

С княгиней произошло нечто необычайное.

Она вдруг безумно, страстно полюбила этого погибшего из-за нее человека.

Утро другого дня застало ее не сомкнув-шую глаз всю ночь.

Она провела ее в слезах и молитвах за накануне ей неизвестного, а теперь дорогого покойника.

Ее жизнь была разбита — она это чувствовала.

Для нее не существовало теперь ни счастья, ни покоя.

Сердце ее навсегда закрылось для ее мужа.

Его ревность, его постоянное мрачное настроение навсегда оттолкнули ее от него.

Кровь невинного человека, которую он пролил, легла между ним и ею глубокою пропастью.

Они не могли более жить вместе.

Княгиня решила уехать и жить вдали от людей, похоронить свою молодость.

Только мысль о ребенке немного останавливала ее — она знала, что его не отдадут ей.

Но страх и отвращение ее к мужу преодолели в ней материнское чувство.

Ее ребенок и без того так мало принадле-

жал ей.

Более того ее гнала от мужа одна мысль, что он может подумать, что она хочет оправдаться перед ним. Она, напротив, не хотела, чтобы он хотя на минуту усомнился в ее виновности.

В этом она находила удовлетворение своей гордости, возмездие за свое глубоко оскорбленное чистое сердце.

Не хотела ли она своим молчанием пробудить в душе мужа угрызения совести?

Может быть!

Она боялась одного, что муж не пустит ее, что он захочет продолжать эту невыносимую для нее совместную жизнь.

Она встала с постели, отперла дверь и дернула за сонетку.

Через несколько минут появилась ее горничная Аннушка, молодая, миловидная брюнетка, с вздернутым носиком и бойкими глазами.

— Анюта, прикажи принести сюда из гардеробной сундуки и чемоданы и уложить все мои вещи.

Аннушка, хотя и знала от прислуги о раз-

молвке между княгиней и князем, но все же сделала удивленный вид и остановилась, как бы не поняв приказания.

— Что же ты стоишь, разве ты не поняла меня?

— Поняла, ваше сиятельство, но разве вы... — девушка остановилась.

— Что «разве я?»

— Уезжаете?

— Да, я еду...

— Далеко?

— Ты это увидишь, так как я возьму тебя с собою.

— Я готова ехать с вашим сиятельством хоть на край света.

— В таком случае, торопись, так как мы должны уехать сегодня же.

Князю Андрею Павловичу не замедлили доложить, что княгиня готовится к отъезду.

Не прошло и часу после отданного Зинаидой Сергеевной приказания, как князь вошел в ее комнату.

— Правда ли, что вы хотите уехать?

— Да, даже сегодня...

— Сегодня!

— Это мое право...

— Может быть... Но вы не сделаете этого. Зина, умоляю тебя, обдумай хорошенько, пока есть время. Выслушай меня. Я люблю тебя, так люблю, что хочу забыть о случившемся.

Она покачала головой.

— Князь, есть вещи, которые не забываются: кровь, которую вы пролили, покойник, который нас разлучает.

Андрей Павлович посмотрел на жену мрачным взглядом.

— Мне страшно слышать от вас такие речи.

— Если я вас не упрекаю, если я не требую от вас отчета в поругании моего имени, то вы должны были молчать так же, как и я. Тот не преступник, кто защищает свою честь. Я убил негодяя!..

— Князь, не надругивайтесь над своей жертвой!

— Вы решаетесь заступаться за него при мне!

— Перед вами и перед целым светом.

— Но ведь это бесстыдство! — воскликнул он.

— Нет, князь, это только справедливо.

— Но ведь это был ваш любовник!

Княгиня промолчала, но потом вдруг спросила:

— Если вы думали, что я опозорила ваше имя, зачем вы не убили и меня?

— Признаюсь, у меня была эта мысль, но я вспомнил о нашем ребенке и моя рука не поднялась на тебя... Твой сын защитил тебя... Он еще более, чем моя любовь, заставляет меня простить тебя и позабыть о случившемся... Ему одному ты должна быть благодарна за мое снисхождение... Я умоляю тебя остаться...

— Я твердо решила уехать, князь... Я хорошо обдумала! Мы не можем больше жить вместе.

— Да, конечно, я возбуждаю в вас отвращение, — сказал он глухим голосом. — Это понятно. Вы меня никогда не любили, а теперь вы меня ненавидите за то, что я убил вашего любовника.

Княгиня задрожала, глаза ее блеснули, но она не ответила ничего.

Она внутренне поклялась не защищаться ни одним словом.

— Вы мне не отвечаете?

— Это правда, я вас не люблю, — сказала она наконец. — Я не скажу, что вы в меня вселили ненависть, но мне жутко около вас... Я вас боюсь.

— Если вы уедете, то никогда не увидите вашего сына.

— Я это знаю.

— И это вас не удерживает?

— Нет...

— Могу я спросить вас хотя, куда вы едете?

— В мое имение, в Смоленскую губернию.

— Если вы так настойчиво решили, я вас не задерживаю.

Князь вышел.

В этот же день вечером княгиня выехала из Петербурга.

XIII

ВЕЩИЙ СОН

Как громом из ясного, безоблачного неба был поражен Григорий Александрович Потемкин при известии о смерти своего друга и посланника Костогорова.

Он хорошо понял, что за полицейским протоколом о самоубийстве Евгения Ивановича скрывается целая потрясающая жизненная драма, разыгравшаяся в необитаемом домике на 10-й линии Васильевского острова.

В своем пылком воображении Потемкин легко и подробно нарисовал себе почти близкую к истине картину появления оскорбленного мужа в момент разговора Костогорова с княгиней Святозаровой.

Но каким образом князь узнал о месте и времени этого свиданья?

Интрига графини Переметьевой стала ясна Григорию Александровичу. Устройство этого свидания было мезью со стороны отвергнутой невесты князя Святозарова. Григорий Александрович знал подробности сватовства

князя в Москве — она и уведомила князя, она и направила орудие смерти на голову несчастного Костогорова, получившего пулю в сердце, предназначенную для него, Потемкина.

Григорий Александрович вздрогнул и невольно перекрестился.

Он был спасен положительно чудом.

Графиня Клавдия Афанасьевна своим змеиным языком сумела раздуть в неудержимое пламя тлевшую в сердце искру любви к Зинаиде Сергеевне, и он не только решил идти на свидание с ней, но даже умолял графиню ускорить его; он заранее рисовал себе одну соблазнительнее другой картины из этого будущего свиданья.

Несколько дней перед тем провел он почти в лихорадочном состоянии; несколько ночей без сна. В ночь под роковую субботу; он так же не мог сомкнуть глаз почти до рассвета, но утомленный организм взял свое и под утро Григорий Александрович забылся тревожным сном.

Вдруг... Он ясно не мог припомнить, было ли это во сне или в полубодрственном состоя-

нии, он увидал себя перенесенным в Москву, в келью архиерея Амвросия. Ему представилась та же обстановка свиданья с богоугодным старцем, какая была перед отъездом его в Петербург, более двух лет тому назад.

— Не ходи, сын мой, оставайся, на погибель себе идешь... — явственно услышал он голос Амвросия.

Три раза старец повторил эту фразу.

Потемкин проснулся, или лучше сказать очнулся от этого кошмара, обливаясь холодным потом.

— На погибель себе и ей идешь... — звучали в его ушах слова слышанные во сне.

Они дали толчок другому направлению его мыслей. Он начал рассуждать.

Это самое верное лекарство для влюбленных.

К каким последствиям могло привести, в лучшем случае эти свидание? Сделаться любовником княгини. Жить постоянно под страхом светского скандала. Каждую минуту на самом деле готовить гибель себе и ей! То чувство, которое он питал к ней в своем сердце, было первою чистою юношескою любовью,

далеко не жаждущею обладания. Ему даже показалось, что обладание ею низведет ее с того пьедестала, на котором она стояла в его воображении, поклонение заменится страстью, кумир будет повержен на землю.

Он вспомнил, кроме этого, другой образ, образ, виденный им недавно в Петергофе, лучезарный образ величественной, гениальной женщины, в руках которой находилась судьба России и милостивая улыбка которой была, быть может, для него преддверием почестей, славы, кипучей деятельности на пользу дорогого отечества, возвышения к ступеням трона великой монархини.

В нем проснулось честолюбивое чувство.

Петергофский образ заслонил собой образ московский.

«На погибель себе и ей идешь!» — снова прозвучали в ушах слова вещего сна.

Он сидел раздетый на кровати в маленькой петербургской квартирке на Московской улице. Он жил в ней вместе со своим приятелем, Евгением Ивановичем Костогоровым, и даже их кровати стояли рядом.

Он познакомился с Костогоровым вскоре

после приезда из Москвы, и через месяц, два они стали друзьями и даже из экономии поселились на одной квартире.

« Попрошу Костогорова... — думал Григорий Александрович, смотря на спавшего крепким сном Евгения Ивановича. — Писать неудобно, не ехать совсем и заставить ее напрасну ждать еще неудобнее; пусть он съездит и деликатно, нежно — он это умеет — объяснит ей все горькие последствия мгновенного счастья...»

Спавший Евгений Иванович Костогоров был в своем роде человек примечательный.

Круглый сирота и уроженец Петербургской губернии, он потерял своих родителей, которых он был единственным сыном, в раннем детстве, воспитывался в Петербурге у своего троюродного дяди, который умер лет за пять до времени нашего рассказа, и Евгений Иванович остался совершенно одиноким.

Всегда ровный характером, мягкий, обходительный, готовый на услугу, он был кумиром солдат и любимцем товарищей. Была, впрочем, одна странная черта в его характере

ре. Несмотря на обходительность и услужливость, он умел держать не только товарищей, но и начальство в почтительном отдалении, внушая им чувство уважения, препятствовавшее близкому сближению и в особенности тем отношениям, которые известны под метким прозвищем амикошонства.

Сам он тоже держал себя в стороне от всех, но эта склонность к уединению, эти старания избегать шумных компаний, объяснялись добродушно знавшими его людьми созерцательностью его характера, его набожностью, действительно сильно развитою, и несколько не оскорбляли товарищей, по-прежнему относившихся к нему со смешанным чувством любви и уважения.

С Григорием Александровичем свело Костогорова именно это чувство набожности.

Только что готовившийся поступить в монахи, уйти от мира и его соблазнов, попавший в полк, чуть ли не прямо из монастырской кельи, Потемкин, конечно, представлял из себя находку для Евгения Ивановича. Они очень скоро сделались приятелями, а затем и друзьями.

Этому способствовало и еще одно драгоценное свойство в характере Потемкина, он не любил, как он выражался, рыться в чужой душе, он представлял человеку высказываться самому, но никогда не расспрашивал.

Люди же с характером, подобным Костогорову, страстно желают высказаться, но высказаться по своей воле, так как малейшее поползновение узнать что-нибудь от них пугает их и они уходят в самих себя, как улитка в свою раковину.

К этому-то Костогорову и решил обратиться с просьбой заменить его на свидании с княгиней Григорий Александрович.

Он припомнил теперь, как охотно и быстро согласился Евгений Иванович исполнить его просьбу, оказавшуюся роковой, несмотря на то, что Потемкин не сказал ему даже имени дамы, с которой ему придется иметь объяснение.

В общих чертах лишь передал он своему другу историю своей любви и возникновение мысли о назначенном свидании.

О причине, заставившей его отказаться ехать самому, Григорий Александрович

умолчал.

Один Потемкин знал тайну смерти несчастного Костогорова. Все остальные, знавшие покойного, как на причину его самоубийства, указывали на странности, обнаруживаемые при его жизни, и посмертная записка умершего — эта последняя, как это ни странно, чисто христианская ложь являлась в их глазах неопровержимым документом.

Найденный в саду пистолет, разряженный на оба дула, в другое время мог вызвать размышление, так как являлось крайне странным, что самоубийца пускает в себя разом две пули и бросает а сад орудие самоубийства.

Самая роскошь отделки пистолета могла вызвать соображение о непринадлежности его покойному, человеку бедному, жившему незначительным доходом с маленького имения в Петербургское губернии.

Соображения эти, впрочем, не пришли почему-то в голову тем, кому следовало.

Евгений Иванович Костогоров был признан самоубийцей и, как таковой, при строгости тогдашних духовных властей, был лишен

церковного погребения.

Товарищи покойного, в числе которых был и бледный как смерть Потемкин, проводили тело Костогорова за черту Смоленского кладбища и неотпетое опустили в одинокую среди поля могилу.

Григорий Александрович вернулся с похорон разбитым и нравственно, и физически.

Он разделся и в течении целой недели, отозвавшись нездоровым, не выходил из комнаты.

Это был первый припадок хандры, потом преследовавшей его всю жизнь.

Образ покойного Костогорова как живой стоял перед ним, а Потемкин с рыданьями падал ничком на подушку, не смея по целым часам поднять головы.

Видение исчезало и на смену ему появлялось перед Григорием Александровичем смеющееся, злобное лицо графини Клавдии Афанасьевны Переметьевой.

Потемкин в бессильной злобе сжимал, кулаки.

Злоба была действительно бессильна, так как на другой день после самоубийства Косто-

горова графиня уехала из Петербурга, как говорят, в Москву, к своей матери, об опасной болезни которой получила будто бы известие.

Отвратительный демонический образ графини сменялся печальным обликом княгини Зинаиды Сергеевны.

У Потемкина останавливалось биение сердца.

Только теперь, когда на любимую женщину обрушилось несчастье, он понял, как действительно сильно он любил ее, как действительно сильно он любит ее и теперь.

С каким неземным наслаждением он пришел бы к ее коленям и вместе с ней выплакал их общее горе, созданное их разлукою.

Зачем, зачем он представил Костогорову право умереть у ее ног?

Это право было его — он отдал его.

Он стал завидовать лежащему в одинокой могиле.

«Видеться с ней? — мелькнуло в уме. — Нет! Никогда».

Между ним и ею лежал труп его друга.

XIV

СТРАШНЫЙ ЗАМЫСЕЛ

Вскоре в великосветских гостиных Петербурга распространилась весть об отъезде в свое родовое имение княгини Зинаиды Сергеевны Святозаровой.

Светская сплетня сделала свое дело и имя княгини и ее странный, несвоевременный отъезд начали сопоставлять с не менее таинственным почти бегством из Петербурга графини Переметьевой и странно совпавшим с этими двумя эпизодами самоубийством офицера в необитаемом доме покойной графини Переметьевой.

Смерть графа Петра Антоновича Переметьева, происшедшая от апоплексического удара, поразившего старика через какую-нибудь неделю после отъезда его молодой жены, подлила масла в огонь, и светские рассказы обо всех этих происшествиях приобрели почти легендарную окраску.

Мы не будем рассказывать эти, подчас довольно пошлые вариации светских сплетен,

так как все они были далеки от той истины, которую мы, по праву бытописателя, открыли перед нашими читателями; скажем лишь, что эти толки заняли около месяца, срок громадный для скучающих одним и тем же известием и жаждущих новизны светских кумушек.

Известие об отъезде княгини Святозаровой достигло, наконец, и Григория Александровича Потемкина.

Чутким сердцем понял он, в связи с рассказом о жизни княгини, слышанном им от графини Переметьевой, всю разыгравшуюся семейную драму в доме князя Святозарова.

Из воспоминаний своего самого раннего детства он знал, что такое ревность необузданного мужчины. Его отец, Александр Васильевич, был человек гордый, порою необузданный и не стеснявшийся в своих желаниях, насколько это позволяло ему его положение. Так, при живой еще первой жене, он женился на второй — Дарье Васильевне, урожденной Скуратовой, и всю жизнь мучил ее своими ревнивыми подозрениями.

Григорий Александрович вспомнил, сколь-

ко раз обливала эта несчастная женщина его прижатую к ее груди белокурую головку горячими слезами несправедливой обиды.

Выдержала бы она, если бы ревнивец-депот вскоре не умер.

Потемкин старался узнать, куда именно уехала княгиня Святозарова, и узнав, что ее родовое имение находится по соседству с маленьким именьяцем его матери, тотчас отписал ей, прося постараться завести знакомство с княгиней и отписать ему, что бы с ее сиятельством ни приключилось, держа в секрете это его поручение.

Мать Григория Александровича, Дарья Васильевна, жившая безвыездно в своем именьяце, скоро ответила на просьбу сына согласием, а затем описала и первое посещение ею княгини, которая приняла ее «милостиво и ласково» и показалась ей «сущим ангелом».

Вскоре пришло и второе письмо, в котором Дарья Васильевна уже прямо хвасталась перед сыном своею близостью к княгине Святозаровой: «Взяла она меня, старуху, к себе в дружество, — писала она, и в доказательство приводила то обстоятельство, что княгиня поведала

ей, что „она четвертый месяц как беременна“. — Как она, голубушка, радуется, сына-то у ней муж-изверг отнял, Господь же милосердный посылает ей другое детище, как утешение», — кончала это письмо Дарья Васильевна.

На самом деле, когда княгиня узнала, что она готовится втой рично быть матерью, невыразимая радость наполнила ее сердце.

У ней отняли первого ребенка, но Господь ее вознаграждает сжалившись над ней.

На коленях она благодарила Бога за это счастье.

Перед ней открывалась новая жизнь. Наступившая пустота будет наполнена; она будет жить для своего дорогого ребенка, она прольет на него всю теперь поневоле скрытую нежность своего любвеобильного сердца.

Она в первый раз плакала от радости. Ее посетила мысль о муже.

«Если бы он теперь приехал, я бы открыла ему свои объятия, я бы рассказала ему всю правду, я бы полюбила его — отца моего дорогого будущего детища».

На другой же день она написала ему пись-

мо:

«Господь меня не оставил, Он нас разлучил, но Он дает каждому из нас по ребенку; через пять месяцев я сделаюсь снова матерью», — писала она между прочим.

Она хотела прибавить: «Приезжай, я хочу забыть все, что произошло, я тебе докажу свою невиновность и мы еще будем счастливы», — но проснувшаяся снова в ее сердце гордость помешала ей написать эти строки.

Письмо княгини, в том виде, в каком оно было написано, возбудило в князе Андрее Павловиче снова лишь сомнение и ревность.

Известие о беременности жены поразило его так сильно, что он чуть было не сошел с ума.

Несчастный рассчитывал время с самыми мучительными подробностями, и по расчету выходило, что это ребенок не его.

Это убеждение укрепилось в его уме.

Он оставил письмо жены без ответа, нанеся ей таким образом новое оскорбление.

Она поняла, что между ней и ее мужем — все кончено.

Князь, между тем, в муках своих страшных

сомнений не имел покоя ни днем, ни ночью.

Всего более возмущало его то обстоятельство, что этот незаконный ребенок в один прекрасный день явится на свет, — к довершению удара это будет сын, — под его именем и обкрадет его любимого сына, возьмет его титул, права и половину наследства.

Этого он не мог допустить ни в коем случае.

Но как?

Для достижения этого необходимо было одно, чтобы этот ребенок исчез.

Это был единственный выход.

Но нельзя же стереть ребенка с метрического свидетельства — значит, он не должен был иметь метрического свидетельства.

Но как это сделать?

Над этой-то думой князь проводил бессонные ночи.

Наконец, в голове его созрел план, который показался ему самым удачным.

Ребенка необходимо украсть тотчас после его рождения и подкинуть кому-нибудь, как незаконного.

Он позвал в кабинет своего камердинера

Степана Сидорова, которого все в доме, начиная с самого князя, называли сокращенно Сидорыч.

Сидорыч был однолесток графа и когда-то товарищ его детских игр. Он боготворил графа и готов был за него идти буквально в огонь и воду.

Второе он даже доказал на деле, спас тонувшего князя, когда последний еще был мальчиком.

Эта услуга, в связи с привычкой, сделало то, что Сидорыч стал необходимым для князя человеком, поверенным его сокровенных тайн, даже советчиком.

Он был человек природного ума и, находясь постоянно при князе, даже вкусил от образованности, хотя очень поверхностно. Впрочем, и образование самого князя не было особенно глубоким.

— Сидорыч, — сказал ему князь, — я знаю, что ты мне предан, ты доказывал мне это не раз, я за это платил тебе своею откровенностью. Чего я не мог тебе сказать, ты, вероятно, догадывался сам. Таким образом, ты знаешь все мои тайны, даже семейные... Сегодня я

должен тебе дать очень важное поручение, которое будет новым доказательством моего к тебе доверия... Но раньше я должен быть вполне уверен, что ты готов мне повиноваться.

— Вы знаете, ваше сиятельство, что на меня можно положиться! — просто отвечал Степан.

— Хорошо, так слушай! Княгиня, ты знаешь, беременна...

Камердинер почтительно наклонил голову в знак того, что это обстоятельство ему известно.

— Через каких-нибудь два-три месяца у нее родится ребенок.

— Ваше сиятельство так любите детей, что, конечно, это доставит вам большую радость! — заметил Степан почтительно, полу-фамильярно.

Нельзя было определить, звучала ли в его голосе ирония, или же он совершенно искренно произнес эту фразу. Глаза князя Андрея Павловича сверкнули гневом.

— У меня только один ребенок... Тот, который родится — не мой, я его не признаю и ни-

когда не признаю.

Степан в ужасе отступил на несколько шагов. Князь подошел к нему ближе и сдавленным шепотом заговорил. Слуга почтительно слушал, но видимо было, что речь князя производила на него страшное впечатление.

— Понял? — спросил его князь.

— Понял! Слушаю-с! — таким же сдавленным шепотом произнес Степан и шатаясь вышел, из кабинета.

XV

ПРИ ДВОРЕ

Успокоившись за судьбу уехавшей княгини и зная, что мать не применит исполнить его просьбу и будет сообщать обо всем, что случится с любимой им женщиной, Григорий Александрович перестал хандрить и бросился в водоворот придворной жизни.

Быть может он старался забыться, а быть может ко двору его влекло пробудившееся со всею силою честолюбие.

Кроме чина подпоручика гвардии, шестисот душ крестьян, молодой Потемкин был сде-

лан камер-юнкером.

Мечты честолюбца исполнялись: первый самый трудный шаг — начало было сделано. Он стал известен государыне, которая невольно обратила внимание на величественного конногвардейца, образованного и остроумного.

В первые годы царствования Екатерины, жизнь при дворе была непрерывной цепью удовольствий.

Увеселения были распределены по дням: в воскресенье назначался бал во дворце, в понедельник — французская комедия, во вторник — отдых, в среду — русская комедия, в четверг — трагедия или французская опера, причем в этот день гости могли являться в масках, чтобы из театра прямо ехать в вольный маскарад.

Собрания при дворе разделялись на большие, средние и малые. На первые приглашались все первые особы двора, иностранные министры, на средние — одни только лица, пользовавшиеся особенным благоволением государыни. На малые собрания — лица, близкие к государыне.

На последних, гостей обязывали отрешиться от всякого этикета. Самой государыней были написаны в этом смысле правила, выставленные в рамке под занавескою.

Правила были следующие: 1) оставить все чины вне дверей, равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги; 2) местничество и спесь оставить тоже у дверей; 3) быть веселым, однако ничего не портить, не ломать, не грызть; 4) садиться, стоять, ходить, как заблагорассудится, не смотря ни на кого; 5) говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих головы не заболели; 6) спорить без сердца и горячности; 7) не вздыхать и не зевать; 8) во всяких затеях другим не препятствовать; 9) кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий мог найти свои ноги для выхода из дверей; 10) сору из избы не выносить, а что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое прежде, нежели выступит из дверей. Если кто против вышеописанного поступил, то по доказательству двух свидетелей, должен выпить стакан воды, не исключая дам, и прочесть страничку Телемахиды, а кто против трех статей провинился, тот повинен вы-

учить шесть строк из Телемахиды наизусть. А если кто против десяти провинился, того более не впускать.

При входе висели следующие строки, написанные государыней:

Asseyez vous, si vous voulez.

Ou il vous plaira

Sans qu'on vous le répète cent fois.

Григорий Александрович был принят сперва на средние, а затем и на малые собрания при дворе. Государыня оказывала ему свое благоволение. Ей нравились в нем ум, находчивость и смелость. Он высказывал эти качества очень часто.

Однажды, императрица обратилась к нему с каким-то вопросом на французском языке, и он отвечал ей по-русски.

Один из присутствующих при этом знатных сановников заметил Потемкину, что подданный обязан отвечать своему государю на том языке, на котором ему задали вопрос.

Григорий Александрович, ни на минуту не смутившись, ответил:

— А я, напротив, думаю, что подданный должен отвечать своему государю на

том языке, на котором вернее может мысли свои объяснить: русский же язык я учу с малолетства...

В другой раз императрица играла в карты с Григорием Орловым. Григорий Александрович подошел к столу, оперся на него рукою и стал смотреть в карты государыни.

Орлов шепнул ему, чтобы он отошел.

— Оставьте его, — заметила государыня, — он вам не мешает.

Распространенное мнение о том, что возвышение Потемкина произошло почти с баснословной быстротою, далеко не верно.

Первые годы его служебной карьеры были из весьма заурядных и повышение шло довольно обыкновенными шагами. Будущему «великолепному князю Тавриды» приходилось в это время занимать неподходящие должности и делать страшные скачки от одного дела к другому. Сперва он занимал казначейскую должность и надзирал за шитьем казенных мундиров; затем заседал за оберпрокурорским столом в святейшем синоде, «дабы слушанием, чтанием и собственным сочинением текущих резолюций навыкам

быть способным и искусным к сему месту», — как сказано в указе синоду. Занимая эту должность, он продолжал состоять в военной службе.

Вскоре, кроме того, Потемкин был отправлен курьером в Стокгольм, для извещения русского посла, графа Остермана, о совершившейся перемене в правлении. Там, между прочим, один из шведских вельмож, показывая королевский дворец, ввел его в залу, где хранились трофеи и знамена, отнятые у русских.

— Посмотрите, какое множество знаков славы и чести наши предки отняли у ваших! — сказал вельможа.

— А наши, — отвечал Потемкин, — отняли у ваших еще больше городов, которыми и теперь владеют.

Этот полный достоинства ответ молодого офицера не замедлил сделаться известным при петербургском дворе и в высшем свете.

Государыне особенно нравился этот ответ и она была одна из ревностных распротранительниц его в обществе.

Звезда Потемкина восходила, но восходила

не по капризу фортуны-женщины, а в силу на самом деле выдающегося ума и способностей, в которых зоркий глаз повелительницы Севера, славившейся умением выбирать людей, усмотрела задатки будущего полезного государственного деятеля.

Служебные занятия у способного и сметливого Потемкина не отнимали много времени. Свободное время он всецело посвящал двору и свету.

Высшее общество Петербурга, в описываемое нами время, отличалось широким гостеприимством, и каждый небогатый дворянин мог весь год не иметь своего стола, каждый день меняя дома знакомых и незнакомых. Таких открытых домов, не считая в гвардейских полках, находилось множество.

Первыми аристократическими домами тогда в Петербурге признавались царские чертоги следующих сановников: графа Разумовского, князя Голицына, вице-канцлера графа Остермана, князя Репнина, графов Салтыкова, Шувалова, Брюса, Строганова, Панина, двух Нарышкиных. Приемы у этих вельмож бывали почти ежедневно; на вечерах у них греме-

ла музыка, толпа слуг в галунах суетилась с утра до вечера.

Григорий Александрович, в котором принимала участие сама императрица, конечно, был во всех этих домах желанным гостем. Он был на дружеской ноге с братьями Орловыми, из которых Григорий не называл его иначе как «тезкой». Впрочем, отношения этих знаменитых братьев, Алексея и Григория, к Потемкину не были искренни. Они, как умные люди, предвидели его возвышение, в душе завидовали ему и в тайне интриговали.

Много нашептывалось о молодом камер-юнкере государыне и это нашептывание было несколько раз причиной временного невнимания императрицы к своему будущему знаменитому подданному-другу.

По странной иронии судьбы, Григорий Орлов первый способствовал приглашению Григория Александровича в интимный кружок императрицы. Потемкин обладал удивительной способностью подделываться под чужой голос, чем нередко забавлялся Григорий Орлов. Последний как-то, в разговоре с императрицей, передал ей об этих «передразнивани-

ях» молодого офицера.

Екатерина пожелала поближе познакомиться с забавником. Спрошенный о чем-то государыней, Потемкин отвечал ей ее же голосом и выговором, чем до слез рассмешил ее.

Так проводил жизнь в Петербурге молодой екатерининский орленок, еще не расправивший как следует крылья, чтобы воспарить ввысь к поднебесью и затмить всех орлов ее царствования, включая и братьев Орловых.

Среди великолепного екатерининского дворца, среди вихря светских удовольствий, сменяющихся одно за другим как бы в волшебном калейдоскопе, Григорий Александрович ни на минуту не забывал отдаленного села Смоленской губернии, где жила отшельницей его первая, святая, незабываемая любовь — княгиня Зинаида Сергеевна Святозарова.

С волнением распечатывал он еженедельно получаемые им от матери письма, всегда пространные, в которых словоохотливая старушка шаг за шагом описывала жизнь сиятельной затворницы — «ангела-княгинюш-

ки».

Последнее из этих писем принесло роковое известие.

XVI СООБЩНИК

Время появления на свет второго ребенка князя Святозарова приближалось.

Камердинер князя Степан, которого мы оставили ушедшим неровною походкою из кабинета князя Андрея Павловича, знал в общих чертах судьбу, приготовленную его баринном этому имеющему вновь появиться существо.

Добряк по натуре, он дрожал при мысли, что на его долю выпало исполнить это страшное дело.

Он был горячо предан своему барину и ставил своим долгом слепое ему повиновение, но в этом случае душа его возмущалась и в его сердце происходила тяжелая борьба.

Исход ее был, однако, в пользу князя Андрея Павловича.

Сидорыч не нашел в своей холопской душе

достаточно силы, чтобы открыто протестовать против замыслов его сиятельства и честно и прямо отказаться от возложенного на него гнусного поручения.

Он примирился с необходимостью и, как утопающий хватается за соломинку, схватился за мысль, что, быть может, эта чаша пройдет мимо него.

Вскоре он был снова позван в кабинет к князю.

Предчувствуя тему предстоящего разговора, он явился бледный, трепещущий.

Это, после описанного нами разговора князя со своим камердинером, было уже чуть ли не третье совещание сообщников.

Князю Святозарову, казалось, доставляло наслаждение растравлять рану своего сердца, умышленно бередя ее.

Разговор с единственным человеком, с которым князь мог говорить о своем несчастье, с Степаном, вследствие этого был всегда со стороны князя рассчитано-продолжительным.

Он то начинал в подробности рассказывать Степану историю своей женитьбы, своей

любви к жене и к первому ребенку, ее холодность, ее отчужденность от него, то старался выпытать от него, что он сам знает и думает по поводу его семейного разлада.

Так было и на этот раз.

— Разве ты не знаешь причины, почему княгиня уехала из Петербурга?.. — спросил, между прочим, Андрей Павлович, пристально смотря на стоявшего перед ним Сидорыча.

— Если ваше сиятельство настаиваете, то я отвечу вам правду — я догадался...

— Тогда, значит, ты знаешь, что жена меня обесчестила.

Степан печально наклонил голову.

— Да! — продолжал князь глухим голосом. — Несчастливая имела любовника.

— Вы рассчитались с ним, ваше сиятельство...

— А, ты и это знаешь!..

— Да.

— В таком случае, ты хорошо понимаешь, что ребенок, который должен родиться, не имеет права носить имя князей Святозаровых.

Степан снова испуганно вскинул глаза на

своего барина.

— Это не мой ребенок! — выкрикнул уже много раз повторенную им фразу князь...

— Если ваше сиятельство мне позволит... — вставил Сидорыч.

— Говори.

— Я думаю, что ваше сиятельство можете ошибиться.

— Я не ошибаюсь... Но к делу... Итак, ты берешься исполнить мое поручение?..

Степан вздрогнул, но тотчас пересилил себя и с трудом выговорил:

— Для вашего сиятельства я на все готов.

— Слушай же... Необходимо украсть ребенка прежде, нежели его успеют окрестить, а затем надо скрыть его...

— Ваше сиятельство! — только произнес Степан.

— Могу я на тебя рассчитывать, или нет? — спросил князь, нахмутив брови.

— Конечно, но...

— Ну?

— То, что ваше сиятельство хочет предпринять, так серьезно...

— Я это знаю, но это необходимо... Я дол-

жен это сделать для моего сына.

— Ваше сиятельство подумали о последствиях, которые будут после исчезновения ребенка?..

— Конечно.

— И ваше сиятельство не боится?..

— Я ничего не боюсь, кроме этого незаконного ребенка...

— Но как же исполнить это дело, у вашего сиятельства, вероятно, уже составлен план...

— План... план... — схватился за голову князь. — Никакого определенного плана, надо просто похитить ребенка, пока его еще не крестили, пока он без имени... вот и все...

— Похитить... легко сказать.

— А еще легче исполнить!.. — с раздражением воскликнул князь. — С помощью этого можно исполнить все, если только человек не глуп, как пробка...

Андрей Павлович выдвинул один из ящичков шифоньерки, у которой стоял, и стал кидать из него на письменный стол объемистые пачки крупных ассигнаций.

— Вот тебе средство и плата за услугу... На-

до подкупить окружающих княгиню и с помощью их украсть ребенка.

Он продолжал бросать ассигнации. На столе их образовалась внушительная кучка.

— Собирайся... в дорогу... Каждая минута дорога.

Степан стоял, как окаменелый. От вида этого богатства, лежавшего перед ним и отдаваемого в его бесконтрольное распоряжение, у него закружилась голова, остановилось биение сердца.

— Собирайся же! — крикнул князь хриплым голосом.

— Ваше сиятельство... так много...

— Это мало сравнительно с услугой, но если ты доволен — тем лучше... Но смотри, если ты меня обманешь, я отыщу тебя на дне морском и живого изрежу на столько же частей, сколько тут ассигнаций...

— Все исполню, что смогу, иначе возвращу деньги вашему сиятельству, — отвечал Сидорыч.

— Тогда я убью тебя!.. — воскликнул князь.

Степан собрал пачки и скоро они исчезли в его объемистых карманах.

— Что же надо делать с ребенком, если удастся украсть его?

— Надо его отдать в какое-нибудь бедное семейство на воспитание за хорошее вознаграждение. Я завещаю ему капитал, чтобы он мог жить безбедно, но главное, чтобы он никогда не узнал тайны своего рождения... Все это будет идти через твои руки... Мое имя не должно упоминаться... Об этом мы поговорим после, у нас будет впереди достаточно времени, теперь же поезжай с Богом...

— С Богом... — машинально повторил Степан.

Печальная улыбка появилась на его губах. Степан отправился к себе. Много он передумал за этот день и ночь, которую провел без сна.

На другой день он уехал из Петербурга рано утром.

Князь еще не просыпался. Он тоже провел бессонную ночь.

Степан выехал из Петербурга на почтовых, и послушный приказанию своего барина, не жалел на водку ямщикам и потому несся, как принято было называть в то время, «по-ку-

рьерски».

Но ни быстрая езда, ни комфорт, который на средства князя мог позволить себе Сидорыч, не могли освободить его от тяжелых, навязчивых дум о страшном поручении, которое ему придется исполнить.

Его доброе сердце не могло не понимать всей гнусности затеянного им с барином дела, и ему то и дело мерещился во сне в даже наяву бедный, ни в чем не повинный ребенок, отнятый от родной матери и брошенный волею одного человека в совершенно другую обстановку, нежели та, которая принадлежит ему по праву рождения.

Действительно ли, что ребенок незаконный?

Имеет князь на это неопровержимые доказательства, или же это просто подозрение, укрепленное злобными чувствами покинутого мужа!

Такие, или почти такие вопросы не давали покоя несчастному Степану ни тогда, как он как вихрь несся по столбовым дорогам, ни тогда, когда он, утомленный бешеной ездой, отдыхал в отведенной ему лучшей станцион-

ной комнате.

Что если князь отнимает у матери своего собственного ребенка, что если он его осуждает из пустого подозрения на низкую долю? Тогда ведь поступок его, Степана, является еще более чудовищным. Тогда ведь это такой грех, которому нет и не может быть прощения.

Холодный пот выступал на лбу верного слуги и сообщника князя Андрея Павловича Святозарова.

С другой стороны, Степану был дорог князь Андрей Павлович. Он любил его не только как своего барина, а как товарища детства, друга, родного человека. Для него он готов был на все. Он обещал оправдать его доверие и... оправдать его, хотя бы за это ему пришлось поплатиться гееной огненной.

Но кроме этой «геены», которая в уме Степана стала представляться для него неизбежной, но с которой он, в силу своей любви к князю, почти примирился, есть и другой суд, суд земной, суд более близкий, суд, который будет, вместе с тем, означать, что поручение им неисполнено, так как если он будет уличен в краже ребенка, права последнего будут

восстановлены.

А этого именно и не надо.

Ребенок должен исчезнуть, бесследно, навсегда... Как это сделать?

Роковой вопрос восставал перед ним. Князь разрешил его, указав на силу тех ассигнаций, которые зашиты у него, Степана, в нагруднике и кафтане.

Но такая ли сила она?

Степана начало брать сомнение.

Ведь не будет же княгиня молчать и бездействовать, когда у ней украдут только что рожденного ребенка. Ведь у ней есть тоже такая же сила, которую носит на себе Степан, даже быть может и большая.

Значит, чья еще возьмет?

Заподозренных окружающих княгиню арестуют, начнут от них допытываться истины и быть может, даже наверное, допытаются. Конец обнаруженной нити доведет до него, Степана, и до самого князя, а таким делам и сама государыня не потатчица, не посмотрит на сиятельное лицо, а упечет туда, «куда Макар и телят не гонял!»

Волосы становились дыбом под шапкой

несчастливого Степана.

В таких тяжелых думах он проехал всю дорогу и достиг наконец села Чижова, лежавшего в нескольких верстах от Смоленска и в двух верстах от имения княгини Святозаровой.

XVII СТРАШНЫЙ ТОРГ

Не зная, как и сам князь Святозаров, подробности устроенного графиней Переметьевой свиданья с Потемкиным, вместо которого явился на него покойный Костогоров, Степан Сидоров избрал своим наблюдательным пунктом над имением княгини Зинаиды Сергеевны усадьбу Дарьи Васильевны Потемкиной, явившись туда под видом проезжего купца — скупщика хлеба и других сельских продуктов.

Усадьба, как мы знаем, отстояла от имения княгини всего в двух верстах и несомненно была совершенно пригодна для целей княжеского камердинера.

Домик старухи Потемкиной был старин-

ный, построенный без фундамента, так что пол лежал почти на земле. Дарья Васильевна мало занималась своим домом, заботясь единственно только о тепле. И действительно, зимою у нее бывало жарко, но зато летом полусгнившая тесовая крыша пропускала течь, так что в зале, во многих местах бумага, которой был оклеен потолок, отмокла и висела в виде широких воронок. Весной же или в сырую погоду нередко через лакейские и девичьи двери, если они оставались непритворенными, в комнаты проникали лягушки и давали о себе знать неблагозвучным шлепаньем по полу.

В этом домике все было по-старому, как будто жизнь, вошедшая в него в начале восемнадцатого века, забылась в нем и оцепенела; мебель, домашняя утварь, прислуга и, наконец, сама Дарья Васильевна, в ее шлафроке на вате и чепце с широкими оборками — все носило на себе печать чего-то, существовавшего десятки лет без малейшего изменения, старого, но не стареющего.

Среди прислуги Дарьи Васильевны самыми приближенными были старик Фаддей

Емельянович и его жена Лукерья Петровна.

Для краткости их звали Емельяныч и Петровна.

Первый играл роль дворецкого, а вторая ключницы.

Как Емельяныч, так и Петровна любили выпить; оба они были одарены большими носами; оба были стары и нежно любили друг друга.

Подойдет, бывало, 60-летняя Петровна к 70-летнему Емельянычу, так, не говоря ни слова, только посмотрит на него значительно, а Емельяныч, подняв свою седую голову, взглянет через окуляры, всегда торчавшие на кончике его носа, пристально в глаза своей Петровны, и вот они уже поняли друг друга.

Фаддей Емельянович возьмет, положит в сторону всегда вертевшийся в руках его чулок со спицами, расседлат нос от окуляров, скинет с гвоздика свой неизменный длинно-полый сюртук и ваточный картуз, оденет, и вот они рука в руку идут в кладовую, где хранятся травник и другие целебные настойки, откуда через несколько времени возвращаются домой, хотя и тем же порядком и с тою же

любовью, как пошли, но уже со значительно разумянившимися носами и уже не тою твердою походкою.

В жизнь свою они никогда не ссорились, не спорили и ни в чем не упрекнули друг друга, и когда, гораздо уже позднее нашего настоящего рассказа, умерла Лукерья Петровна, то старик, переживший ее двумя годами, каждое воскресенье ходил версты за три на кладбище, едва передвигая от старости ноги, чтобы только посидеть на могиле своей Петровны.

Появление в усадьбе Дарьи Васильевны заезжего купца, человека бывалого даже в столицах, было приветствуемо гостеприимною по натуре Дарьей Васильевной с живейшею радостью.

Эта радость нисколько не уменьшилось даже и тогда, когда Дарья Васильевна, разговорившись с приезжим за чайком, узнала, что он никогда и не слыхивал о ее сыне, офицере Григорие Александровиче Потемкине.

Самолюбие матери было только несколько уязвлено.

Степан Сидорович однако же скоро изгладил это неприятное впечатление, рассказав

кучу питерских новостей, а главное, выразив желание купить излишек хлеба, домашней живности, полотен и других сельских продуктов и выложив перед Дарьей Васильевной пачку ассигнаций в форме крупного задатка.

Старушка, жившая далеко не в большом достатке, при тридцати душах крестьян и двух десятинах земли, была очень обрадована свалившимся с неба деньгам и не знала как угодить и куда посадить тароватого гостя.

Ему отвели горенку рядом с помещением Емельяныча и Петровны.

— Ты у нас, батюшка, погости, не стесняйся... Гостю мы рады-радешеньки, — сказала Дарья Васильевна.

Степану Сидоровичу этого только и надо было.

На дворе стоял апрель 1763 года.

В этот год была ранняя весна и погода стояла уже теплая.

— Погощу, матушка, если позволите, уж больно у вас место хорошо, а и погода стоит расчудесная, а я погулять люблю, подышать чистым воздушком! — отвечал гость.

— Погуляй, родимый, погуляй... — обрадо-

валась Дарья Васильевна.

Степан Сидорович действительно начал гулять.

Он навел точные справки о состоянии здоровья княгини Зинаиды Сергеевны.

Появление младенца ожидали со дня на день.

В доме находилась повивальная бабка, выписанная из Смоленска.

Все эти сведения Сидорыч получил от Аннушки, горничной княгини Зинаиды Сергеевны, уехавшей вместе с нею, как вероятно помнит читатель, из Петербурга.

Последняя, избалованная в столице, до смерти скучала в «медвежьей берлоге», как она называла княжеское имение, где было одно «сиволапое мужичье», с которым, по ее мнению, ей даже говорить не пристало.

Привыкшая к поклонению великосветских лакеев, она не обращала никакого внимания на глазающих на нее парней, не только деревенских, но даже и дворовых, совершенно «неполированных», как определила их, в разговоре с княгиней, «питерская принцесса», — насмешливое прозвище, присвоен-

ное Аннушке этими же «неполированными» парнями.

Встрече с Степаном Сидоровичем она обрадовалась до нельзя и забросала его расспросами о питерских общих знакомых, и тотчас начала жаловаться на свое печальное житье-бытье в медвежьей берлоге.

Хитрый и проницательный Степан Сидорович тотчас догадался, что преданная княгине горничная озлилась на свою барыню за пребывание в глуши и представляет удобную почву для его планов.

Он напрямик заговорил о поручении, которое дал ему князь Андрей Павлович, и о хорошей награде, ожидавшей ее, если она будет усердной помощницей.

Он показал ей пачку ассигнаций.

— Тут три тысячи рублей... и они будут твоими, на них ты можешь и выкупиться на волю, и сберечь малую толику на приданое... В Питере выйдешь за чиновника и заживешь барыней, а князь не оставит и напередки своими милостями, мало — так получай и пять тысяч...

Так говорил соблазнитель. Степан не

ошибся в своей жертве.

Аннушка тотчас поддалась соблазну и продала свою барыню за пять тысяч ассигнациями.

— Надо тоже подмазать и Клавдию Семеновну... — робко заметила она.

Клавдией Семеновной звали повивальную бабку.

— Подмажем, не твоя забота... Ты только оборудуй, погутарь с ней и приведи ее сюда.

— Да как же это... живого-то ребенка, да украсть?.. Ведь там, кроме меня, прислуга есть... Неровен час, попадешься — под плетьюми умрешь... — недоумевала Аннушка.

— Надо так, чтобы не попасться... Да погоди маленько, я это дело обмозгую, еще ведь не скоро.

— Да Клавдия Семеновна говорит, что еще денька, четыре, а может и вся неделька.

— Значит еще время нам не занимать статью...

— Погодь, обмозгую...

Степан Сидорович, несмотря на далекий путь, все еще, действительно не обмозговал, как безопаснее устроить порученное ему кня-

зем страшное дело.

Как он ни думал, как ни соображал, все выходило по русской пословице: «Куда ни кинь, все клин».

Покончив переговоры с Аннушкой, он снова стал обдумывать окончательно план, и снова ничего не выходило.

Счастливым или вернее несчастным случай помог ему выйти из затруднительного положения, когда приходилось чуть ли не отказываться от исполнения княжеского поручения, сделав половину дела. Судомойка в доме Дарьи Васильевны Потемкиной — Акулина была тоже на сносях и полезла в погреб, оступилась и родила мертвого ребенка — девочку.

В доме все завыли и заохали. В числе сочувствующих несчастью был и Степан Сидорыч, только что вернувшийся со свидания с повивальной бабкой, соглашавшейся помочь его сиятельству за тысячу рублей, только чтобы «без риску» и «под ответ не попасть».

При виде мертвенького младенца, Степана Сидорыча осенила мгновенная мысль. План был составлен.

Он отвел в сторону Емельяныча и шепнул ему:

— Уступи мне младенца... говорю... двести рублей дам, а то и поболее.

— С нами крестная сила... Сгинь... разрушься... Да воскреснет Бог и расточатся врази его.

Емельяныч стал истово креститься.

Но дьявол, принявший, по его мнению, образ почтенного купца, не исчезал.

— Уступи, говорю, мне до зарезу надобно; коли двести рублей мало... еще сотнягу набавлю...

Видя, что он имеет дело не с «злым духом», а с человеком, у Фаддея мелькнула мысль, что купец повредился умом, и он опрометью бросился из людской, где лежала больная с мертвым ребенком, к барыне.

— Что еще? — воскликнула Дарья Васильевна, увидя бледного, как смерть, Емельяныча, вошедшего в угловую гостиную.

— С купцом нашим, матушка-барыня, не ладно...

— С каким купцом?

— Да вот с этим, с питерским...

— Что же случилось?

— В уме, видимо, повредился, родимый!

— Что же он сделал?

— Никаких пока поступков, только несет совсем несуразное.

— Что же, говори толком?

— Младенца просит продать ему за триста рублей.

— Какого младенца?

— Акулинина.

— Мертвого?

— Так точно...

— А ты ноне в амбар не ходил?

— Ни маковой росинки.

Дарья Васильевна пристально посмотрела на Фаддея, и убедившись, что он совершенно трезв, сама сперва перетрусила не на шутку и лишь через несколько времени придя в себя, приказала привести к себе Степана Сидорыча.

XVIII НА ЧИСТОТУ

Когда Емельяныч привел Степана Сидоровича к Дарье Васильевне, последняя сделала ему чуть заметный знак, чтобы он остался присутствовать при разговоре.

«Еще оборони Боже, бросится с безумных глаз драться!» — мелькнула у нее трусливая мысль.

Она пристально посмотрела на стоявшего перед ней с опущенной головой Степана.

Тот был окончательно смущен.

Работая уже несколько недель над приисканием безопасного способа исполнить страшное поручение своего барина, и работая безуспешно, осенившая его мысль при виде мертвого ребенка, разрешающая все сомнения и долженствовавшая привести все дело к счастливому концу, до того поразила его, что он тотчас полез с предложением уступить ему мертвого младенца к Фаддею Емельяновичу, не приняв во внимание, что подобное предложение, в свою очередь, должно было

поразить старика своею необычайностью, и последний, несмотря на соблазнительный куш, не только откажется, но доведет этот разговор до сведения своей барыни.

Степан Сидоров все это сообразил только тогда, когда уже старик, снова войдя в людскую, сказал осторожно и мягко:

— Войди в комнаты, барыня тебя кличет...

Отступить было нельзя и Степан машинально отправился вслед за Емельянычем, без мысли о том, как ему придется объяснить странное предложение, сделанное Фаддею.

Потому-то он и предстал перед Дарьей Васильевной с поникшею головою.

— Ты чего это у меня тут смутьянишь... тебя честь-честью приняли, как гостя, а ты так-то за гостеприимство платишь... Думаешь, задаток дал, так у меня и дом купил, так возьми его назад, коли деньги твои в шкатулке в прах не обратились, ты, может, и впрямь оборотень...

Дарья Васильевна говорила отрывисто и громко, стараясь придать возможную строгость своему голосу, хотя внутренне страшно трусила.

Мысль, что он «оборотень» показалась до того страшной Степану Сидоровичу, что он невольно вскинул глаза на говорившую.

Дарья Васильевна в них не прочла ожидаемого безумия и несколько успокоилась.

— Что за шутки со стариком Емельянычем шутишь? Кажись, он тебе в отцы годится, а накось, что выдумал, у него мертвых младенцев приторговывать... напугал и его, да и меня даже до трясучки... Говори, с чего тебе на ум взбрело такие шутки шутить?..

Степан Сидорович стоял ни жив, ни мертв; он чувствовал, что почва ускользает из под его ног, что так быстро и так хорошо составленный план рушится... Если он повернет все в шутку, случай к чему давала ему в руки сама Дарья Васильевна, мертвого младенца зарюют, а за ним все-таки будут следить и все кончено.

План исполнения воли князя останется снова неосуществленным.

Все это мгновенно промелькнуло в голове Степана.

Он решил действовать на чистоту, и вдруг совершенно неожиданно для Емельяныча и

для Дарьи Васильевны бросился в ноги последней.

— Не вели казнить, матушка-барыня, вели помиловать, — заговорил он, лежа ничком на полу.

— Что, что такое, в чем простить?.. — встала даже с кресла Дарья Васильевна.

— Я не купец... не торговец...

— Кто же ты?

— Я камердинер его сиятельства князя Андрея Павловича Святозарова.

— Святозарова? — воскликнула Дарья Васильевна, и снова, но уже совершенно машинально, опустилась в кресло.

— Точно так, матушка барыня, точно так-с...

Мы уже знаем, что Дарья Васильевна, по поручению сына, была знакома с княгиней Зинаидой Сергеевной, и по ее рассказам, а также из писем Григория Александровича, знала, что княгиня, разошлась с мужем, который ее к кому-то приревновал, и уехала в свое поместье, чтобы более не возвращаться в Петербург.

Других подробностей княжеской размолв-

ки она не знала, но и этих сведений для нее было достаточно, чтобы сообразить, что появление камердинера князя близ имения его жены, появление с большой суммой денег — из рассказов Емельяныча Дарья Васильевна знала, что у купца деньжищ целая уйма — было далеко не спроста.

Покупка мертвого ребенка, в связи с каждым час ожидаемым разрешением от бремени княгини, — Дарья Васильевна знала это, так как бывала в Несвицком, имении княгини, почти ежедневно, и даже отрекомендовала ей повивальную бабку, — тоже показалось для сметливой старушки имеющей значение.

Она вспомнила усиленные просьбы сына по возможности сообщать ему подробные сведения о княгине и о том, получает ли она какие-либо вести от своего мужа, то есть князя Андрея Павловича, камердинер которого теперь лежал у ее ног, и решила выпытать от последнего всю подноготную.

— Зачем же тебе или твоему князю понадобился мертвый ребенок? — уже прямо спросила она его.

— Все скажу с глазу на глаз, матушка-бары-

ня... — поднял с земли голову, не вставая с колен, Степан.

— Встань, — сказала Дарья Васильевна, уже совершенно оправившаяся от первоначального испуга. — Ступай, Емельяныч, ты мне больше не нужен.

Старик направился к двери, окинув подозрительным взглядом Степана Сидорыча.

Последний все продолжал стоять на коленях.

— Встань! — повторила Дарья Васильевна, — и рассказывай...

Степан встал с колен.

— Только не ври... — добавила Потемкина.

— Как на духу расскажу всю истинную правду, матушка-барыня, — заявил Степан.

Он действительно во всех подробностях рассказал Дарье Васильевне поручение князя Андрея Павловича, не признающего имеющегося родиться ребенка княгини своим, не скрыл и известного ему эпизода убийства князем любовника своей жены, офицера Костогорова, и кончил признанием, что им уже подговорены и горничная княгини, и повивальная бабка.

«Господи Иисусе Христе, Господи Иисусе Христе...» — только шептала про себя набожная Дарья Васильевна, слушая страшный рассказ княжеского камердинера.

— Что же вы с младенцем этим делать-то хотите, изверги? — прерывающимся от волнения голосом спросила она.

— Князь, как я вам докладывал, изволил приказать украсть, раньше чем его окрестят, чтобы, значит, он его фамилию не носил... Наша холопская доля — что приказано, то и делать надо... князь-то у нас строг, да и человек сильный... У самой государыни на отличке... Только так украсть-то несподручно... княгиня тоже молчать не станет... и тоже управу найдет... так оно и выходит по пословице: «Паны дерутся, а у холопов чубы трясутся».

— Что же делать?

В силе и значении князя Святозарова Дарья Васильевна не сомневалась; она слышала сама эту фамилию, да и сын писал ей о его несметном богатстве и высоком месте при дворе. Борьба против его воли ей, как и Степану, казалось немыслимым, потому-то она даже повторила как-то растерянно:

— Что же делать?

— Да уж я давно ума приложить к этому делу никак не сумею... Надумал я одно... тысячу, другую рублей повивальной-то отвалить... согласится, живорезка... только уж грешно больно... младенец невинный... ангельская душа...

— Чего ж ты надумал?

— Да так, легонько давнуть, как принимать станет... много ли ему, ангельчику, нужно, и дух вон...

— С нами крестная сила! — не своим голосом крикнула Дарья Васильевна. — Душегубство какое задумал... И из головы это выбрось... грех незамолимый...

— Знаю, матушка-барыня, знаю, и самому во как боязно, только что же поделаешь, тоже свою шкуру от князя спасти надо... Живого не украсть, как он приказал, а иначе никак не сообразишь, как и сделать... Княгиня-то тоже не наша сестра, заступу за себя найдет...

— Ох, Господи! — вздохнула совершенно ошеломленная Потемкина.

— Вот, матушка-барыня, как увидел я мертвенького Акулинина младенца, и озари-

да меня мысль, без греха тяжелого дело это оборудовать, и княжескую волю исполнить, и ангельской души не губить...

— Это как же?

— Подменить...

— Что-о-о?

— Подменить, младенцев-то... Акулинин-то сойдет за княгинюшкина, а княгинюшкин-то сюда, будто он Акулинин, а князь за деньгами не постоит, его на всю жизнь обеспечит... Уж больно я той мысли возрадовался, матушка-барыня, да Емельянычу и бухнул... а он, вишь, как перепугался, да и вас перепугал, матушка-барыня!..

Степан замолчал.

Дарья Васильевна тоже молчала, низко опустив свою седую голову.

Она думала.

План Степана Сидоровича относительно подмены ребенка показался ей не только исполним, но и чрезвычайно удобным в том отношении, что она всегда будет в состоянии возратить ребенка его матери и раскрыть гнусный поступок князя и его слуги. Для всего этого ей нужно было посоветоваться с сыном,

которому она подробно и опишет все происшедшее здесь и сделает так, как он ей укажет.

«Ему с горы виднее, а мы здесь люди темные!» — мелькнуло в ее голове.

Горой почему-то она считала Петербург.

— Что же вы мне, матушка-барыня, скажете, как ваша милость решит, так и быть...

— Что же, по-моему, ты дело надумал... Я распоряжусь, поговорю с Емельянычем, возьми ребенка, а княгинина принеси сюда, да поосторожней, не повреди как-нибудь, да не простуди...

— Уж будьте покойны, матушка-барыня, в целости и сохранности представим. Дозвольте к ручке вашей милостивой приложиться, сняли вы с меня петлю вражескую... от геены огненной избавили...

Дарья Васильевна протянула Степану руку.

Тот горячо поцеловал ее. Потемкина не почувствовала, что на ее руку капнуло что-то горячее.

Степан плакал.

С его души, на самом деле, спала страшная тяжесть. Исполнить волю князя теперь было более чем возможно.

Она и была исполнена...

После разговора Дарьи Васильевны с Емельянычем, Степан вышел на свидание со своими сообщниками со свертком в руках.

В эту же ночь княгиня Зинаида Сергеевна Святозарова родила мертвого ребенка — девочку.

В доме же Дарьи Васильевны Потемкиной, в ее спальне, появилась люлька, где спал сладким сном спеленутый здоровый новорожденный мальчик.

Акулина была рада, что за ее ребенком, — от нее, когда она на другой день пришла в себя, скрыли подмену, — так ухаживает барыня, допуская ее лишь кормить его грудью.

Дарья Васильевна обо всем подробно написала сыну.

Это-то роковое известие и получил от матери Григорий Александрович.

XIX

ЕКАТЕРИНА — ЧЕЛОВЕК

В то время, когда совершались описанные нами в предыдущих главах события, которыми семья Потемкиных, сперва сын, а затем мать, роковым образом связала свою судьбу с судьбою семьи князей Святозаровых, Григорий Александрович вращался в придворных сферах, в вихре петербургского «большого света», успевая, впрочем, исполнять свои многочисленные обязанности.

Его выдающиеся способности позволял ему употреблять на это гораздо менее времени, нежели бы понадобилось другому, и сама государыня, следя за успехами выведенного ею в люди молодого офицера, все более и более убеждалась, что не ошиблась в нем, что его ум, энергия и распорядительность принесут в будущем несомненную пользу государству, во главе которого поставила ее судьба.

Своим зорким взглядом великая монархиня провидела в Потемкине государственного деятеля, имя которого не умрет на скрижалях

истории.

Но несмотря на это, возвышения в чинах Григорий Александрович, как мы уже имели случай заметить, шли далеко не быстро, — государыня, видимо, испытывала его.

Потемкин со своей стороны платил ей восторженным благоговением, и это чувство придавало ему бодрости, веру в свои силы и в достижение цели, которая, как мы знаем, была та же, что и в ранней его юности, и выражалась тою же формулою: «Хочу быть министром».

Эта мысль и уверенность преследовали Григория Александровича с утра до вечера и с вечера до утра, и суеверный по природе, он еще более укрепился в них после виденного им сна, показавшегося ему чрезвычайно знаменательным.

Этот сон он видел как раз после получения им письма от Дарьи Васильевны, в котором старушка обстоятельно описывала совершившийся «пассаж» в доме княгини Святозаровой, просила совета, что сделать с посланным ей Богом при таких исключительных обстоятельствах ребенком.

Григорий Александрович несколько раз перечитал письмо, прежде чем принялся за ответ.

Он был сильно взволнован.

Все недавнее прошлое восстало перед ним, образы несчастного Костогорова и не менее, если не более, несчастной княгини Зинаиды Сергеевны, появились один за другим перед его духовным взором.

— Нет, князю не удастся его дикая, нелепая месть... — вслух промолвил Григорий Александрович. — К тому времени, когда этот ребенок вырастет, я буду в силе, и эта сила даст мне возможность восстановить его права... Теперь же пусть пока его сиятельство вместе со своими достойными сообщниками утешаются мыслью, что достигли своей цели — повергли в ничтожество незаконного сына княгини.

Он сел писать письмо матери.

Он писал долго и медленно и поздняя ночь застала его за этой работой.

Наконец он окончил и запечатал пакет.

Измученный пережитым и перечувствованным, он, наскоро раздевшись, бросился в

постель, но долго не мог заснуть: княгиня и ее сын не выходили из его головы.

«Я возвращу ей его, когда буду министром...»

С эти решением он заснул.

Странный сон посетил его.

Он увидел себя в обширной, светлой комнате, стены которой увешаны громадными зеркалами.

В глубине этой комнаты, на высоком троне, сидела императрица в наряде, который она надевала в высокаторжественные дни, в бриллиантовой короне на голове, в светлозеленом шелковом платье, в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами, на котором одна под другой были приколоты две звезды и красовались две орденские ленты с цепями этих орденов.

Вся фигура императрицы была как бы прозрачной и от нее лился лучами какой-то фосфорический свет.

В комнате никого не было, кроме его, По темкина.

Он преклоняет колена перед этим чудным видением и, случайно взглянув в одно из зер-

кал, видит, что несколько лучей, исходящих от императрицы, освещают его фигуру, так что и он сам кажется облитым фосфорическим светом.

Но странное дело: вдруг какая-то темная дымка окружает его фигуру — он перестает видеть свое отражение в зеркалах, тогда как образ «русской царицы» разгорается все ярче и ярче.

Потемкин проснулся.

Снова величественный образ монархини наполнил его сердце, вытеснил оттуда все воспоминания прошлого.

Отправив наутро письмо, Григорий Александрович отдался суете придворной жизни, работе, вознагражденный за последнюю лицезрением своей «богини», как он мысленно называл государыню.

Не один он, впрочем, боготворил в то время императрицу — ее боготворила вся Россия.

Ее любили не только люди, но и животные.

Последние, даже те, которые дичились всяких ласк, встречая государыню, давали ей себя ласкать, чужие собаки со двора прибегали

к ней и ложились у ее ног. После бывшего, незадолго до нашего рассказа, большого пожара в Петербурге, голуби слетелись тысячами к ее окнам и нашли там пристанище и корм.

Про ангельскую доброту государыни ходили по городу целые легенды.

Императрица вставала в шесть часов, когда в Зимнем дворце все спало, и не беспокоя никого, сама зажигала свечи и разводила камин.

Однажды она услышала громкий, неизвестно откуда исходящий голос.

— Потушите, потушите огонь!..

— Кто там кричит? — спросила она.

— Я, трубочист, — отозвался голос из трубы.

— А с кем ты говоришь?

— Знаю, что с государыней, — отвечал голос, — погасите только поскорее огонь, мне горячо.

Императрица тотчас сама залила огонь.

Она не любила тревожить прислугу и часто говорила:

«Надо жить и давать жить другим».

Если она звонила, чтобы ей подали воды, и камер-лакей спал в соседней комнате, то она терпеливо ждала.

Встав с постели, государыня переходила в другую комнату, где для нее были приготовлены теплая вода для полоскания рта и ледяная для обтирания лица.

Обязанность приготовления всего этого лежала на особой девушке, камчадалке Алексеевой, часто бывавшей неисправной и заставлявшей императрицу подолгу ждать.

Раз Екатерина рассердилась и сказала:

— Нет, уж это слишком часто, взыщут, непременно взыщут...

При входе Алексеевой, она, впрочем, ограничилась следующим выговором:

— Скажи мне, Екатерина Ивановна, или ты обрекла себя навсегда жить во дворце? Смотри, выйдешь замуж, то неужели не отвыкнешь от своей беспечности, ведь муж не я; право, подумай о себе...

Однажды, в Петергофе, прогуливаясь в саду, императрица увидела в гроте садового ученика, который имел перед собою четыре блюда и собирался обедать.

Она заглянула в грот и спросила:

— Как ты хорошо кушаешь. Откуда ты это получаешь?

— У меня дядя поваром, он мне дает...

— И всякий день по стольку?

— Да, государыня, но лишь во время вашего пребывания здесь.

— Стало быть ты радуешься, когда я сюда переселяюсь?

— Очень, государыня! — отвечал мальчик.

— Ну, кушай, кушай, не хочу тебе мешать! — сказала государыня и пошла далее.

Все служащие при государыне были к ней беззаветно привязаны и полнейшее ее неудовольствие повергало слуг в большое горе.

Один из ее камердинеров и самый любимый Попов, отличался необыкновенной правдивостью, хотя и в грубой форме, но императрица на него не гневалась.

Как-то государыня приказала ему принести часы, объяснив какие именно.

Попов ответил, что таких у нее нет.

— Принеси все ящички, я сама посмотрю, коли ты упрямишься! — сказала императрица.

— Зачем их по-напрасну таскать, когда там часов нет.

— Исполниай, а не груби... — заметил бывший при этом граф Орлов.

— Еще правда не запрещена — она сама ее любит... — возразил Попов. — Я принесу, мне что же.

Ящики были принесены, но часов не нашли.

— Кто же теперь неправ, вы или я, государыня? — спросил Попов.

— Я, прости меня... — отвечала та.

В другой раз, не находя у себя на бюро нужной бумаги, императрица сделала тому же Попову выговор.

— Верно ты ее куда-нибудь задевал! — сказала она.

— Верно вы сами куда-нибудь ее замешали... — грубо отвечал он.

— Ступай вон! — с досадой крикнула Екатерина.

Попов ушел.

Скоро найдя бумагу в другом месте, она приказала позвать Попова к себе.

Последний, однако, сразу не пришел.

— Зачем я к ней пойду, когда она меня от себя выгнала... — возразил он.

Только по третьему зову предстал он перед очи своей государыни.

Раз рано утром императрица взглянула в окно и увидела, что какая-то старуха ловит перед дворцом курицу и никак не может поймать.

— Велите пособить бедной старухе; узнайте, что это значит? — приказала она.

Государыне донесли, что внук этой старухи служит поваренком, и что курица казенная — краденная.

— Прикажите же навсегда, — сказала Екатерина, — чтобы эта старуха получала всякий день по курице, но только не живой, а битой. Этим мы отвратим от воровства молодого человека, избавим от мученья его бабушку и поможем ей в нищете.

После того старуха каждый день являлась на кухню и получала битую курицу.

Волосы государыни были очень длинные, так что когда она сидела в кресле, достигали до полу.

Убирал их ежедневно парикмахер Козлов,

жена которого жила вне Петербурга.

Государыня однажды осведомилась у него о здоровье последней.

— Пишет, государыня, что здорова.

— Как, неужели она не приезжает видеться с тобой?

— Да на чем, нанимать дорого, казенных же теперь не дают; вы нам много хлопот наделать изволили, сократив конюшни.

В то время только что ввели сокращения по конюшенному ведомству.

— Не верю, однако же, чтобы с такою точностью исполняли мое приказание, и чтобы по знакомству выпросить было невозможно. Скажи мне откровенно?

— Сказал бы, — отвечал Козлов, — но боюсь, как бы не прознал это обер-штальмейстер.

— Нет, ручаюсь, что все останется между нами! — успокоила его императрица.

— Тогда знайте, что все старое по старому: лишний поклон и коляска подвезена; только не проговоритесь, не забудьте обещания.

— Ни-ни! — сказала царица и держала тайну.

В числе дворцовых поваров был один очень плохой, но государыня не увольняла его и когда наступала его очередная неделя говаривала:

— Мы теперь на диете, ничего, попостимся, за то после хорошего поедим.

Однажды государыня выслушивала чей-то доклад, а в соседней комнате придворные играли в волан и так шумно, что заглушали слова читавшего.

— Не прикажете ли, — сказал он, — велеть им замолчать?

— Нет, — отвечала императрица, — у всякого свои занятия читай немного погромче и оставь их веселиться.

Такова была великая Екатерина — как человек.

Недаром имя «матушки-царицы» окружено было для современников ореолом доброты и мудрости.

Последнее качество, впрочем, уже было качеством императрицы.

XX

ИМПЕРАТРИЦА

Кроме обаятельного образа человека и женщины, в императрице Екатерине были все качества идеальной правительницы.

Она с большим правом и в лучшем смысле, нежели Людовик XIV, могла сказать: «Государство — это я».

Действительно, несмотря на свое иноземное происхождение она так сроднилась с Россией, что составляла с ней одно целое, недаром русская история приняла для целой эпохи название «екатерининской».

Государыня идеально усвоила русскую речь и даже многие русские привычки. Она парилась в русской бане и употребляла часто в разговоре пословицы.

Она была очень религиозна и строго исполняла все правила православной церкви, ходила на литургии, всенощные, говела и соблюдала посты.

Мнение народа она ставила выше всего, даже в мелочах.

Государыня редко каталась по городу — ей не позволяли этого ее многочисленные занятия, но однажды, почувствовав головную боль, она села в сани, проехала и получила облегчение.

На другой день у государыни была тоже боль головы, и ей советовали употребить вчерашнее лекарство, то есть опять ехать в санях, но она отвечала:

— Что скажет про меня народ, когда бы увидел меня два дня кряду на улице?

С утра государыня садилась за дела; в кабинете все бумаги лежали по статьям, по раз заведенному порядку, на одних и тех же местах.

Перед нею во время чтения бумаг ставилась табакерка с изображением Петра Великого.

Императрица говорила, смотря на него:

— Я мысленно спрашиваю это великое изображение, что бы он повелел, что бы запретил, или что бы стал делать на моем месте.

Занятия государыни продолжались до девяти часов.

После девяти первый к ней входил с докла-

дом обер-полицеймейстер.

Государыня расспрашивала его о происшествиях в городе, о состоянии цен на жизненные припасы и о толках про нее в народе.

Узнав, что говядина от малого пригона скота поднялась в цене с двух копеек до четырех, она приказала тотчас же выдать деньги на покупку скота и, таким образом, понизить цены.

После обер-полицеймейстера входили: генерал-прокурор — с мемориями от сената, генерал-рекетмейстер для утверждения рассмотренных тяжб, губернатор, управляющий военною, иностранною коллегиями и так далее.

Для некоторых членов назначены были на неделе особые дни, но все чины в случаях важных и не терпящих отлагательства, могли и в другие дни являться с докладом.

Из кабинета государыня переходила в парадную уборную, где представлялись ей некоторые вельможи в то время, когда ей убирали голову.

Туалет государыни продолжался не более десяти минут; прислуживала ей калмычка

Алексеева, гречанка Палакучи накалывала ей наколку и две сестры Зверевы подавали булавки.

Прием в уборной государыни почитался знаком особенной царской милости.

В начале своего царствования государыня принимала все просьбы лично, но когда в Москве просители во время коронации стали перед ней на колени полукругом и преградили ей дорогу к соборам, а армяне подали ей вместо просьб свои паспорта, государыня лично уже просьб не принимала.

Скажем несколько слов о начале ее светлого царствования.

23 июля 1762 года императрица Екатерина II издала первый свой манифест, в котором говорилось о причинах, побудивших ее занять престол своего мужа.

В заключение манифеста императрица заявила, что она вступила на престол по явному и нелицемерному желанию своих подданных.

Для того, чтобы закрепить дело императрица поторопилась с назначением времени для своей коронации, и не далее, как через

неделю по восшествии на престол был обнаружен манифест об имеющем совершиться в сентябре месяце того же года коронации.

Этот манифест вышел в один день с манифестом о кончине Петра III.

1 сентября государыня выехала из Петербурга совершенно незаметно. В столице не знали о цели ее поездки.

Распоряжения по торжеству коронации были поручены князю Никите Юрьевичу Трубецкому.

Приготовлением короны занят был И. И. Бецкий.

Сделанная корона поражала своим богатством: в ней находилось пятьдесят восемь одних крупных бриллиантов, большого жемчуга семьдесят пять штук; вообще корона оценивалась тогда знатоками в два миллиона рублей.

9 сентября императрица приехала в подмосковное село Петровское, а 13 сентября происходил ее торжественный въезд в древнюю столицу.

В числе сопровождавших императрицу был и Григорий Александрович Потемкин.

Все улицы первопрестольной столицы были убраны ельником, на подобие садовых шпалер, обрезанных разными фигурами. Дома и балконы украшены были коврами и разными материями.

Для торжественного въезда императрицы, устроено было четверо триумфальных ворот: на Тверской улице в Земляном городе, на Тверской улице в Белом городе, в Китай-городе, Воскресенские и Никольские в Кремле.

У Никольских ворот императрицу встретил московский митрополит Тимофей с прочим духовенством, и говорил ей краткую поздравительную речь.

Коронация императрицы происходила, с обычными церемониями, 22 сентября.

Первенствующим архиереем при коронации был архиепископ новгородский Дмитрий Сеченов, возведенный в день коронации в сан митрополита, а следующим за ним был митрополит московский Тимофей Щербатский.

На медалях, выбитых в честь коронации Екатерины, на лицевой стороне был изображен бюст императрицы, на другой стороне

были надписи: — вверху — «За спасение веры и отечества», внизу — «Коронована в Москве сентября 22 дня 1762 года».

По случаю коронации, императрица многих своих приближенных осыпала своими милостями, выразившимися в повышении чинов, в пожаловании шпаг с бриллиантами, в награждении орденами.

Имя Потемкина, однако, в числе награжденных не встречается.

28 сентября императрица давала праздник собственно для народа.

К этому празднику заказаны были особого рода экипажи, украшенные резьбою и позолотою; на них устанавливались жареные быки с многочисленною живностью и хлебами.

Эти экипажи в день народного праздника разъезжали по улицам города и служили источником народного угощения.

За ними тянулись другого рода экипажи и роспуски, с установленными на них бочками пива и меда.

Как роспуски, так и самые бочки с пивом, тоже устроенные с особою исключительною целью, отличались оригинальностью свое-

го убранства: бочки, например, по краям и иным местам были раскрашены под цвет серебра.

На многих открытых местах города поставлены были столы для нищих, с большим запасом всевозможного рода закусок. Кроме того, нищим раздавали и деньги.

Главный центр праздника находился на Красной площади и на Лобном месте.

Здесь установлено было множество столов с различными закусками. Бросались в глаза горы пирогов, лежащих на столах пирамидальными возвышениями, сидели целые стада жаренных птиц, как живые, а близ них большие фонтаны выметывали из себя в огромные чаны красное и белое вино.

На ближайших к Кремлю перекрестках стояли красивые балаганы и шатры с цветными флагами, перевитыми лентами.

В них находились также лакомые даровые припасы — груды золоченных пряников, маковые избойни.

Там и сям возвышались качели, высились комедь с акробатическими представлениями, толкались куклы на помосте, слышался голос

импровизатора-рассказчика, объясняющего затейливые картины.

Государыня, в сопровождении большой свиты, с пышной обстановкою разъезжала по Москве и любовалась картиною народного празднества; между тем, окружавшие ее бросали в народ жетоны.

Празднества в Москве по случаю коронации продолжались целую неделю.

С таким торжеством начатое царствование и было рядом торжеств для России.

Народ боготворил «матушку-царицу», служащие знали, что их заслуги будут оценены с высоты трона, а их проступки не ускользнут от зоркого взгляда государыни, придворные боготворили императрицу, великодушную и щедрую.

Не любя разных попрошайек, она умела награждать.

Подарки она делала с таким умением и тактом, что их нельзя было не принять.

Она дарила всегда неожиданно: то пошлет плохую табакерку с червонцами, то горшок простых цветов с драгоценным камнем на стебле, то простой рукомыльник с водою, из ко-

того выпади драгоценный перстень; то подложит под кровать имениннице две тысячи серебрянных рублей, или подарит невесте перстень со своим изображением в мужском наряде, сказав: «А вот и тебе жених, которому, я уверена, ты никогда не изменишь и останешься ему верна», или пошлет капельмейстеру Паизиэло, после представления его оперы «Дидона», табакерку, осыпанную бриллиантами, с надписью, что карфагенская царица при кончине ему ее завещала!

Бывали примеры, что государыня посылала подарки и обличительного свойства, для исправления нравов своих придворных и чиновников.

Так, узнав, что владимирский наместник берет взятки, Екатерина послала ему в подарок, в день Нового года, кошелек длиною в аршин.

Наместник развернул его у себя за обеденным столом, на глазах всех гостей.

Одному из вельмож, любившему выпить, государыня подарила большой кубок, а другому старичку, взявшему к себе на содержание танцовщицу, послала попугая, который то и

дело говорил «Стыдно старику дурачиться».

Один из вельмож, охотник до мелких рудоделий, подарил государыне расшитую шелками подушку своей работы.

Государыня подарила ему бриллиантовые серьги.

Императрица, как известно, отличалась необыкновенною вежливостью в обращении с людьми, и любимую ее поговоркою была: «*Ce n'est pas tout que d'être grand seigneur, il faut encore être poli*» (не довольно быть вельможею, нужно еще быть учтивым).

По рассказам, государыня имела особенный дар приспособлять к обстоятельствам выражение своего лица.

Часто после вспышки гнева в кабинете, подходила она к зеркалу и, так сказать, сглаживала, прибирала свои черты и являлась залу с светлым и царственно приветливым лицом.

Этими драгоценными свойствами правительница государства приобрела себе не только обожание подданных, но и удивление, скажем более, поклонение иноземных современников.

Становится понятным, почему восторженный Потемкин мог создать себе в благоговении к императрице почти религиозный культ, которому готов был принести всякие жертвы на разрушенном алтаре своей первой, чистой любви.

XXI НА ПОЛЯХ БИТВ

Прошло более шести лет. Положение Григория Александровича в служебном отношении и при дворе было далеко не таково, чтобы вполне удовлетворить его колоссальное честолюбие.

Он за это время успел, однако, быть пожалованным в камергеры.

Это было в 1768 году, а за год перед этим он был командирован с двумя ротами своего полка в Москву, где тогда собралась известная «Большая комиссия», для составления «Уложения».

В ней Потемкин участвовал в качестве опекуна депутатов от татар и других иноверцев, выбравших его «по той причине, что они

не довольно знают русский язык», а также был членом комиссии духовно-гражданской.

Но все эти ранги, повторяем, были мелки для души, жаждавшей громких подвигов, богатства, власти, славы.

А такую, несомненно, была душа Потемкина.

Он убедился, наконец, что во дворце, где кишели интриги и было так много конкурентов, ему не найти желаемой грандиозной фортуны, и решил искать ее на поле битвы.

Наступил 1769 год.

Была объявлена война Турции.

Григорий Александрович, продолжая находиться в Москве в составе Большой комиссии, обратился еще в конце 1768 года к государыне с умно и ловко написанным письмом, целью которого, было произвести впечатление на императрицу. Он просил в нем дозволения ехать в армию.

Вот что писал он в нем, между прочим:

«Беспримерные вашего величества попечения о пользе общей учиняет отечество наше для нас любезным. Долг подданической обязанности требовал от каждого соответ-

ствования намерениям вашим... Я ваши милости видел, с признанием вникал премудрые указания ваши и старался быть добрым гражданином. Но высочайшая милость, которую я особенно взыскан, наполняет меня отменным к персоне вашего величества усердием. Я обязан служить государыне и моей благодетельнице, и так благодарность моя тогда только изъяснится во всей своей силе, когда мне, для славы вашего величества, удастся кровь пролить. Вы изволите увидеть, что усердие мое к службе вашей наградит недостатки моих способностей, и вы не будете иметь раскаяния в выборе вашем...»

Цель была достигнута.

В заседании Большой комиссии 2 января 1769 года, маршал собрания Бибииков объявил, что господин опекун от иноверцев и член комиссии духовно-гражданской, Григорий Потемкин, по высочайшему ее императорского величества соизволению, отправляется в армию волонтером.

Григорий Александрович был переименован из камергеров в генерал-майоры. Ему было всего тридцать лет.

С современной точки зрения, такая карьера может быть названа более чем блестящей, но в описываемую нами эпоху для лиц, приближенных к государыне, подобное повышение было заурядным.

Русская армия находилась под начальством князя Голицына, осаждавшего крепость Хотин на Днестре.

Эта при Екатерине первая война с турками, как известно, была рядом блестящих побед и торжеств русского оружия.

Русские войска покрыли себя неувядаемою славою под начальством графа Румянцева-Задунайского, назначенного на смену князя Голицына.

Выгодный мир при Кучук-Кайнарджи завершил разгром Турок при Ларге и Кагуле.

Эта же война доставила первые лавры Потемкину.

Во все это время продолжения военных действий с 1769 по 1774 год Григорий Александрович командовал отдельным отрядом и участвовал в сражениях при Фокшанах, Ларге, Кагуле, при осаде Силистрии, и за свою распорядительность и личную храбрости по-

лучил чин генерал-поручика и ордена святой Анны I степени и святого Георгия III класса.

Изучив еще ранее в Петербурге конную службу, Потемкия оказался не только лихим кавалеристом, но и прекрасным организатором кавалерийской атаки, что он блестяще доказал вскоре по прибытии его в армию.

Князь Голицын во всеподданейшем рапорте о поражении Молдаванжи-паши, в августе 1769 года, писал императрице между прочим следующее:

«Непосредственно рекомандую вашему величеству мужество и искусство, которое оказал в сем деле генерал-майор Потемкюн ибо кавалерия наша до сего времени не действовала с такою стройностью и мужеством, как в сей раз, под команду вышеозначенного генерал-майора».

Но и среди треволнений военной жизни, под свистом пуль, при радостных победных кликах, Потемкин душой стремился в Петербург, во дворец, к той, чей образ жил непрестанно в его душе.

Там был источник величия, милости и богатств.

Там жила «державная властительница», внимание которой, один благосклонный взгляд, стоили, в его глазах, неизмеримо более истребления несметных полчищ врагов, взятия десятков крепостей.

Образ русской Минервы не покидал его воображения и был для него путеводной звездой среди опасностей военных подвигов.

Он верил в эту звезду.

Он стремился снова под ее животворные лучи.

Счастье ему благоприятствовало и на этот раз.

Выбор главнокомандующего армией графа Румянцева-Задунайского, отправлявшего курьера с донесениями к императрице, пал на Григорий Александровича.

В конце 1770 года он прибыл в Петербург с отличными рекомендациями графа.

В письме Задунайского перечислялись заслуги Потемкина:

«Сей чиновник, имеющий большие способности, может сделать земле, где театр войны состоял, обширные и дальновидные замечания, которые по свойствам своим заслужива-

ют быть удостоенными высочайшего внимания и уважения, а посему и вверены ему для донесения вам многие обстоятельства, к пользе службы и славе империи относящиеся».

«Обширные и дальновидные замечания», о которых говорит Румянцев, вероятнее всего были те грандиозные планы восторженного фантазера Потемкина, которые вылились впоследствии в форму знаменитого «греческого проекта», пугавшего так Европу в прошлом столетии и стоящего еще и теперь перед ней грозным привидением в образе «восточного вопроса».

Государыня благосклонно приняла и выслушала прибывшего с поля битвы Григория Александровича, но увы, он понял, что час его возвышения при дворе не пробил.

Он пробыл в Петербурге несколько месяцев.

Положение его было далеко не из блестящих, даже по части денежной. Он, впрочем, нуждался в деньгах и ранее.

Незначительный сравнительно с потребностями светской жизни доход с его имени

заставлял его влезть в долги, даже мелкие; так, он задолжал несколько сот рублей мещанину Яковкину.

Последний занимался в Петербурге мелочной торговлей.

В его лавке находилось в изобилии все, что нужно для военного человека: чай, сахар, кофе, сливки, молоко, хлеб, булки, мыло, клей, мел, позументы, сапожный товар, вакса, пудра, медь, огурцы, капуста, колбаса и прочее.

Яковкин, как тогда говорили, был кормилец нижних чинов и даже офицеров половины гвардии.

Правда, он не дешево продавал гвардейцам свой товар, но зато он верил им в кредит.

Потемкин, служа в конногвардейском полку, забирал разную мелочь у Яковкина и был постоянно ему должен.

Он уехал в действующую армию не расплатившись, да и по приезде снова в Петербург, принужден был забирать в долг у того же Яковкина, так как денег у него было мало.

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей», — говорит русская пословица.

Григорий Александрович знал ее и поста-

рался обзавестись друзьями при дворе.

По счастливой случайности, библиотекарем государыни был в то время его московский приятель Василий Петрович Петров.

Он воспитывался в Московской духовной семинарии, в которой, по окончании курса, сделался учителем поэзии, риторики и греческого языка.

В 1768 году он перешел на службу в Петербург в штат придворной библиотеки и, вскоре, потом отправлен в Англию, где научился языкам: английскому, немецкому и французскому, а по возвращении определен переводчиком при кабинете, а затем сделан библиотекарем.

Вторым близким к государыне лицом, с которым будущий «князь Тавриды» сумел сойтись на дружескую ногу, был Иван Тимофеевич Елагин, директор театров.

Оба они, а первый еще до приезда Григория Александровича из армии, постоянно старались напоминать государыне о Потемкине.

Петров воспевал его и в стихах, и в прозе.

По случаю победы при Фокшанах, где Григорий Александрович командовал самостоя-

тельным отрядом, Петров написал четверостишие:

*Он жил среди красот и аки Ахиллес,
На ратном поле вдруг он мужество изнес;
Впервые приял он гром — и гром ему послушен,
Впервые встретил смерть — и встретил равнодушен.*

Вирши эти ходили по рукам при дворе и, конечно, были известны императрице.

Через Елагина и Петрова Григорий Александрович выхлопотал разрешение писать к ее величеству и получать через них словесные ответы государыни.

Достигнув этого, Григорий Александрович в начале 1771 года снова уехал в армию.

Оттуда он не замедлил воспользоваться разрешением писать к государыне.

Письма эти были хорошо обдуманы и не менее хорошо написаны.

Карабанов сообщает, что с любопытством прочитывая все письма, государыня видела, с каким чувством любви и с какою похвалою

изъясняется Потемкин насчет ее особы; она сперва приказывала передавать ему словесные ответы, а потом принялась за перо и вела с ним переписку.

Блестящий ум, беззаветная преданность, обширные замыслы для возвеличивания России — все это высказалось в ярком свете в письмах восторженного молодого генерал-майора и не могло не повлиять на государыню в смысле благосклонности к такому подданному.

Обстоятельства при этом складывались таким образом, что такой именно человек, каким был Потемкин, становился необходимым у кормила правления.

Турция за наши победы отплатила нам страшною чумою.

Произошел бунт в Москве, со всеми его ужасами. Его кровавою жертвою сделался архиепископ Амвросий, тот самый, который в бытность свою архиереем, отклонил юношу Потемкина от мысли поступления в монастырь и дал ему денег на дорогу в Петербург.

Усмирение московских волнений и прекращение чумы было одним из последних

дел Григория Орлова, о чем свидетельствуют до сих пор существующие в Царском Селе триумфальные ворота, на которых красовалась лаконическая надпись: «Орловым от беды избавлена Москва».

Между тем, возник пугачевский бунт.

Несмотря на свою прозорливость, Екатерина вначале не постигла важности этого движения и считала его не более, как частной попыткой дерзкого разбойника; но когда восстание охватило весь край, от Екатеринбурга и Уфы до Астрахани и Камышина, императрица увидела опасность, грозившую ее трону.

В такую трагическую минуту, не находя около себя никого, кроме ловких и опытных интриганов, Екатерина сознала свое одиночество и решилась опереться на могучую руку Потемкина, которого государственные способности, горячую любовь к ней и России, неукротимый характер и твердую волю она давно уже успела оценить.

Зароненные в ее душу Григорием Александровичем семена нашли подготовленную обстоятельствами плодородную почву.

Последний тем временем, находясь в дей-

ствующей армии, по-прежнему проявлял храбрость и распорядительность, командовал уже целым резервным корпусом под Силистрией и отличался во многих делах, но душою и всеми своими помыслами все же был в Петербурге, у трона повелительницы Севера.

XXII ПРИЕМЫШ

В то время, когда весь поглощенный честолюбивыми замыслами Григорий Александрович Потемкин выказывал чудеса храбрости и недюжинные способности военачальника в войне с турками, а между тем, в Петербурге подготовлялся ему еще более высший служебный жребий — пост правой руки мудрой государыни, в далеком Смоленске, в доме подполковника Василия Андреевича Энгельгардта, среди многочисленных дочерей последнего, рос милovidный десятилетний мальчик Володя — приемыш Василия Андреевича и его жены Марфы Александровны, старшей сестры Потемкина.

В городе немало удивлялись, что Энгельгардты, люди далеко не богатые, имеющие на руках четырех дочерей, взяли себе на воспитание пятого ребенка — мальчика.

Кто был этот приемыш — никому не было известно в точности.

Как на причину принятия к себе на воспитание Володи, указывали на желание обоих родителей Энгельгардтов иметь сына.

Этим удовлетворялось провинциальное любопытство, хотя злые языки, не довольствуясь этим, сочинили целые романтические истории о происхождении Энгельгардтовского приемыша, как звали в Смоленске жившего у Энгельгардтов мальчика.

В этих историях играли роль то муж, то жена Энгельгардты.

Официально мальчик значился Владимиром Александровичем Петровским.

Нам с тобой, дорогой читатель, не надо вместе со смоленскими обывателями того времени ломать головы над происхождением этого ребенка.

Мы видели его спящим в люльке в спальне Дарьи Васильевны Потемкиной на другой

день его рождения.

Это был князь Святозаров, законный сын князя Андрея Павловича, лишенный последним и титула, и родителей.

Мальчик находился под особым покровительством Григория Александровича Потемкина.

Это, впрочем, содержалось в самой сокровенной тайне не только от посторонних, но даже от самого Володи.

Получив от сына пространный ответ на свое не менее пространное письмо о случае с ребенком ангела-княгинюшки, Дарья Васильевна Потемкина буквально исполнила все, что писал ей Григорий Александрович.

Она окрестила ребенка и назвала Владимиром.

Восприемником его был соседний помещик Андрей Васильевич Петровский, по странной игре слепого случая носивший одно имя с настоящим отцом ребенка, князем Святозаровым.

Акулине было объявлено, что барыня берет ее сына на воспитание и сделает из него «барчонка», что только, конечно, порадовало

кормилицу Володи, которая считала себя его родной матерью.

Впрочем, Акулине не пришлось долго радоваться на своего ненаглядного сыночка, такого красивого да нежного, точно впрямь «барчонка», она умерла в тифозной горячке, когда Володе был третий год в исходе.

Крестный отец мальчика, одинокий старик-помещик, сосед по имени Дарьи Васильевны, так привязался к мальчику, что когда ему пошел седьмой год, подал на высочайшее имя прошение об усыновлении сироты, сына дворовой девушки Акулины Птицыной Владимира, по крестному отцу Андреева.

На прошение это, не без хлопот со стороны Григория Александровича и его петербургских друзей, впоследствии разрешило, и Владимир Андреевич стал дворянином Петровским и был записан в военную службу.

Андрей Васильевич вскоре умер, оставив в наследство своему приемному сыну свое маленькое имение с домом и всю обстановкою и десять тысяч рублей ассигнациями капитала.

Опекуном к мальчику был назначен Васи-

лий Андреевич Энгельгардт, который, когда мальчику минуло восемь лет, взял его к себе в дом для обучения грамоте.

За деревенским домом Петровского присматривала Дарья Васильевна и штат дворовых людей.

Из вещей Володе был дан в Смоленске только образ Казанской Божией Матери, которым покойный Петровский благословил мальчика.

Образ этот имел свою таинственно-загадочную историю. Он достался Андрею Васильевичу от его родного деда, Юрия Петровича.

Последний был денщиком Петра Великого и государь из всех своих денщиков доверял ему исключительно.

Однажды оказался недочет в значительной сумме денег, ответственность в которой лежала на Юрие Петровиче.

Один из его товарищей, но кто именно — неизвестно, сделал на него донос, что недостающие деньги истрачены им самим.

Вследствие этого доноса, как обвинитель, так и обвиняемый были арестованы и под-

вергнуты допросу.

Кто не знает тогдашнего способа допросов?
Не сознается, так пытаться...

Обоих отвели в застенок.

Доносчик должен был быть первый подвергнут пытке по пословице: «Доносчику первый кнут», и если бы он выдержал, тогда приступили бы к пытке оговоренного, о чем последний и был предупрежден.

Когда Юрий Петрович сидел за перегородкой, отделявшей его от страшного застенка, он от утомления, сидя на лавке и прислонившись к углу, задремал.

И слышит он, как будто сквозь дремоту, кто-то говорит ему:

«Нагнись! Под лавкой, где ты сидишь, найдешь образ Казанской Божией Матери, возьми его и молись ему, и будешь спасен».

Очнувшись от дремоты, Юрий Петрович тотчас же бросился шарить под лавкой, действительно нашел там образ Божией Матери Казанской и начал ему усердно молиться.

Наступило, наконец, время допроса.

Слышит он через перегородку, что прошли в застенок и стали спрашивать его лиходея.

Тот поколебался.

Устрашенный страшными приготовлениями к пытке, он сознался, что сделал донос на товарища по злобе и указал место, где мнимо растраченная сумма была спрятана.

Юрий Петрович выпущен был на свободу и найденный в застенке образ обложил серебряной вызолоченной ризою и завецал, чтобы образ этот вечно находился в его потомстве.

Этот образок висел над кроватью Володи Петровского в доме Энгельгардта в Смоленске и мальчик усердно утром и вечером молился ему за упокой души дяди Андрея, за здоровье бабушки Дарьи, тетей Зинаиды, Марфы и дядей Андрея и Григория.

Так выучила его молиться Дарья Васильевна, но кто были тетя Зинаида и дядя Григорий мальчик не знал, и на его вопросы ему отвечали, что он узнает это, когда вырастет большой и будет хорошо учиться.

Мальчик перестал задавать об этом вопросы, но тайна, окружавшая эти неизвестные ему имена, в связи с положением сироты, приемыша в чужом доме, выработала в нем сосредоточенность и мечтательность.

Ребенок ушел в самого себя и жил в своем собственном, созданном его детским воображением мире.

Учился он, однако, очень хорошо: сначала под руководством гувернантки-француженки вместе с дочерьми Энгельгардта, а затем — учителя из окончивших курс смоленских семинаристов, передавшего своему ученику всю пройденную им самим премудрость, позже — гувернера-француза и, наконец, — учителей семинарии.

Образование мальчик получил, таким образом, по тому времени превосходное.

За этим следил откуда-то издалека тот же таинственный «дядя Григорий».

Дарья Васильевна по-прежнему жила у себя в Чижове, наезжая впрочем, несколько раз в год в Смоленск, погостить к дочери.

ПОБЕЖДЕННОЕ ИСКУШЕНИЕ

Других развлечений, кроме посещения Смоленска, у старушки Потемкиной не было, так как по смерти Петровского и отъезда в Петербург княгини Зинаиды Сергеевны Святозаровой, она оказалась без близких соседей.

Княгиня Зинаида Сергеевна долго болела после родов. Произошло это более всего от нервного потрясения, при известии, что с таким нетерпением и с такими надеждами ожидаемый ребенок родился мертвым.

У несчастной сделалась родильная горячка и она была буквально вырвана из когтей смерти усилиями лучших смоленских докторов.

Дарья Васильевна почти ежедневно посещала Несвицкое и просиживала около больной по несколько часов.

Тяжело было старушке, но она этим, казалось, искупала свою вину перед несчастной женщиной, вину невольной участницы в причинении ей тяжелого горя.

Бедная мать при ней оплакивала смерть своей бедной девочки еще до рождения, недоумевала, как это могло случиться и положительно разрывала на части сердце Дарьи Васильевны.

Наконец княгиня оправилась.

На дворе снова была весна.

Зинаида Сергеевна почасти и подолгу находилась в саду, где в одной из отдаленных аллей деревянный крест указывал могилу ее мертворожденной дочери.

Сюда приходила несчастная мать грустить о своем сыне.

С потерей сладкой надежды иметь утешение в другом ребенке, в сердце княгини Зинаиды Сергеевны с необычайной силой развилось и укрепилось чувство любви к оставшемуся в Петербурге сыну — маленькому Васе.

Ее женская гордость не позволяла ей вернуться в Петербург, хотя ее тянуло туда, пожалуй, гораздо более, чем ее горничную Аннушку.

Последнюю она вскоре после выздоровления отпустила от себя, дав ей вольную. Княгиня сделала это в вознаграждение за почти

двухлетнее затворничество в деревне и за уход за собою во время болезни.

Так, по крайней мере, сказала она обрадованной девушке, пребывание которой вблизи своей госпожи сделалось для нее после совершенного ею преступления невыносимым.

Теперь она мучилась уже не скукою, а угрызениями совести. Она осунулась и похудела, княгиня Зинаида Сергеевна приписывала это скуке деревенской жизни и бессонным ночам, проведенным у ее постели.

Была, впрочем, и задняя мысль у княгини, когда она отпускала Аннушку на волю и снаряжала в Петербург. Она рассчитывала, что все-таки там будет хоть один преданный ей человек, который будет уведомлять ее о сыне.

Княгиня не ошиблась. Аннушка, хотя и не часто, но все же описывала своей бывшей барыне обо всем, что делается в княжеском доме.

Степан Сидорович оказался пророком — Аннушка вскоре по прибытии в столицу, вышла замуж за канцелярского писца, который с ее слов и строчил послания княгине, и за них последняя конечно не оставалась в долгу

и присылала гостинцы и деньги.

Других известий из Петербурга до княгини не доходило.

Однообразно скучные дни проводила молодая женщина в деревенской глуши, особенно в наступившую долгую зиму.

Старый княжеский дом, навевавший воспоминания счастливых детских лет, невольно заставлял княгиню Зинаиду Сергеевну переживать картины ее недалекого прошлого.

Венцом этих воспоминаний являлся ее девичий роман с юношей Потемкиным.

Со сладкой истомой вспоминала она их свидания, под покровительством Насти Кургановой, мечты и грезы взаимной любви.

Вспомнилось ей горе непонятного для нее разрыва — странная перемена в поведении Гриця и его отношений к ней и результат всего этого — ее несчастное замужество.

Вдруг эти воспоминания окрашивались кровавым цветом — труп убитого у ее ног несчастного Костогорова восставал в ее памяти, а за ним все последующие воспоминания: сцены с мужем, выезд из Петербурга, разлука с единственным сыном, — ложились на ее ду-

шу свинцовою тяжестью.

Светлым лучом среди этого рокового, беспросветного мрака являлись те месяцы надежды на новое материнство, увы, надежды, похороненной под деревянным крестом в отдаленной аллее сада, в той самой аллее, где она еще ребенком любила шутя прятаться от старушки-няни.

С утра до вечера, а порой и с вечера до утра, бессонными ночами, мучилась она этим кошмаром прошлого.

Развлекали ее посещения Дарьи Васильевны — они напоминали ей о все еще милом ей Грице.

Но старушка, после того, как княгиня оправилась, стала реже посещать ее, Дарье Васильевне, как мы уже сказали, было тяжело оставаться с глазу на глаз с ее невольной жертвой.

Другою отрадою были письма Аннушки, но они, как мы знаем, редко получались в Несвицком.

Жизнь Дарьи Васильевны Потемкиной тоже шла своей обычной колеей. Она вся была поглощена заботами о новом жильце старого

дома — Володе.

Только один раз покой Дарьи Васильевны был нарушен неожиданным гостем.

Месяца через два после родов княгини, к Дарье Васильевне явился было снова Степан Сидоров, чтобы вручить капитал, которым князь Андрей Павлович Святозаров пожелал обеспечить будущность княгинина сына, но старушка, хотя и приведенная в великий соблазн от внушительного количества пачек с крупными ассигнациями, которые положил перед ней на стол княжеский камердинер, устояла, и верная указаниям своего сына Григория Александровича, прогнала Сидорыча вместе с его бесовскими деньгами.

— Сгинь ты с глаз моих долой, уезжай, и чтобы я тебя никогда не видела, забирай свои деньги и с Богом, скатертью дорога.

Сидорыч сперва просто опешил и только успел вымолвить:

— Его сиятельство приказали...

Старушка напустилась на него еще пуще.

— Это тебе, холопу, его сиятельство приказывать может, а не мне, я столбовая дворянка, муж мой покойник майором был... Сказа-

но стинь, пропади... собирай свои ассигнации!

Степан, послушный вторично данному приказанию, стал медленно снова укладывать в карманы вынутые им деньги.

Дарья Васильевна, надо сознаться, с сожалением смотрела, как они исчезали в объемистых карманах княжеского камердинера.

— Скорей, скорей... — задыхаясь, торопила его она.

— А как же насчет... — заикнулся было Степан.

— Насчет чего это еще? — перебила его Дарья Васильевна.

— Насчет княгинина ребеночка?..

— Какого там еще княгинина... Княгиня, олух ты этакий, родила мертвую девочку, ее и похоронили в княжеском саду, там и крестик есть... А ты, прости Господи, совсем ошалел, пришел сюда искать княгинина ребеночка...

Степан окончательно растерялся.

— А как же Володенька?..

— Володенька... — передразнила его Дарья Васильевна. — Володенька Акулинин сын... что взял... аспид, василиск... проклятый...

Сидорыч молчал.

Дарья Васильевна, рассерженная скорее на сына, приказавшего ей отказаться от княжеских денег, чем на Степана, продолжала изливать на него свою злобу.

— Ты вот что, — говорила она, крича хриплым голосом, — ступай от меня подобру-поздорову, а не то я сейчас доеду до княгини, а с ней в Петербург прямо к ногам матушки-царицы, и вас с барином душегубцев на чистую воду выведем...

Степан, услышав такие речи, поспешил сделать почти земной поклон и как угорелый выбежал из гостиной Потемкиной, где происходил этот разговор...

В тот же день он уехал обратно в Петербург.

XXIV

ПРИМИРЕНИЕ

Еще более нелюдимый и угрюмый князь Андрей Павлович Святозаров разделил, после отъезда своей жены, свою жизнь между службой и сыном.

Все свободное от занятий время он проводил около него, но образ жены, матери этого ребенка, все нет-нет да и восставал в его уме, а в глубине сердца шевелилось нечто вроде угрызения совести.

Отправив Степана с известным уже нам поручением, он сперва находился в волнении ожидания, в боязни, что он не сумеет исполнить порученное ему дело, и что, наконец, похищение ребенка получит огласку, дойдет до государыни и его бесчестие будет достоянием не только всего Петербурга, но и всей России.

Последней приходила мысль, что потеря ребенка может губельно отразиться на здоровье, даже на жизни его матери.

Князь после отъезда княгини, вспоминая, как он упрашивал ее остаться, как он уни-

жался перед ней, как предлагал свое прощение, все более и более озлоблялся против нее и дошел даже до убеждения, что он ее ненавидит.

Какое же ему дело, здорова ли, жива ли ненавистная ему женщина.

Растравляя свою злобу, растравляя свое оскорбленное самолюбие, князь довел себя даже до мысли, что болезнь и самая смерть княгини не доставит ему ничего, кроме удовольствия.

Дни и недели томительного ожидания тянулись подобно бесконечной вечности.

Князь Андрей Павлович отдал приказание доложить ему тотчас по возвращении Сидорыча, хотя бы это было ночью.

Наконец, Степан приехал.

Это было действительно ночью.

Разбуженный князь приказал позвать его к себе в спальню.

— Ну, что? — спросил он дрожащим голосом, когда Степан, прямо в дорожном платье, вошел в спальню и остановился у княжеской постели.

— Все благополучно-с, ваше сиятельство!

— Устроил?

— Как приказали, ваше сиятельство, сына у их сиятельства нет.

— А был сын?

— Точно так-с, ваше сиятельство.

— А что княгиня?

— Больны-с...

— Опасно?

Голос князя дрогнул.

— Никак нет-с... Обыкновенно... после родов...

— Она знает?

— Никак нет-с!

— То есть, как же?.. Говори толком.

Степан медленно, со всеми подробностями своего путешествия, рассказал князю происшедшее в селе Чижове, в двух верстах от имения княгини, передал свои затруднения исполнить волю его сиятельства, осенившую его мысль, при виде мертвого ребенка Акулины, подмен детей и полную уверенность княгини Зинаиды Сергеевны, что она родила мертвую девочку.

Князь слушал внимательно, и когда Степан кончил, то вдруг вскочил с постели и бро-

сился на шею своему верному слуге.

— Спасибо, спасибо... Ты мне не слуга, а друг... — говорил князь, целуя запыленного Сидорыча и в губы, и в щеки.

— Что вы, ваше сиятельство, что вы... — лепетал растроганный Степан. — Мы и так вами много довольны...

В это время в соседней со спальней комнате, где помещалась детская, раздался крик ребенка.

— Вот, вот кто обязан тебе более, чем я; я завещаю ему покоить твою старость, — сказал князь Андрей Павлович и, наскоро накинув халат и надев туфли, отправился в детскую.

Около постели Васи уже стояла проснувшаяся няня. Ребенок, оказалось, крикнул во сне. Сидорыч остался ждать в кабинете. Князь вскоре вернулся.

— Вот счет и оставшиеся деньги, — сказал Степан.

— Какие счета, какие деньги... Оставь себе... Я перед тобой неоплатный должник, — заметил князь, садясь на постель. — Ты говорил, что отдал ребенка Потемкиной?

— Точно так-с, ваше сиятельство...

— У ней нет родственников в Петербурге?

— Сын, Григорий Александрович, офицер...

— Это ее сын! — как бы про себя заметил князь Андрей Павлович.

Он слышал о красавце Потемкине, в котором принимает участие сама императрица, и даже несколько раз видел его во дворце.

— Ты уверен, что она не проболтается... Не напишет обо всем сыну?

— Не могу знать... Но только думаю, ей не рука, так как денег она от меня две тысячи рублей взяла, а когда я ей объявился вашим камердинером и вышло, значит, никакого товару мне от нее не надо, деньги она мне не возвратила.

— Что же из этого?

— Значит, вроде сделалась как сообщница, на манер Аннушки.

— А...

— И притом же, она при мне Акулине его за ее собственного ребеночка выдала, и только сказала, что от скуки одиночества возьмет его к себе и воспитает, а потому ей, говорю, супротив нас идти не рука...

— Все-таки ей надо отвезти капитал... Отдохнешь, да и снова в дорогу... Надо окончательно замазать ей рот, а то неровен час... Сын ее на хорошей дороге... Пообещай ей мое покровительство, это тоже поможет привлечь ее окончательно на нашу сторону.

Князь отпустил Степана и заснул так крепко, как не спал уже давно.

Сидорыч, несмотря на усталость с дороги, заснуть не мог.

Замечание князя Андрея Павловича относительно того, что Дарья Васильевна Потемкина проболтается или напишет сыну, который может довести все это до сведения начальства, а может быть и самой царицы, произвело на Степана гораздо более впечатления, нежели на князя, которому пришло это соображение в голову, и лишило камердинера сладости отдохновения после исполненного трудного дела.

Он боялся и дрожал и за себя, и за князя, и сам не мог понять, за кого он боялся более.

«Я что, я раб, мне что прикажут, то и делать должен... вот он сам себе господин, он и в ответе... Оно, конечно... постегают...»

Степан даже заворочался на своей постели, точно почувствовал жгучую боль от стеганья...

«Не миновать, постегают...» — заключил он.

Уже совсем был день, когда он заснул.

Не прошло и двух недель, как он сам напомнил князю Андрею Павловичу Святозарову, что следовало бы съездить в Чижиово.

— Не ровен час, ваше сиятельство... — заметил он.

— Чего же ты опасешься?

— Сумление берет, ваше сиятельство...

— Нет, кажется ты прав, ей всего лучше молчать, я об этом думал.

— Все бы лучше окончательно переговорить... Спокойно и мне, и вашему сиятельству...

— Что ж, поезжай, отвези ей деньги... Я от своего слова не отступлюсь...

— Не об этом речь, ваше сиятельство, разузнать, что и как.

— Так поезжай, хоть завтра.

— Чем скорей, тем лучше...

— Говорю поезжай...

Князь вручил ему в тот же вечер пятьдесят тысяч рублей и отпустил в дорогу.

С неменьшим замиранием сердца, чем и в первый раз, ехал Сидорыч для окончательных переговоров в Смоленскую губернию.

Сердце-вещун чуяло что-то недоброе...

Предчувствие оправдалось.

Мы знаем, как его встретили в Чижове и как он принужден был без всяких разговоров поворотить назад.

В ушах его звучала угрожающая фраза Дарьи Васильевны:

— Да, прямо к ногам матушки-царицы, и вас с барином, душегубцев, на чистую воду выведем...

Он снова невольно сделал движение спиной, предвкушая удары плетью.

Проехав несколько станций, Степан нашел в себе силы к более хладнокровному обсуждению случившегося.

«Грозит старуха, может так, на ветер...» — явилась у него успокоительная мысль.

Он начал соображать именно в этом направлении.

То обстоятельство, что Дарья Васильевна

упорно отказывалась от факта нахождения у нее ребенка княгини и настойчиво выдавала его за сына Акулины, привело Сидорыча к мысли, что старуха сама спохватилась, что совершила преступление, и отпирается.

«Боится, старая, сама под ответ попасть... а я ее испугался... Вот уж подлинно у страха глаза велики...»

Степан относительно успокоился.

По мере приближения к Петербургу, его стал тревожить другой вопрос, что он скажет князю Андрею Павловичу.

Сказать правду, надо возвратить деньги, а между тем, Степан, сэкономивший от своей первой поездки несколько тысяч, стал уже одержим незнакомым ему ранее чувством стяжания, да кроме того, эти деньги давали ему возможность осуществить давно лелеянную им мечту: эти деньги давали ему в руки обладание женщиной, образ которой все чаще и чаще стал носиться в его воображении, но который для него, крепостного человека, была недостижима. На волю его князь отпустит, а с деньгами она — его. Он, ехал к Дарье Васильевне, хотел ей отдать только полови-

ну, а теперь приходится их все возвращать князю — своими руками отдавать свое счастье.

«Нет, ни за что!»

Сидорыч стал усиленно, как он выражался, «мозговать» вопрос, как сохранить эти деньги в своем кармане.

Усилия его увенчались успехом уже при въезде в Петербург.

Явившись в кабинет князя Андрея Павловича, Степан, не говоря ни слова, упал ему в ноги.

— Что, что такое? — воскликнул неприготовленный к этому князь.

— Смилуйтесь, ваше сиятельство, виноват...

— Что, в чем, встань, говори.

— Деньги-то я ей отдал...

— Ну, так что же, взяла это и хорошо... — весело заметил Андрей Павлович.

— А мальчик-то помер...

— Как умер?

— Умер... Недели за полторы до моего приезда, отдал Богу душу...

Князь истово перекрестился.

— Это самая лучшая развязка...

— А она-то, Дарья Васильевна, старая хрычевка, мне это опосля, как деньги забрала, сказала... Я было деньги назад требовать... Куда ты... В три шеи прогнала, а если что, сыну, говорит, напишу, а он самой государыне доложит... Сколько я страху натерпелся... Смилуйтесь, ваше сиятельство, может сами съездите... такая уйма денег, и так зря пропадут.

— Успокойся, дружище, отлично, что она взяла, по крайней мере у нее рот навсегда замазан... Было бы хуже, если бы ты их привез обратно...

Лицо Сидорыча просияло.

— А что княгиня? — спросил князь. — Все, слышно, хворает, да я чаю, скучает больше.

Князь опустил голову и задумался.

Степан вышел и, вернувшись в свою комнату, запер дверь и бережно уложил в свою укладку привезенные обратно княжеские деньги.

Он был капиталистом.

Оставалось добыть волю — он добудет ее.

Князь Андрей Павлович, между тем, совершенно успокоился. Смерть ребенка княгини

примирила его не только с ним, но и с женою.

У него даже вдруг явилось сомнение, не ошибся ли он, обвинив жену; он припомнил ее слова, полные загадочного смысла, на которые он тогда не обратил внимания и которые теперь казались ему шагом к полному оправданию княгини Зинаиды.

«Она не хотела оправдываться из гордости, я запугал ее...» — мелькнула у него мысль, окончательно перевернувшая отношения к отсутствующей жене.

Прошло несколько месяцев. Наступила весна. Князь взял отпуск и уехал из Петербурга.

Был чудный майский вечер. Княгиня Зинаида Сергеевна Святозарова сидела, по обыкновению, в саду, около заветного креста, на сделанной по ее приказанию около него скамейке.

Она думала о своем сыне... о муже...

Голова ее была опущена на грудь. Вдруг около нее раздался голос:

— Зина.

Княгиня вскочила.

Перед ней стоял в дорожном платье князь

Андрей Павлович.

— Андрей! — воскликнула она и бросилась ему на шею. Супруги расцеловались, как бы между ними ничего не произошло.

Княгиня опомнилась первая.

— Здесь, здесь наша дочь, — указала она на деревянный крест, — наша, твоя...

Она снова бросилась ему на шею и залилась слезами.

— Верю, моя дорогая, верю... я был виноват перед тобой... — прошептал князь и на руках отнес бесчувственную жену в дом.

На следующий день они выехали в Петербург. Он повез мать к сыну.

XXV

У СТУПЕНЕЙ ТРОНА

4 декабря 1773 года Григорий Александрович Потемкин находился под Силистрией, осада которой русскими продолжалась уже довольно долго.

Следя глазами уже опытного военачальника за производством этой осады, он мысленно продолжал находиться у трона обожаемой им государыни.

Он, конечно, не мог знать, что в этот именно день императрица Екатерина отправила ему письмо, которое он и получил во время праздников Рождества.

Это было для него двойным праздником.

«Господин генерал-поручик и кавалер, — писала ему государыня, — вы, я чаю, столь упражнены глазенъем на Силистрию, что вам некогда письма читать, и хотя по сию пору не знаю, преуспела ли ваша бомбардировка, но тем не меньше я уверена, что все это, что вы сами предприимлете, ничему иному приписать не должно, как горячему вашему усер-

дию и ко мне персонально, и вообще к любезному отечеству, которого вы службу любите. Но как, с моей стороны, я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то прошу вас по пустому не вдаваться в опасности. Прочитав сие письмо, может статья, сделаете вопрос: к чему оно писано? На сие имею вам ответить: к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мыслей о вас, ибо я всегда к вам доброжелательна».

Григорий Александрович несколько раз перечитал это драгоценное для него письмо.

Он знал боготворимую им монархиню, он умел понимать ее с полуслова, читать между строк ее мысли.

Он понял, что час его пробил, что царица и отечество требуют его исключительной службы при тогдашних тяжело сложившихся обстоятельствах внутренней жизни России.

Он бросил все и поскакал в Петербург.

Его отъезд причинил большое огорчение любившим его товарищам и подчиненным.

Солдаты утешались лишь тем, что их отец-командир покинул их по вызову самой «ма-

тушки-царицы».

Весть о письме государыни к Потемкину — причине его отъезда из армии — конечно, тотчас же с быстротою молнии облетела войска.

Императрица встретила его с особенным вниманием.

Он был представлен государыне Григорием Орловым, все еще продолжавшим стоять у кормила правления.

Воспользовавшись благосклонностью царицы, Григорий Александрович, памятуя русскую пословицу: «Куй железо пока горячо», прежде всего поторопился вознаградить свое честолюбие.

Он был недоволен полученными им наградами, тем более, что два генерала, Суворов и Вейсман, стоявшие ниже его по линии производства, получили ордена святого Георгия II степени, и написал вскоре после своего приезда в Петербург письмо государыне.

Письмо было им подано через тайного советника Стрекалова, находившегося у принятия прошений.

Оно было следующего содержания:

«Всемиловитивейшая государыня! Определил я жизнь мою для службы вашей, не щадил ее отнюдь, где только был случай на прославление высочайшего имени. Сие поставя себе простым долгом, не мыслил никогда о своем состоянии, и если видел, что мое усердие соответствовало вашего Императорского Величества воле, почитал себя уже награжденным. Находясь почти с самого вступления в армию командиром отдельных и к неприятелю всегда близких войск, не упускал нанести оному всевозможный вред, в чем ссылаюсь на командуящего армией и на самих турок. Отнюдь не пробуждаемый завистью к тем, кои моложе меня, но получили высшие знаки высочайшей милости, я тем единственно оскорблен, что не заключаюсь ли я в мыслях вашего величества меньше прочих достоин? Сим будучи терзаем, принял дерзновение, пав к священным стопам вашего императорского величества, просить, ежели служба моя достойна вашего благоволения и когда щедроты и высокомонаршая милость ко мне не оскудевает, разрешит сие сомнение мое пожалованием меня в генерал-адъютанты ва-

шего императорского величества. Сие не будет никому в обиду, а я приму за верх моего счастья, тем паче, что находясь под особым покровительством вашего императорского величества, удостоюсь принимать премудрые ваши повеления и, вникая в оныя, сделаюсь вяще способным к службе вашего императорского величества и отечества».

Не долго пришлось Григорию Александровичу ждать всемилостивейшего ответа.

На другой же день по отправлении им письма он получил письмо императрицы.

«Господин генерал-поручик. Письмо ваше господин Стрекалов мне сего утра вручил, и я просьбу вашу нашла столь умеренною, в рассуждении заслуг ваших мне и отечеству учиненных, что я приказала изготовить указ о пожаловании вас в генерал-адъютанты. Признаюсь, что и сие мне приятно, что доверенность ваша ко мне такова, что вы просьбу вашу адресовали прямо ко мне, а не искали побочными дорогами. Впрочем, пребываю к вам доброжелательная».

1 марта 1774 года Потемкин назначен был генерал-адъютантом и, вслед за тем, ему был

пожалован орден святого Александра Невского.

Казалось, самое ненасытное честолюбие могло быть удовлетворено.

Григорий Александрович поехал во дворец благодарить за оказанные ему милости и был принят более чем благосклонно.

Вдруг после этого посещения князь сделался задумчивым, заскучал и перестал ездить во дворец.

В придворных сферах, где с неусыпным вниманием следили за восхождением нового светила, все были поражены.

Изумление достигло крайних пределов, когда узнали, что вновь назначенный генерал-адъютант, кавалер ордена Александра Невского удалился в Александро-Невскую лавру, отрастил бороду и, надев монашескую одежду, стал прилежно изучать церковный устав и выразил неперемнное желание идти в монахи.

Сама государыня была поражена.

Никто не мог найти причину такой странной перемены, казалось, в жизнерадостном, веселом и довольно молодом, генерал-адъ-

ютанте.

Еще так недавно сама Екатерина, сообщая Бибикову о назначении его друга Потемкина генерал-адъютантом, закончила свое письмо словами:

«Глядя на него (то есть Потемкина), веселюсь, что хотя одного человека совершенно довольного около себя вижу».

И вдруг...

Причина, однако, была. Этой причиной было чувство, которое не могло заглушить ни восторженное поклонение государыне, ни возвышение в почестях, никакие радости в мире, — чувство первой, чистой любви.

Приехав благодарить государыню и проходя по залам дворца, Григорий Александрович в одной из них совершенно неожиданно встретил князя Андрея Павловича Святозарова и его жену.

Они только что вышли от императрицы.

Совершенно неподготовленный к этой встрече — княгиня Зинаида Сергеевна очень редко бывала при дворе — Потемкин был положительно поражен и еле устоял на ногах.

Ему показалось, что все вокруг него окута-

лось непроницаемым мраком...

Григорий Александрович переломил себя, поклонился княжеской чете, как того требовал придворный этикет, и прошел далее.

Он нашел в себе силы выразить в самых утонченных выражениях свою верноподданническую благодарность императрице, но вернувшись из дворца, не сумел совладать со шквалом налетевших на него воспоминаний прошлого.

Все вдруг опостылело ему, весь этот мишурный блеск, ожидаемая карьера правой руки повелительницы миллионов, богатство, роскошь, исполнение малейших капризов — все показалось суетным и ничтожным.

Молоденькая грациозная девушка с ласковыми, смеющимися глазами — княжна Несвицкая, — какую он ее видел более десяти лет тому назад, стояла перед ним, и этот дивный образ, потерянный им навсегда, заставил его проливать горькие слезы, как бешеного в бессильной злобе метаться по кровати, до крови закусывать себе ногти, чтобы физической болью заглушить нравственную.

Он нигде не находил себе места и метался,

как дикий зверь в железной клетке.

Ему было тяжело в городе, он поехал за город, в Александро-Невскую лавру.

Там, в тиши монастыря, он в горячей молитве обрел тот душевный покой, который тщетно искал уже несколько дней.

«Вот та тихая пристань, которая чужда житейских треволнений...» — невольно сложилось в его уме.

Он не захотел оставить обитель. Ему казалось, что за ее воротами снова, вместе с городским шумом, нахлынет на него смерч воспоминаний, ледяющий его душу ужасом.

Григорий Александрович зашел к игумену и испросил у него разрешения погостить под кровлей святой обители.

Разрешение было дано и, как мы уже сказали, слух о том, что Потемкин идет в монахи, взволновал весь Петербург.

«Комедиант!» — решили злые великосветские языки.

Одна государыня своим чутким женским умом поняла, что у Григория Александровича есть затаенная душевная рана, что эту рану можно если не залечить, то по крайней мере

смягчить ее острую боль только благосклонностью и милостью.

Провидя, что способности ее нового приближенного неоценимы и более чем необходимы для России, она снизошла до посещения своего удрученного неведомым ей горем верноподданного в кельи Александро-Невского монастыря.

Эта высокая милость одна способна была влить живительный бальзам в наболевшую душу Потемкина.

Ласковые слова императрицы довершили остальное. Не стараясь узнать, какое горе терзает его, она с присущими ей мягкостью и тактом обошла этот вопрос в разговоре с Григорием Александровичем. Она указала ему на тот высокий жребий, который выпадает на его долю велением судьбы, и сказала, что человек, призванный утешать горе многих, должен, если не забыть о своем, то иметь столько силы духа, чтобы не предаваться ему чрезмерно.

Григорий Александрович воспрянул духом.

Екатерина знала своего «ученика», как она

любила называть Потемкина. Она утешала его искусно нарисованной картиной славы и бессмертия на страницах истории. Он должен жить и работать не для себя, а для России. Таков был смысл слов великой монархини. Императрица оставила Григория Александровича совершенно изменившимся.

«Я буду жить, я буду работать для нее... для России», — сказал он сам себе.

На другой день он появился во дворце, среди изумленных придворных, в богато расшитом генерал-адъютантском мундире, в орденах, веселый, бодрый, жизнерадостный...

С этого времени начинается исключительное влияние Потемкина на дела государственные и ряд великих заслуг, оказанных им России. Тонкий политик, искусный администратор, человек с возвышенной душой и светлым умом, он вполне оправдал доверие и дружбу императрицы и пользовался своею почти неограниченною властью — лишь для блага и величия родины. Имя его тесно связано со всеми славными событиями Екатерининского царствования и справедливо занимает в истории одно из самых видных и по-

четных мест.

Звезда Григория Орлова закатилась, возшло новое светило — Потемкин. Они виделись в это время очень редко. Однажды, Григорий Александрович, приехав во дворец, стал подниматься по лестнице. Ему навстречу спускался Григорий Орлов. Они столкнулись лицом к лицу. Орлов пристально посмотрел на Григория Александровича.

— Что нового при дворе? — спросил, чтобы только что-нибудь сказать, смущенный Потемкин.

— Ничего, кроме того, что я иду вниз, а вы поднимаетесь, — отвечал Орлов, указав рукой на верхнюю площадку лестницы.

Часть вторая В БОРЬБЕ С ЛУНОЮ

I СВЕТЛЕЙШИЙ

Миллионная улица была почти сплошь запружена экипажами, тут были и высокие щегольские кареты, новомодные берлины и коляски, старые громоздкие рыдваны, словом, экипажи всех видов и цветов: черные, синие, голубые, палевые и фиолетовые.

К подъезду Зимнего Дворца, ведущего в апартаменты, отведенные светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину, то и дело подъезжают новые.

Лакеи и гайдуки мечутся во все стороны, подсаживая и высаживая господ, лихо распахивают и захлопывают дверцы и с треском раздвигают высокие, в шесть ступеней, подножки, по которым приезжающие и уезжающие шагают, покачиваясь из стороны в сторону.

У Потемкина — прием.

Весь Петербург в приемные дни ездил на поклон к светлейшему.

Прошло около двух лет со дня его приезда в Петербург от стен Силистрии, а между тем, за это короткое время с ним совершилась почти волшебная метаморфоза.

В 1774 году он был уже генерал-аншефом и вице-президентом военной коллегии.

В последней должности он оказал большие услуги России в смысле упрощения обмундирования войска. Обрезав солдатам косы, которые они носили до того времени, он избавил их от лишней работы над своим туалетом и от головных болезней, распространенных в войсках.

Он ввел в армии куртки, шаровары и полусапожки, и сделал движение солдата легче и свободнее; введенные им солдатские шинели были гораздо удобнее прежних; введены были более легкие ружья, и численность войска была умножена.

Кроме того, сделавшись приближенным к государыне, он прежде всего обратил внимание на скорейшее усмирение Пугачевского бунта.

С присущими ему энергией и распорядительностью он принял тотчас же решительные меры и много способствовал подавлению мятежа, грозившего большой опасностью государству.

Затем при его содействии был заключен Румянцевым-Задунайским выгодный мир с турками при Кучук-Кайнарджи.

По заключении этого мира, императрица издала следующий высочайший именной указ:

«Генерал-поручик Потемкин, непосредственно способствовавший своими советами заключению выгодного мира, производится в генерал-аншефы и всемилостивейше жалуется графом Российской империи; уважение же его храбрости и всех верных и отличных заслуг, оказанных им в продолжение сей последней войны, всемилостивейше награждаем мы его, Потемкина, золотою саблею, украшенною бриллиантами и нашим портретом и повелеваем носить их, яко знак особого нашего благоволения».

Еще ранее ему были пожалованы ордена русские: святой Анны и святого апостола Ан-

дрея и иностранные: прусского Черного Орла, Датского Слона и Шведского Серафима, и польские: святого Станислава и Белого Орла.

Австрийский император Иосиф II прислал ему, по просьбе императрицы Екатерины, диплом на княжеское достоинство Римской империи.

Потемкин стал «светлейшим князем».

Интересна маленькая подробность.

Незадолго перед тем Иосиф II отказал наградить этим титулом двух своих министров, за которых ходатайствовала императрица — его мать.

Одновременно с этими сыпавшимися на него положительно дождем милостями государыни, и милостями, кстати сказать, вполне заслуженными, Григорий Александрович был назначен Новороссийским генерал-губернатором.

Сознавая свои заслуги, он понимал, что раболепствующая перед ним толпа не имела о них даже отдаленного понятия и низкопоклонничала не перед ним лично, а перед силой блеска и богатства, которых он являлся носителем. Он для них был лишь «вельможей

в случае», и они совсем не интересовались, какими способами добился он этого случая.

За это их глубоко презирал Григорий Александрович и этим объясняется та надменность, с которой он держал себя относительно равных себе, и та задушевная простота, которая проявлялась в нем по отношению к низшим.

Потомки недалеко ушли от его современников и большинство их отмечало лишь пятна, бывшие на этом солнце, не замечая, что эти пятна — только черные тени от окружающего его общества.

Вернемся, впрочем, в приемную светлейшего.

В огромной зале царит относительная тишина, усиливающаяся жужжанием сдержанного шепота.

Громадная толпа ожидает приема. Тут и высокочиновные, и мелкие люди. Все сравнивались перед непостижимым величием хозяина.

Все взгляды то и дело устремляются на затворенные наглухо высокие двери, за которыми находится кабинет светлейшего, всесиль-

ного и властного распорядителя миллионов, от каприза, от настроения духа которого зависит людское горе и людское счастье.

Из кабинета выходит адъютант и вызывает по фамилии приглашаемых в кабинет.

При каждом появлении этого рокового вестника даже жужжание прекращается и наступает могильная тишь.

Вызванный скрывается за заветными дверями и снова во всех углах раздается сдержанный шепот.

— Много, много может князь... все... — шепчет толстый генерал худому как спичка человеку в дворянском мундире, с треуголкой в руках.

— То есть как все? — робко задает вопрос последний.

— Все... говорю... все... Царица для него делает, а он порой царице скажет... коли прикажешь, государыня, твоя воля, исполню, а по совести делать бы то не надо и шабаш, вот он какой, светлейший...

Дворянин сокрушенно вздыхает.

— Третий месяц каждую неделю являюсь, не могу добиться лицезреть его светлость... —

слышится в другом углу сетование сановного старичка.

— Вызваны?

— Нет, по сепаратному, личному делу...

— Это еще что... Потеха тут прошлый раз была как раз в прием... Вызвал его светлость тут одного своего старого приятеля, вызвал по особенному, не терпящему отлагательства делу... Тот прискакал, ног под собой не чувствуя от радости, и тоже, как и вы, несколько месяцев являлся в приемные дни к светлейшему — не допускает к себе, точно забыл... Решил это он запиской ему о неотложном деле напоминать и упросил адъютанта передать...

— Ну и что же?

— Тот предупреждал, что худо будет, не любит его светлость, чтобы ему напоминали... но передал...

— Принял?..

— Принял, здесь в приемной... Сам вышел.

— Вот как!

— Вызвали это вперед его приятеля... Князь оглядел его и говорит: «Дело, дело, помню... помню... Совсем было забыл, виноват... Вот, братец, в чем состоит дело: у меня есть

редкий прыгун; так как ты очень высок ростом, то я спорил с ним, что он через тебя не перепрыгнет. Теперь спор решится». Князь сказал что-то на ухо адъютанту, тот исчез, а через минуту откуда ни возьмись этот самый прыгун и как птица перелетел через приятеля его светлости. «Ну, я проиграл!» — сказал князь, обнял приятеля, да и ушел к себе в кабинет. Прием приказал кончить...

— Однако, это... — пожал плечами сановник-старичок.

— Что однако, что это... Приятель-то его светлости какое на другой день место получил, что десятку прыгунов можно дозволить через себя перескочить.

Говоривший наклонился к уху старичка.

— А-а... — многозначительно протянул последний. — Неужели?..

— Да, вот вам и неужели... Для этого он его и вызвал из имения, способности его знал, а прыгун это так, каприз, не напоминай, сам вспомню... вот он каков светлейший-то...

— Нет, кажется, что с вами решили покончить, Антон Васильевич! — слышалось в третьей группе.

Говоривший был еще сравнительно молодой генерал с широкой грудью, увешанной орденами.

— Ох-хо-хо... — вздохнул рослый казак.

— Тут, по приезде, я уже являлся к его светлости с объяснительными бумагами. Проект представил, значит, переделки в Сечи, кого удалить, кого переместить, так тайком, потихонечку...

— Ну, что же князь?..

— Швырнул бумаги мои в угол и сказал:

«Право, не можно вам оставаться. Вы крепко расшалились и ни в каком виде не можете уже приносить пользы. Вот ваши добрые и худые дела». Показал он мне тут толстую тетрадь, в которой написаны все хорошие и худые дела Запорожья и размещены одни против других.

— Каких же больше? — усмехнулся генерал.

— Все записано верно, никаких обстоятельств из обоих действий не скрыто и не ослаблено, только «хытра пысака що зробыв». Худые дела Сечи написал строка от строки пальца на два и словами величиной с воро-

бьев, а что доброго сделала Сечь — часто и мелко, точно песком усыпал. От того наши худые дела занимают больше места, нежели добрые... Только одна надежда, что не выдаст Грицко Нечеса.

— Это кто-ж такой?

— А сам светлейший... Он у нас под таким прозвищем уже более двух лет вписан в сечевые казаки...

— Вот как... Грицко Нечеса... По Сеньке и шапка... — съязвил уже совершенно сдавленным шепотом генерал.

— Полковой старшина Антон Васильевич Головатый!.. — выкрикнул явившийся из двери кабинета адъютант светлейшего.

Казак встрепенулся и, несколько оправившись, развалистою походкою направился к кабинету.

Григорий Александрович ходил взад и вперед по обширному кабинету, то приближался к громадному письменному столу, заваленному книгами и бумагами, у которого стоял чиновник, то удалялся от него.

Увидя Головатого, вошедшего в сопровождении адъютанта, почтительно остановивше-

гося у двери, он круто повернул и пошел к нему навстречу.

— Все кончено... — сказал он. — Текелли доносит, что исполнил поручение. Пропала ваша Сечь.

Головатый пошатнулся. Вся кровь бросилась ему в лицо и, не помня себя, он запальчиво произнес:

— Пропали же и вы, ваша светлость!

— Что ты врешь? — крикнул Потемкин и гневным взглядом окинул забывшегося казака.

Тот разом побледнел под этим взглядом; он ясно прочел на лице светлейшего его маршрут в Сибирь.

Антон Васильевич струсил не на шутку.

Надо было скорее смягчить гнев властного вельможи, и несмотря на поразившее его известие об окончательном уничтожении родной Запорожской Сечи, Головатый нашелся и отвечал:

— Вы же, батьку, вписаны у нас казаком; так коли Сечь уничтожена, так и ваше казачество кончилось.

— То-то, ври, да не завирайся! — более мяг-

КИМ ТОНОМ СКАЗАЛ КНЯЗЬ.

Затем уже хладнокровно он объяснил Головатому, что он и другие прибывшие с ним депутаты будут переименованы в армейские чины и отпущены из Петербурга...

— Ты будешь поручиком... — уже совсем ласково сказал светлейший.

Головатый низко поклонился, хотя две слезы скатились по его смуглым щекам.

Это были слезы над могилою Запорожской Сечи.

Головатый вышел из кабинета.

Вскоре за ним появился адъютант и объявил, что приема больше не будет.

— Это со мной уже пятнадцатый раз... — вслух сказал сановный старичок.

Толпа хлынула к выходу. Говор сделался менее сдержанный, а на лестнице стоял уже настоящий гул от смешавшихся голосов.

Вдруг та же толпа почтительно расступилась на обе стороны лестницы и снова притихла как по волшебству.

По лестнице поднималась маленькая старушка, одетая в черное платье из тяжелой шелковой материи.

Это была мать светлейшего князя Потемкина, знакомая нам, Дарья Васильевна.

II

В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

Счастье делает людей неузнаваемыми. То же случилось и с Дарьей Васильевной Потемкиной.

Кто бы мог в шедшей, среди расступившихся почтительно сановных лиц, по лестнице дворца почтенной, разряженной в дорогое платье старухе узнать бедную смоленскую помещицу, жившую в полуразвалившемся доме, где свободно по комнатам шлепали лягушки — Дарью Васильевну, ныне кавалерственную статс-даму ее императорского величества.

Откуда взялась эта важная поступь, эта милостивая улыбка, играющая на ее губах?

Она даже, как будто, выросла, не говоря уже о том, что пополнила.

Все это сделало единственное в мире волшебство — счастье.

Дарья Васильевна за несколько месяцев до

нашего рассказа прибыла в Петербург и поселилась в Аничковом дворце, незадолго перед тем купленной императрицею Екатериною у графа Разумовского и подаренном Потемкину.

Сам князь в нем не жил, но давал иногда в садовом павильоне дворца великолепные праздники.

С Дарьей Васильевной прибыли в Петербург и четыре ее внучки: Александра, Варвара, Екатерина, и Надежда Васильевны Энгельгардт. Младшей из них было пятнадцать лет, а старшей шел восемнадцатый.

Светлейший дядя не жалел ничего для воспитания своих племянниц, и лучшие учителя и учительницы Петербурга были приглашены к ним преподавателями.

Нечего говорить уже о том, что приезжие мать и племянницы светлейшего были окружены почти царскою роскошью, и высшее общество столицы носило их на руках.

Все четыре сестры Энгельгардт были очень красивые девушки и этим отчасти объясняется более чем родственная любовь к ним Григория Александровича — поклонника жен-

ской красоты.

Адъютант князя, бывший еще в зале, первый увидел вошедшую Дарью Васильевну и бросился с докладом в кабинет светлейшего.

Григорий Александрович тотчас вышел и встретил свою мать на середине залы.

Почтительно поцеловав ее руку, он повел ее в кабинет и кивнул головой адъютанту, давая знать, что он более не нуждается в его услугах.

Тот отвесил почтительный поклон и вышел из кабинета.

— Были, видели?.. — спросил Григорий Александрович дрогнувшим голосом.

— Сейчас от княгини... С час посидела у ней... Ничего, мальчик поправляется, и она стала много веселее...

— Не наступил, значит, час кары Божией... — с расстановкой, торжественным тоном произнес Потемкин.

— Что это ты, Гриц, говоришь, за что ее Богу наказывать... И так она без меры страдала... Тяжело мне бывать у ней...

— С чего это, матушка?..

— Как с чего... Вот и нынче заговорила со

мною о своей девочке... «Кабы, — говорит она, — жива была, играла бы теперь с Васей, — красные бы были дети...» А мне как-то слушать да знать, да сказать не смей...

— Действительно... это трудно... для женщин... главное сказать не смей... — засмеялся Потемкин.

— Тебе все смешки, да смешки; а мне да княгине слезки...

Григорий Александрович сделался вдруг чрезвычайно серьезен.

— А меньше было бы ей слез и горя, коли бы она знала, что сын ее жив, терпит низкую долю — неизвестно где и у кого... А это бы случилось, кабы я не вмешался и не написал вам тогда...

— Оно, пожалуй, Гриц, ты и прав... Но когда же ты возвратишь ей ее ребенка? Или он так и останется Петровским?..

— Может быть, так и останется... Я теперь об нем могу малость лучше позаботиться, чем его батюшка, князь Святозаров... Кстати, видели вы его?

— Как же, видела... Просил передать тебе поклон... Веселый такой... радостный, у жены

раза три при мне руку поцеловал... а она его в лоб...

— Значит... счастливы... — с горькой усмешкой заметил Григорий Александрович.

— По видимостям, счастливы, только я, Гриц, здесь теперь у вас попригляделась — не узнаешь ведь придворных-то лиц; он это улыбается, когда на душе кошки скребутся; плачет, когда ему может скакать хочется... только Святозаровы, кажется, этому роду не подходят — простые, прямые люди, он, кажись, добряк, мухи не обидит.

— А убить человека может?..

— Что ты, Гриц, разве это было?

— Нет, я так, к слову...

— И за что ты его так не любишь, Гриц?

— Я? С чего вы это взяли...

— Не бываешь у них, а они такие ласковые да предупредительные...

— Кто ко мне да к вам не ласков да не предупредителен... все-таки...

— Что все-таки? — горячо перебил ее князь.

— Не верю я, маменька, в эту людскую ласковость, все они низкопоклонничают, так как

я высоко стою, меня не достанешь... А могли бы ухватиться хоть за ногу, стащили бы сейчас вниз и растоптали бы с наслаждением, потому-то и презираю я их всех, потому-то вышучиваю с ними шутки, какие только моей душе хочется... Тут один тоже из них обыграл меня на днях, воспользовался моей рассеянностью и сфальшивил. Что мне с ним делать? Не судиться идти!.. И говорю я ему: «Ну, братец, с тобой я буду играть только в плевки; приходи завтра...» Прибегает чуть свет... «Плюй на двадцать тысяч, сказал я ему...» Он собрал все свои силы и плюнул, вон в тот самый дальний угол попал... «Выиграл, братец, я дальше твоего носа плевать не могу!» — заметил я ему и плюнул в рожу...

— Что ты, Гриц! — даже привстала Дарья Васильевна.

— В самую рожу... Что же бы вы думали? Взял деньги, обтерся... и по сей час ко мне ходит... Вот каковы они, люди...

— Не все же таковы.

— Все, — мрачно сказал Потемкин. — Значит, — вдруг переменял он разговор, — наследник выздоравливает, и княжеская чета

счастлива и довольна...

— Кажись, что так, а там кто их знает...

— Конечно, они счастливы и довольны, что им! — махнул рукой Григорий Александрович.

В голосе его прозвучали слезы.

Это не ускользнуло от чуткого слуха матери.

— Что с тобой, Гриц... Не пойму я тебя... Кажется счастливее тебя человека нет, а ты...

— Что я?

— Как будто, не доволен ничем... Ведь уже, кажется, большего и желать нельзя...

— Вот то-то, что вам кажется, что и счастливее меня нет, что и желать мне большего нельзя... а между тем...

Григорий Александрович вдруг поник головой и крупные слезы покатались по его щекам...

— Гриц, что с тобой? Ты плачешь... — вскопчила в тревоге Дарья Васильевна.

Князь уже успел оправиться, тряхнул головой и отвечал почти спокойным голосом:

— Нет, так, пустяки, это пройдет, я устал... этот прием...

— Ах, Гриц, Гриц... чувствует мое материнское сердце, что с тобой что-то неладное делается, а отчего и ума не приложу... Сдается мне, скучно тебе одному... Жениться тебе надо...

— Жениться... мне? — удивленно уставился на Дарью Васильевну Потемкин.

— Да, тебе... Теперь за тебя какую ни на есть заморскую принцессу выдадут... молодую, красивую...

— Нет, я никогда не женюсь...

— Почему же? — робко спросила старуха, снова уже сидевшая в кресле.

— А потому, что нет и не будет мне по душе женщины, которая бы мне не надоела... Все надоедают, я это уже испытал...

— Это все от того, что не в законе! — попробовала возразить Потемкина.

— А закон нарушать еще хуже, а я нарушу... Уж такова природа моя, мне два раза любить не дано... Свята к женщине только первая любовь, а вторая тоже, что десятая, это уж не любовь, а страсть... похоть...

— Я что-то не пойму этого, Гриц...

— И не надо, только сватать меня оставьте... Невеста моя еще не родилась, да и не ро-

дится... Так вы и знайте.

В тоне голоса князя прозвучали ноты раздражения, наводившие ужас на всех и пугавшие даже его мать.

Она молчала и только печально качала головой.

— Что девчонки? — спросил после некоторой паузы Григорий Александрович.

Этим именем называл он своих племянниц.

— Веселятся, да как сыр в масле катаются, благодаря твоим милостям; что им делается, тело нагуливают...

— И пусть нагуливают, тело первое дело... Я к вечеру в вам заеду, привезу малоазийские сласти, рахат-лукум прозывается.

— Уж ты их очень балуешь.

— Не для них, для себя выписал, адъютант уже с неделю как в Москву послан, сегодня обратно будет. Там, говорят, в Зарядьи, близ Ильинки, купец продает перворазборный...

— Причудник... — улыбнулась мать, видя, что сын снова спокоен и весел. — Я поеду...

— С Богом, матушка... Так, значит, там все благополучно. Спасибо, что исполнили, съез-

дили...

— Я для тебя на все...

Григорий Александрович припал к руке своей матери и проводил ее из кабинета до передней, а затем снова вернулся в кабинет.

Не успел он войти, как следом за ним вошел один из его адъютантов.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил князь.

— Все исполнено...

— Он здесь?..

— Так точно, ваша светлость...

— Введите его сюда... и не пускать ни души...

Адъютант вышел.

Через несколько минут дверь кабинета отворилась, и на ее пороге появился знакомый нам камердинер князя Андрея Павловича Святозарова, Степан Сидоров.

С окладистой русой бородой и усами, одетый в длиннополый камзол, он был неузнаваем.

— Кто ты такой?

— Петербургский купец, Степан Сидоров, ваша светлость...

— Это твоя кондитерская на Садовой?

— Никак нет-с, ваша светлость, моей жены...

— Это все одно, муж да жена — одна сатана... Я вот что хотел спросить тебя, кто у тебя там девочка, так лет пятнадцати, шестнадцати, за прилавком стоит?

— Это моя падчерица Калисфения...

— Калисфения... — повторил светлейший, — хорошее имя... Только не рука ей сидеть за прилавком... Хороша очень...

— Такова воля матери, ваша светлость...

— Чья воля!.. — вскрикнул Григорий Александрович. — Я говорю МОЮ ВОЛЮ...

Степан Сидоров испуганно попятился к двери.

— Отвести ее в Аничков дворец, я ее жалую камер-юнгферой к моим племянницам фрейлинам ее величества...

Степан побледнел.

— Это невозможно, ваша светлость...

— Что-о-о... — загремел Григорий Александрович.

— Она турецкая подданная, и ее мать не согласится отпустить от себя, она будет жаловаться... — через силу, видимо, побеждая ро-

бость, проговорил Степан.

— Жаловаться... на меня кому жаловаться! — крикнул вне себя от гнева князь... — Да будь она хоть чертова подданная и имей целых три матери, она будет моею... то есть она будет камер-юнгферой моим племянницам, слышал?

Степан молчал.

— Ее мать, — продолжал кричать Григорий Александрович, — твоя жена, так ты, как муж, прикажи...

— Увольте, ваша светлость, не могу, — простонал Степан, опускаясь на колени... Пожалейте девочку... у нее жених...

— Жених! — взвизгнул Потемкин. — Тем более, скорей ей надо поступить во дворец... Слушай, чтобы к вечеру она была там...

— Смилуйтесь, ваша светлость, — продолжал умолять его Степан.

— Смилуйтесь! Я и так ей милость оказываю, а он смилуйтесь... Да что зря болтать с тобой... сказано, значит так надо... Иначе я с тобой расправлюсь по-свойски...

Григорий Александрович подошел совсем близко к стоявшему на коленях Сидорычу и

наклонившись сказал явственным шепотом:

— Я покажу тебе, как подменивать детей...

Слышишь...

Услыхав это, Степан Сидорыч упал ниц и остался некоторое время недвижим.

Он был поражен этими словами, как громом.

Григорий Александрович, между тем, не обращая на него никакого внимания, начал шагать по кабинету.

Прошло несколько минут.

«Не сдох ли он со страху?» — мелькнуло в голове светлейшего.

«Отдохнет!» — сам отвечал он на свои мысли.

Степан действительно отдохнул и поднялся с полу с еще более бледным, искаженным от страха лицом.

— Чтобы нынче вечером... — сказал князь.

— Слушаю-с, ваша светлость... — дрожащим голосом отвечал Степан.

— Ступай вон!

Сидорыч не заставил повторять себе этого приказания и ни жив, ни мертв вышел из кабинета.

III УЗЕЛ

Если веревка разорвана и связана, то несомненно образуется узел.

Существует старинная сказка, где отец, желая сохранить мир между своими двумя сыновьями, подарил им небольшую доску и гвоздей разной величины, от самых мелких до самых крупных.

При каждой ссоре, по приказанию отца, они вбивали в доску гвоздь размера, сравнительного со ссорой.

Когда наступало примирение, гвоздь вынимался, но оставалось отверстие или, по меньшей мере, шероховатость.

Таков узел и такая шероховатость существовала и в отношениях князя Андрея Павловича Святозарова и княгини Зинаиды Сергеевны, несмотря на кажущееся их полное семейное счастье.

В разгаре самых чистых супружеских ласк у них обоих почти всегда мелькали в голове мысли, не только уничтожавшие обаяние

этих чудных мгновений, но прямо отталкивающие их друг от друга.

В голове княгини мелькал страшный образ окровавленного трупа несчастного Костогорова, то деревянный крест в задней аллее деревенского парка, тот крест, у которого состоялось быстрое, неожиданное примирение супругов.

В голове князя неслись те же образы, но иначе оттененные: труп Костогорова и новорожденный младенец, похищенный им у матери и умерший на чужих руках, вызывали в сердце князя не жалость, а чувство оскорбленного самолюбия и затихшей, но неугасшей совершенно злобы.

Появление князя Андрея Павловича в Несвицком в ту самую минуту, когда княгиня Зинаида Сергеевна была мысленно около оставленных в Петербурге мужа и сына, было до того для нее неожиданно, что вся выработанная ею система отношений к мужу рухнула сразу, и измученная женщина, видевшая в нем все же единственного близкого ей человека, инстинктивно, подчиняясь какому-то внутреннему толчку, бросилась к нему на

шею.

После, таким образом состоявшегося, примирения отступления быть не могло и за ним невольно последовало объяснение.

Оно произошло не тотчас же, без всяких расспросов со стороны князя, действовавшего в этом случае с замечательным тактом, но произошло потому, что являлось необходимым последствием сосявшегося примирения и, наконец, потому, что самой княгине уже давно хотелось высказаться, излить свою наболевшую душу.

Она рассказала князю Андрею Павловичу роман своей юности, не называя имени его героя. Она объяснила ему, что встретила с ним снова в Петербурге, в гостиной ее кузины, графини Переметьевой, и в мрачных красках, стущенных озлоблением даже такого доброго сердца, как сердце княгини Зинаиды, обрисовала дальнейшее поведение относительно ее этой светской змеи, окончившееся убийством не «героя ее юношеского романа», а его товарища, приехавшего по его поручению и ни в чем неповинного.

— Кого же ты любила в Москве?.. Я никого

не видал у вас, кто бы мог остановить твое внимание, — уронил князь, выслушав повесть своей жены.

Он сказал это хладнокровно, хотя в душе у него поднялась целая буря ревности к прошлому. Кроме того, в его отуманенном мозгу против его воли появилось недоверие к словам жены, хотя они — он не мог отрицать этого — дышали искреннею правдивостью, как исповедь сердца.

«Ей было время сочинить и не такую историю в деревенской глуши...» — подсказывало ему его прирожденное ревнивое чувство.

Он гнал от себя эту мысль, гнал всем усилием своего рассудка, но она, как бы вследствие этого, все чаще и чаще возвращалась в его голову и неотступным гвоздем сидела в его разгоряченном мозгу.

— Он не бывал у нас, ты не мог его видеть там, в Москве.

— Где же ты его видела?

— У управляющего моей тетки...

— Какой-нибудь разночинец! — не удержался князь от презрительного жеста.

— Нет, он дворянин, Григорий Потем-

кин... — отвечала княгиня.

— Потемкин... тот... самый... он сын твоей соседки!.. — вскочил князь в необычном волнении.

Беседа супругов происходила уже в Петербурге, в будуаре, княгини.

— Да... Но что с тобой? — спросила Зинаида Сергеевна.

— Ничего... Мне это показалось странным, я здесь с ним встречался...

Григорий Александрович не занимал в то время еще выдающегося положения, хотя в Петербурге все знали, что он пользуется благоволением государыни, которая часто в разговоре предсказывала «своему ученику» блестящую будущность в качестве государственного деятеля и полководца.

Волнение князя Андрея Павловича Святозарова объясняется далеко не признанием опасности подобного соперничества, а совершенно иными соображениями, пришедшими ему в голову при произнесении его женою имени Потемкина.

Его мать, игравшая главную роль в деле похищения его ребенка — ребенка княгини-

ни, — продолжал подсказывать ему ревнивый голос, — может, конечно, написать или рассказать сыну обо всей этой грустной истории, тем более для него интересной, что он близко знал одно из ее действующих лиц — княгиню, был влюблен в нее и хотя благоразумно воздержался, по ее словам, даже и от минутного свиданья с нею наедине, но все еще сохранил о ней, вероятно, в сердце некоторое воспоминание.

Значит здесь, в Петербурге, есть свидетель его преступления. Он сам, даже в то время, когда был уверен, что ребенок княгини не его, чувствовал, что с точки зрения общества его поступок не может называться иным именем. Теперь же, когда сомнение в принадлежности ребенка ему, в невиновности княгини, стало даже для него вероятным, а минутами даже вопрос этот для него же стоял уже вне всякого сомнения, преступность совершенного им была очевидна.

«Он умер», — мелькало в его уме, и это обстоятельство отчасти уменьшало его беспокойство за свою честь, за доброе имя.

Графиня Клавдия Афанасьевна Переметье-

ва, после своего отъезда из Петербурга в Москву к больной матери, так и не возвращалась на берега Невы.

На ее отсутствие было обращено особенное внимание на похоронах графа, состоявшихся с необычайною помпой.

Около месяца о графине в великосветских гостиных были самые разнообразные толки.

Прежде всего пришло известие, что наследство после графа получили его племянники, так как графини Клодины не оказалось у матери, которая и не думала хворать.

Куда исчезла Клавдия Афанасьевна с достоверностью сказать не мог никто.

Говорили, что она удалилась в один из очень удаленных от Москвы и Петербурга женских монастырей, где, как уже говорили впоследствии, постриглась.

Это были, впрочем, только слухи, положительно утверждать их никто не мог.

Посудив и порядив, о графине забыли.

Не забыли ее только князь и княгиня Святозаровы.

Князь в исчезновении графини и в прошедших слухах о поступлении ее в мона-

стырь, находил подтверждение рассказа своей жены и одно из доказательств ее невинности.

Несчастному все еще нужны были подтверждения и доказательства.

Червь ревнивого сомнения точил его бедное сердце.

Было четвертое лицо, замешанное в этой грустной истории — это камердинер князя, Степан Сидоров.

Его положение в княжеском доме стало с некоторого времени совершенно невыносимым.

Возвращение княгини в Петербург для него, как и для всего штата княжеских слуг, было совершенно неожиданным.

Надо заметить, что вся прислуга любила Зинаиду Сергеевну и встретила ее с большою радостью.

О возвращении ангела-барыни ее сиятельства много и долго ликовали в людских и прихожих княжеского дома.

Только для Степана это возвращение было положительно ударом грома, нежданно и негаданно разразившегося над его головою.

Один вид княгини, глядевший на него, как на всех слуг своих, добрыми, ласковыми глазами, поднимал в его сердце целую бурю угрызений совести.

Несчастный не находил себе покоя ни днем, ни ночью — исхудал и побледнел.

Была у него и другая причина беспокойного состояния духа, но оно было каплей в море мук, переносимым им в присутствии ее сиятельства.

Наконец, он решился.

Это было уже через полгода после возвращения княгини и примирения супругов.

Однажды утром, явившись, по обыкновению, в уборную Андрея Павловича, он, по окончании княжеского туалета, остановился у притолоки двери.

Лицо его имело такое выражение, что князь невольно задал ему вопрос.

— Тебе чего-нибудь надо?

— Так точно, ваше сиятельство.

— Что, говори...

— Облагодетельствован я вашим сиятельством, можно сказать, выше меры, сколотил на службе у вас изрядный капиталец... По со-

вести, верьте, ваше сиятельство, за всю долгодлетьную службу, вот на столько не слукавил.

Степан указывал на кончик своего мизинца.

— К чему все это ты говоришь, я тебе верю так, ты знаешь...

— К тому, ваше сиятельство, что дело идет к старости...

— К какой это еще старости... ты мне ровесник, тебе нет еще тридцати пяти...

— Точно так, ваше сиятельство... но все же... однако же...

Степан, видимо, смутился.

— Говори толком, чего ты путаешь?

— Хотелось бы своим домком пожить, человеком сделаться...

— На волю хочешь?

— Коли ваше сиятельство дозволили бы выкупиться...

— Выкупиться... Ты сошел с ума... На что мне твои деньги... На днях ты получишь вольную.

Степан бросился к ногам князя и стал ловить его руки для поцелуев.

— Перестань, перестань... не за что, ты так

много для меня сделал... Я перед тобой в долгу.

Андрей Павлович был отчасти обрадован этой просьбой Степана. Несмотря на привычку к нему с малолетства, постоянное присутствие его соучастника в поступке против жены, которую он по-своему все-таки очень любил, было тяжело князю. Он несколько раз подумывал отпустить его на волю, но ему казалось, что этим он незаслуженно обидит преданного ему человека.

Теперь сам Степан просит его об этом, и князь, конечно, с удовольствием готов исполнить его просьбу.

— Встань, встань... — строго продолжал князь.

Сидорыч поднялся с колен.

— Что ты хочешь делать? — спросил его Андрей Павлович.

— Торговлишкой думал заняться, ваше сиятельство.

— Смотри, не проторгуйся...

— Никак нет, ваше сиятельство, опытного товарища имею...

— Смотри, как бы ты не остался с опытом,

а он с деньгами, — пошутил князь.

Степан улыбнулся.

— Никак нет-с, я сам тоже свою голову на плечах имею-с...

— Если что случится, обратись ко мне, помни, я у тебя в долгу... — заметил князь.

— Много благодарен вашему сиятельству, и так много довольны вашей милостью...

Степан вышел с низким поклоном.

Через несколько дней он получил вольную и стал, как он выражался, человеком.

IV

ГРЕЧАНКА

На Садовой улице, недалеко от Невского проспекта, существовала еще во время начала царствования императрицы Елизаветы, большая кондитерская, род ресторана с миллиардными комнатами.

Кондитерская эта охотно посещалась офицерами и золотою молодежью того времени.

Говорили, что в задних комнатах этой кондитерской для завсегдатаев ее имелись ломберные столы, где можно было до утренней

зари сражаться в азартные игры.

Это, впрочем, не было ни разу удостоверено полицейским протоколом.

Но не одни эти приманки привлекали посетителей в этот укромный, веселый уголок, прозванный среди молодежи того времени «Капуей».

Жена содержателя кондитерской, грека Николая Мазараки, неизвестно приблизительно когда и по каким причинам появившегося на берегах Невы, красавица Калисфения Фемистокловна, заставляла, если не биться сердца, то смотреть, как кот смотрит на сало, многих петербургских ловеласов.

На сколько старый Мазараки был безобразен со своим ударяющим в черноту лицом, с красным, глубоким шрамом на правой щеке, длинным красноватым носом, беззубым ртом, лысой головой, жидкой растительностью на бороде и усах и испещренными красными жилками постоянно слезоточивыми глазами, настолько прелестна была его жена. Высокая, стройная, с черной как смоль длинной косой, толстой змеей в несколько рядов закрученной на затылке и своей тяжестью за-

ставляющей ее обладательницу закидывать голову и придавать таким образом всей фигуре величественный, царственный вид.

Высокая грудь, маленькие руки с тонкими пальцами, миниатюрные ножки довершали чисто классическую прелесть этой женщины, с гордым, властным видом стоявшей за прилавком и с видом полководца распоряжавшейся армией «гарсонов».

Такова она была в своем величавом спокойствии.

Она была, если только это возможно, еще лучше, когда ее громадные миндалевидные глаза дарили кого-нибудь приветливым взглядом и когда ее красные, как кораллы, художественно очерченные губы складывались в радостную улыбку.

С этим выражением лица, против которого немногие могли устоять, встречала она почти всегда своих постоянных посетителей.

Хороша она была в минуты вспышки гнева, когда ноздри ее правильного, с маленькой горбинкой носа раздувались, как у арабского коня, глаза метали ослепительные искры, а нежные, смуглые, матовые щеки вспыхивали

багровым румянцем.

Такова она была изредка со своими подручными, чаще со своим мужем.

Она казалась неприступной.

Но наружность обманчива вообще, а женская по преимуществу.

Многие из завсегдатаев хвастали своей близостью с ней, но хитрая гречанка умела так вести свои дела, что нельзя было отличить хвастовства от правды — она была равна со всеми при всех, а какова она была наедине знали лишь те, кто был с нею. Каждый подозревал в другом обманутого соперника, и хвастовство близостью с Калисфенией было осторожно, под пьяную руку, в неопределенной форме.

Кованная большая шкатулка, а в особенности укладываемые в нее крупные ассигнации могли быть красноречивыми и убедительными доносчиками на свою хозяйку, но и шкатулка, и ассигнации молчали.

Молчал и старый муж.

Знал ли он это, или же до него не дошла очередь, так как известно, что мужья узнают о поведении своих жен последними.

Дела кондитерской шли прекрасно.

Все, что рассказываем мы, относится к тому же прошлому.

В начале царствования императрицы Екатерины Калисфении Мазараки было уже далеко за тридцать лет.

Ее муж умер за несколько месяцев до государственного переворота 1762 года.

Калисфения Фемистокловна осталась одинокой вдовой, но через восемь месяцев после смерти Николая Мазараки разрешилась от бремени девочкой.

Это странное совпадение вызвало среди постоянных посетителей кондитерской целый ряд острот и каламбуров.

Свою новорожденную девочку гречанка тоже назвала Калисфенией.

Лета, конечно, наложили на Калисфению-мать свою, увы, непреодолимую печать, но наступившее материнство, казалось, помолодило ее.

Несмотря на то, что она уже приближалась к сорока летам — «бабьему веку» — она все еще продолжала быть чрезвычайно привлекательной, хотя ряды ее поклонников пореде-

ли заметнее, нежели ее чудные волосы.

Смерть Николая Мазараки не отразилась совершенно на течении дела кондитерской, так как и ранее все это дело держала в своих руках «гречанка», так звали Калисфению Фемистокловну, конечно заочно, все посетители кондитерской.

Рождение дочери оказалось очень кстати для «гречанки», стареющая красавица нашла в ней утешение.

Очень красивые женщины чрезвычайно трудно расстаются с мыслью о своей неотражимости и обыкновенно плохие математики по части прожитых им лет и возникающих от этого последствий для их наружности.

Также было и с Калисфенией Фемистокловной.

Уменьшение числа поклонников и в связи с этим более редкие визиты в заветную шкапулку причиняли ей злобное огорчение, тем более, что она не могла понять причины этой странной перемены отношений к ней ее посетителей.

Они еще ухаживали за ней, но в них уже не было, как прежде, этого прямо шального

увлечения.

Ей приходилось делать авансы, а это не было в ее гордой натуре и с этим примириться она не могла.

Вследствие этого она сделалась на самом деле почти неприступной.

Она вся, своей страстной натурой, отдавалась любви к своей дочери.

Она окружила ее возможною роскошью и удовольствием.

Девочка уже через год обещала иметь разительное сходство со своей матерью.

Был, впрочем, один человек, который продолжал смотреть на Калисфению Фемистокловну бесповоротно влюбленными глазами.

Этот человек был знакомый нам камердинер Андрея Павловича Святозарова, Степан Сидоров.

Находясь в положении камердинера-друга лица, высокопоставленного в столице, Степан пользовался относительной свободой, приобретая, воспитываясь вместе со своим барином, известный аристократический лоск, которым он умел при случае воспользоваться, он мог возвращаться в публичных местах, далеко несо-

местных его званием.

Приличная наружность, даже, пожалуй, красивая, степенный вид и платье с барского плеча делали то, что его принимали за чиновника или человека, живущего своими средствами.

Последними он умел показать, что не стесняется.

Умный и сметливый, он держался в различных ресторанах и кондитерских особняком, не заводя знакомств и не втираясь в компании. Пил он очень мало, а потому и знакомства под пьяную руку сделать не мог, да и бывал прежде в подобных местах чрезвычайно редко.

Случайно зашел он в кондитерскую Маза-раки, да сразу и сделался ее частым посетителем, норовя занять место против стойки, за которой величественно восседала уже сравнительно поблекшая Калисфения Фемистокловна.

Гречанка скоро пригляделась к частому посетителю и даже стала ему приветливо улыбаться.

Увядавшей красавице было дорого то, что

В то время, как другие посетители ограничивались несколькими любезностями, иногда даже двусмысленными, Степан Сидорович — она знала даже его имя — как прежде очень многие, неотводно смотрел на нее безумно-влюбленными глазами.

Они однажды разговорились.

Он был очень осторожен. Он как бы вскользь только говорил о себе, сказал, что он купец, имел торговлю бакалеей в одном из больших губернских городов, да передал дело брату. В Петербург приехал присмотреться, нельзя ли какое-нибудь дело открыть в столице.

Жить-де ему все равно где; кроме младшего брата, родных у него нет, он холост и один как перст.

— Скука иногда такая возьмет, засосет за сердце, хоть ложись да помирай, только и в пору... — закончил Степан Сидорыч свой рассказ.

Калисфения Фемистокловна заговорила тоже в мирном тоне о своем одиночестве, сиротстве, молодом вдовстве.

— Трудно жить одной бабе, без близкого

человека, и на деле это очень-де отражается. За всем одной не усмотришь. Где уж! А на чужого человека положиться нельзя...

— Да, уж нынче народ стал продувной, пальца в рот не клади! — согласился Степан Сидорович.

Из этого краткого, но, как показалось Сидорычу, имеющего значение разговора, он вынес убеждение, что он может иметь успех у молодой вдовы, конечно, при условии выхода на волю и некоторого капиталца.

Отсутствие обоих этих житейских благ, воли и денег, заставило Степана Сидоровича сдерживать свои порывы, хотя образ красивой гречанки с той поры стал преследовать его еще настойчивее.

Степан Сидорович начал «мозговать» средства для приобретения воли и капитала.

И то, и другое далось ему в руки благоприятно сложившимися обстоятельствами.

Всякое людское горе служит основой людского же счастья.

Несчастья одного всегда — благополучие другого.

Тоже было и в данном случае.

Разыгравшаяся в княжеской семье тяжелая драма, окончившаяся разрывом между супругами, послужила исходным пунктом будущего благосостояния Степана Сидорова.

Читатели уже знают, как это произошло.

Степан сделался сперва капиталистом, а затем и «человеком», и «вольным казаком» как называл он сам себя, получив отпускную.

С высоко поднятою головою пришел он в кондитерскую вдовы Мазараки.

Его жизнерадостный вид не ускользнул и от Калисфении Фемистокловны.

— Что вы, наследство что ли получили, что так сияете? — спросила она, и в тоне ее голоса даже прозвучала завистливая нотка.

Радость ближнего всегда несколько неприятна людям, хотя в этом они ни за что не сознаются.

— Нет-с, зачем наследство... Наследство — это означает смерть... а я о смерти и думать теперь не хочу... Да и зачем нам наследство... На прожиток хватит, да и после нас останется... — хвастливо сказал Степан.

— С чего же вы такой радостный?

— К решению пришел о своей участи. С ду-

ши бремя сомнения скатилось... Хочу попытаться: или уже счастливым без меры буду, или совсем пропаду.

— Ну, последнему чего же радоваться... — улыбнулась Мазараки.

— Важно то, что к решению пришел, а там, что будет — Божья воля... По-моему, пусть гибель, чем так, одно недоумение...

— Я что-то вас сегодня не понимаю.

— Может поймете... Дозвольте с вами объяснение иметь, сепаратное, наедине...

— Со мной! — удивилась Калисфения Фемистокловна, и в этом удивленном тоне было много деланного.

— С вами... с вами...

— Так пожалуйста ко мне в горницу... Вот отсюда... — приподняла она прилавок.

V

ХОЛОП

Стрепетным волнением последовал Степан Сидоров в «хозяйское отделение» кондитерской, как называли служащие помещение самой Калисфении Фемистокловны, в отличие от других комнат, находившихся за кондитерской, представляемых в распоряжение более почетных постоянных посетителей.

Помещение это состояло из маленькой приемной и спальни, обстановка которой виднелась в открытую дверь. Рядом со спальней была небольшая комната, где спала девочка с нянькой.

Убранство приемной дышало довольством, без бросавшейся в глаза роскоши, и тою уютностью, которая придает помещению только женской рукой, посредством ничтожных безделушек, салфеточек и прочего, в общем созидających манящую к себе картину.

Из отворенной двери соблазнительно выглядывали изящный туалет, тоже установленный разными вещами и принадлежно-

стями из фарфора и хрусталя, и часть высокой кровати под белоснежным одеялом, из-под которого для очень внимательного наблюдателя выглядывали шитые золотом миниатюрные утренние туфельки хозяйки.

Оттуда распространилась и раздражала нервы смесь запаха духов и здорового женского тела.

— Присаживайтесь, Степан Сидорыч, и говорите, — сказала вошедшая Калисфения Фемистокловна, садясь в кресло и указывая введенному ею гостю на другое.

Степан Сидорович сел, но молчал.

Обстановка, окружающая его атмосфера, царившая в этом уютном уголке его «богини», как мысленно называл Калисфению Фемистокловну Сидорыч, произвели на него ошеломляющее впечатление.

Он вдруг, совершенно неожиданно для Мазараки, вскочил и, охватив ее за талию, привлек к себе.

— Что вы, что с вами, вы сошли с ума! — вскрикнула Калисфения Фемистокловна, но крик этот был так сдержан, что не мог долететь до помещения кондитерской, в которой,

кстати сказать, в то время было немного посетителей.

Видимо было, что случай с ней не был единственным и непредвиденным.

Калисфения Фемистокловна с силой оттолкнула от себя чересчур фамильярного гостя и последний снова очутился сидящим в кресле.

Он скорее упал, нежели сел в него.

— О чем же вы хотели со мной говорить? — спросила, как ни в чем не бывало, Мазараки, спокойно снова усаживаясь в кресло.

Степан Сидоров опомнился.

— Простите... Виноват... Затменье нашло... одурь...

— Ничего, ничего, о чем, я спрашиваю, вы хотели со мной говорить?..

— Да вот об этом же...

— То есть о том, чтобы лезть со мной обниматься... Это любопытно и... странно...

— Нет-с... вы не так поняли... или я не так сказал...

— Одно из двух... это правильно.

— Точно так-с... Я, чтобы в законе...

— В законе? — переспросила Калисфения Фемистокловна.

— Да-с... в законе, а ни как иначе, я тоже вас как следует понимаю...

— Вы мне делаете предложение... кажется надо понимать так, — сказала, улыбнувшись, Калисфения Фемистокловна.

— Так-с, так-с, так и понимать надобно... — обрадовался Степан Сидорович.

— Благодарю вас за честь... — медленно, как бы раздумывая, заговорила Мазараки, — но я ведь не молоденькая девушка, а потому извините, если бы и решилась вступить во второй брак, то при достаточном обсуждении этого дела и на разумных основаниях... Прежде всего я вас совершенно не знаю...

— Обо мне можете справиться в доме князя Андрея Павловича Святозарова, я с малолетства был при его сиятельстве, — выпалил, перебив ее, и не обдумав, что он говорит, Степан.

— Вы, при князе... Чем же вы были при нем? — воззрилась на него Калисфения.

Степан побледнел, смешался и молчал.

Он понял, что проболтался и проболтался

непоправимо. Врать теперь было бы бесполезно, справка у любого из княжеских слуг уличит его во лжи.

Надо было говорить правду.

Он сполз с кресла и опустился на колени перед Калисфенией Фемистокловной.

— Простите, виноват, я не купец, я бывший дворовый человек князя Святозарова, вырос с князем и до последнего времени служил у него камердинером... теперь получил отпускную...

В голове у него в это время почему-то мелькала мысль, что ему уже во второй раз приходится сбрасывать с себя личину купца.

— Холоп, раб, илот... да как ты смел... вон! — вскочила она, как разъяренная тигрица.

Степан не двинулся. Он продолжал стоять на коленях, низко опустив голову.

— Теперь я вольный... Князь мне как друг... Денег у меня шестьдесят тысяч... все для вас... самую жизнь... — продолжал он бесвязно бормотать.

— Опять, чай, врешь, холоп! — крикнула она ему, неровной походкой ходя взад и впе-

ред по приемной.

— Убей меня Бог, коли вру... С этой минуты только одну правду от меня услышите.

— Чего вы на полу-то ползаете... Встаньте, садитесь... — резко, но все сравнительно более мягким тоном сказала Калисфения Фемистокловна.

— Простите... тогда встану, — сказал сквозь слезы проговорил он.

— Хорошо, хорошо, прощаю... — уже совершенно смягчилась она и даже подала ему руку, чтобы помочь подняться с полу.

Степан послушно встал и также послушно по ее приказанию снова сел в кресло.

На некоторое время наступило молчание.

По глазам Мазараки видно было, что она что-то соображала.

Степан Сидорович сидел, не поднимая на нее глаз.

— Как же-с, Калисфения Фемистокловна... — первый заговорил он.

— Что, как же? — спросила она.

— Положите, значит, гнев на милость...

— Что гнев... гнев пустяки... Меня рассердило то, что вы мне солгали... Ложь для меня

хуже всего... Человеку, который солжет раз, я не могу уже верить... не могу уважать его.

— Говорю вам, перед истинным Богом, последний раз солгал перед вами, отныне моя душа будет перед вами как на ладонке, — произнес жалобным голосом Степан, и видимо для того, чтобы придать больше вероятности своим словам, перекрестился.

Калисфения Фемистокловна молчала.

— Так как же? — снова спросил он.

— Что же вы думаете делать с вашими деньгами? — не отвечая на вопрос, как бы вскользь, желая переменить разговор, сказала она.

— Да вот, надумал-было с вами в компании дело вести... Сами вы вечер говорили мне, что можно дело расширить, да только вам без мужчины трудно... Положиться нельзя на чужого...

— Да, да, это правда, какие уж нынче люди, пальца в рот не кладут... откусят...

— Я смекнул, ежели мой капитал, да к вашей опытности прибавить, да мне для вас не чужим человеком сделаться, дело бы другое вышло, а то что у меня деньги в укладке за-

дарма лежат, можно сказать — мертвыми...

— Это, конечно, последнее дело, капитал должен быть в обороте, приращаться, — заметила она.

— Теперь же мне он зачем. Ведь я бобыль. Один, как перст. Умру... все равно в казну отберут, коли полиция да подьячие не растащут.

— Зачем это говорить. Вы молоды, женитесь, дети будут, им оставите.

— Нет-с, Калисфения Фемистокловна, коли вы меня, можно сказать, оттолкнули да так кровно обидели, ни на ком я не женюсь, в монастырь пойду и капитал туда же пожертвую... Богу, значит, отдам.

В голосе Степана прозвучали решительные ноты. Калисфения Фемистокловна встрепенулась.

— Обидели... а вы не обижайтесь, мало ли что в горячности скажешь, не подумав иной раз такую околесицу понесешь, что хоть святых выноси, и отталкивать я вас не отталкивала, зачем добрыми людьми пренебрегать, добрые люди всегда пригодятся...

— Значит, дозволите надеяться? — поднял

на нее свои глаза Степан Сидорыч.

В них блеснул луч радостной надежды.

— Дайте подумать, на такое дело сразу решаться не годится...

— Только дозвоьте надеяться, а я подожду, с удовольствием подожду...

— Ждите!

Калисфения протянула ему руку.

Степан прильнул к ней губами и впился в нее страстным, продолжительным поцелуем.

— Заходите, потолкуем, — освободила она, наконец, свою руку.

— Вы, вот, говорите холоп, раб, а ежели теперь вдумать, так ведь такой же человек, как и другие, — вдруг начал он, вспомнив нанесенную ему обиду.

— Говорю — погорячилась, а вы все помните, знаете русскую пословицу: «Кто старое помянет, тому глаз вон».

— Нет, я так, к слову, примером, завтра же припишусь в здешние мещане, а там и в купцы, и при капитале мне тотчас почет.

— Конечно, если человек с деньгами, тогда иное дело... — милостиво согласилась Калисфения Фемистокловна и встала.

— Без денег что и князь, только кинуть в грязь... — пошутил успокоившийся Степан.

— А сердиться вы перестаньте... — ласково сказала она и снова протянула ему руку.

Он уже стоя снова прильнул к ней долгим поцелуем.

— Пойдемте... Там, кажется, народу поприбавилось, — кивнула она в сторону кондитерской. — Заходите утречком, на досуге все перетолкуем.

Она даже шутя и улыбаясь повернула его плечами к выходу.

Он вышел в кондитерскую.

Там, действительно, уже было несколько новых посетителей.

У прилавка стояла дама и мальчик отпускал ей какое-то печенье.

Увидав выходящего из-за прилавка Степана, дама удивленно его окликнула.

— Степан Сидорыч!

Он тоже удивленно уставился на нее и, наконец, не менее удивленно произнес:

— Анна Филатьевна!

Это была Аннушка, бывшая горничная княгини Зинаиды Сергеевны.

— Какими судьбами вы сюда попали?..

— Дело было к хозяйке... — уклончиво произнес он, подумав про себя: «Нанесла нелегкая!»

— А я все к вам собираюсь.

— Ко мне...

— И к вам конечно, да и к княгинюшке, навестить ее, повидать. Уже сколько времени они приехав, а я все не соберусь, на дому все недосуг да недосуг...

— Меня-то вы там не найдете... — сказал Степан.

— Это почему же?..

— А потому, что я уже теперь при князе не состою... — отвечал он пониженным шепотом.

— А при ком же?

— При самом себе, Анна Филатьевна, при самом себе...

— Это как же?

— Вольную князь пожаловав, так я от него на свою квартирку перебрался, здесь недалеко, на Садовой.

— А-а-а... — протянула Аннушка. — Ну, что же, княгиня успокоилась...

— Ох, Анна Филатьевна, не нам бы с вами это и вспоминать... Много грехов на душу мы из-за нее, голубушки, приняли...

— Да ведь мы не сами...

— Что я сам... Не моя была воля, княжеская... Да ведь сказать правду, вас ведь я не силком тянул...

— Вот вы какой... — деланно улыбнулась Аннушка. — А что ребенок? — шепотом добавила она.

— Умер.

— Умер?

— Месяца, родименький, не прожил и отдал Богу ангельскую душеньку.

— Ну, это к лучшему...

— И князь Андрей Павлович был того же мнения, когда я привез ему это известие...

— А все-таки я к княгине зайду, поклонюсь ее сиятельству...

— И не тяжело вам будет? Мне и так смотреть на нее невтерпеж было...

— Оно, конечно, не радость, а нельзя, тоже она мне благодетельница, ни меня, ни мужа не забывает.

— Это еще, по-моему, хуже. Ну, да как знае-

те... Прощенья просим... Мне недосуг...

— Заходите...

— Ваши гости.

Степан Сидорыч вышел из кондитерской.

VI

В ГРЕЧЕСКОМ ПЛЕНУ

Прошло два месяца.

Степан Сидорович за это время почти ежедневно бывал в кондитерской Мазараки и по утрам, и по вечерам.

Наконец, они с Калисфенией Фемистокловой столкнувались. Последняя наглядно убедилась, что ее поклонник действительно капиталист.

Для этого она очень наивно, чуть не сама, напросилась к нему в гости на кофе.

Сидорыч был на седьмом небе.

Он как ребенок радовался этому посещению. С утра привел в праздничный вид свою комнату — он нанимал ее от жильцов в доме недалеко от кондитерской, около Сенной — и ждал с бьющимся сердцем наступления назначенного часа.

То и дело приотворял он дверь своей комнаты, прислушиваясь не только к раздававшимся в квартире звонкам, — в квартире кроме него было еще несколько жильцов, — но даже ко всякому шуму на лестнице — его комната была крайняя.

Наконец, она явилась.

Он бросился снимать с нее верхнее платье, усадил в покойное кресло у накрытого для кофею стола, уставленного всевозможными лакомствами.

Прислуга подала самовар и кофейник.

Калисфения Фемистокловна меланхолически осматривала помещение ее поклонника.

— Вот моя убогая келийка... — проговорил он.

— Комната очень миленькая... главное, все так чисто, аккуратно... В мужчинах это редкость, — заметила Калисфения Фемистокловна.

Сидорыч даже покраснел от удовольствия.

— Я чистоту люблю... чистота это первое дело... — скромно опустил он глаза.

— А вы уверены в ваших хозяевах? Замки в дверях, кажется, не особенно надежды... Да

и прислуга... — шепотом заговорила она, наклонившись почти совсем близко к Степану Сидоровичу и обдавая его запахом сильных духов.

— Хозяева люди хорошие... и прислуга тоже, да и замок у двери, это так на вид он кажется ненадежным, хороший замок... — отвечал он, тоже шепотом.

— Я к тому, мой друг, — она первый раз назвала его так нежно, — что хранить дома капитал опасно... Мы с вами так сошлись, что я думаю, что имею право спросить... подать дружеский совет...

Она сделала вид, что раскаивается в начале разговора, что не знает, удобно ли продолжать его.

Все это вместе со словами «мой друг» окончательно развежило Степана Сидоровича, — он решил на искренность отвечать искренностью.

— Что вы, Калисфения Фемистокловна, я так вам благодарен за участие... Я ведь и сам понимаю, что, живя в комнате от жильцов, нельзя надеяться на особую безопасность, но я принял меры... Если доберутся до моего сун-

дука, он стоит вон там, под кроватью, то все равно ничего не найдут...

— Вот как... — сделала она печальное лицо.

— Хоть там денежки и лежат, да не для них, а для нас с вами... — засмеялся тихим смехом Степан Сидорович.

— Как же это? Это интересно...

— А если вам интересно, то после кофею я вам этот секрет покажу... От вас не утаю... может надумаетесь, так ничего скрывать уже не придется.

Степан Сидорович посмотрел на нее масляными глазами.

Она милостиво улыбнулась, бросила на него нежный взгляд и вдруг потупилась, как бы сконфузившись.

Выпив вторую чашку кофе, Калисфения Фемистокловна, по тогдашнему обычаю, опрокинула чашку.

— Еще чашечку! — заискивающе попросил Сидорыч.

— Нет, больше не хочу, благодарю вас...

— Одну...

— Нет, нет!

— Просить можно, неволить грех... — сказал Сидорыч, допив свою.

Он приказал прислуге убирать со стола самовар, кофейник и чайную посуду.

— Сладостями побалуйте.

Калисфения Фемистокловна начала лакомиться.

Когда прислуга вышла с подносом из комнаты, Степан Сидорович встал, задвинул дверь на задвижку и подойдя к кровати, выдвинул из под нее свою заветную укладку.

— Пожалуйте посмотреть... занятная работа, один благоприятель смастерил...

Открыв сундук, он показал Калисфении Фемистокловне хранившееся в нем разное белье и другие мелкие вещи.

— Видите, кроме тряпок ничего нет, — говорил он, аккуратно вынимая содержимое и укладывая на кровать.

Сундук скоро опустел.

— Пусто? — спросил Степан Сидоров.

— Пусто, — отвечала гостья.

— Где же денежки?

— Не знаю.

В это время Степан Сидорович нажал паль-

цем дощечку. Раздался легкий треск, верхнее дно укладки приподнялось, и обнаружились уложенные рядком объемистые пачки крупных ассигнаций.

Читатель знает, какие это были деньги.

— Ах! — сдержанно воскликнула Калисфения Фемистокловна и почти любовно посмотрела на обладателя искусно сделанной укладки.

Опытным взглядом она окинула пачки и поняла, что ее будущий жених не преувеличил цифры своего капитала.

— Неправда ли, хитрая штука? — сказал Сидорыч, снова нажимая какую-то дощечку.

Дно снова пришло в свое первоначальное положение.

— На что хитрее! — согласилась Калисфения Фемистокловна.

Содержимое сундука тем же порядком было в него уложено, он был заперт и снова вдвинут под кровать.

Степан Сидорыч отпер дверь. Они снова уселись к столу.

— Когда же вы, наконец, решите мою судьбу? — заговорил Степан Сидорович.

— Удивительно, какой вы нетерпеливый человек... — улыбнулась Калисфения Феми-стокловна. — Вам все сейчас вынь да по-ложь...

— Это вы напрасно, уж сколько времени я жду... два месяца...

— Два месяца, — захохотала она. — Это, по вашему, много... Люди по годам ждут... Или я не стою, чтобы меня подождать.

Она взглянула на него исподлобья.

— Кто говорит, не стойте... Только вот не знаешь, дождешься ли.

— Ну, что уж с вами делать, видно надо перестать томить... дождетесь, дождетесь.

Он схватил ее руку и припал к ней пере-сохшими губами. Она не только не отнимала ее, но напротив, наклонилась к нему и обожгла ему щеку поцелуем. Он упал к ее ногам.

— Встаньте, встаньте, прислуга может вой-ти, да и мне пора, засиделась.

— Куда же вы так скоро? — печально про-изнес он, поднимаясь с пола.

— Куда? Домой... приходите теперь вы ко мне... так и будем пока ходить друг к другу.

— И долго?

— Не долго...

Он помог ей одеться, сам отпер и запер за нею дверь, еще раз крепко расцеловав ее обе руки.

С этого дня Калисфения Фемистокловна действительно перестала томить своего поклонника.

День ото дня она делалась к нему все ласковее и ласковее, несколько раз даже позволила себя поцеловать и один раз сама ответила на поцелуй.

— Нашу сестру, бабу-дуру, долго ли оплести, — заметила она как бы в оправдание прерыва своего увлечения, — лаской из нашей сестры веревки вить можно.

Степан Сидорович ходил положительно големом, не чувствуя под собою от радости ног.

Он даже, как будто, сделался выше ростом.

Наконец, в один прекрасный день Калисфения Фемистокловна окончательно согласилась быть женою Степана Сидоровича и даже сама стала торопить свадьбой.

Это случилось вскоре после того, как он показал ей свое купеческое свидетельство.

Счастливым жених бросился со всех ног

хлопотать.

Прежде всего он полетел к князю, прося его и княгиню быть у него посаженными отцом и матерью.

— На ком же ты женишься? — спросил князь.

— На Калисфении Фемистокловне Мазаракки.

— На «гречанке»? — воскликнул Андрей Павлович, сделав удивленное лицо.

Он знал под этим прозвищем содержательницу кондитерской.

— Точно так-с, ваше сиятельство...

— Да ты, братец, сошел с ума?..

— Никак нет-с... У меня кое-какие деньжонки есть, в общее дело пустим... да кроме того полюбили мы очень друг друга.

— И она тебя?..

— Так точно...

— Ну, если так... Дай вам Бог счастья, кучу детей и куль червонцев... — пошутил князь. — Изволь, я благословлю.

Степан, по старой привычке, бросился в ноги Андрею Павловичу.

— Встань, ведь ты купец! — поднял его

КНЯЗЬ.

— Вашей милостью, ваше сиятельство, вашей милостью.

Княгиня тоже согласилась.

Последнее благословение немного было не по душе Степану Сидоровичу. Оно должно было пробудить в нем укоры совести, но прося князя, обойти княгиню было нельзя.

С своей стороны Калисфения Фемистокловна достала себе посаженных отца и мать тоже из высокопоставленных лиц Петербурга, а потом и шаферов для нее и для жениха, который не хотел брать из числа своего бывшего крепостного круга.

В числе приглашенных были и знакомые нам Аннушка с мужем.

Свадьба была сыграна с помпойю.

Кондитерская была на этот день закрыта и вечером все помещение было предоставлено в распоряжение гостей, веселившихся до утра.

На другой день, как всегда бывает после праздника, наступили будни.

Жизнь кондитерской вошла в свою обычную колею.

Только для Степана Сидорова праздник продолжался.

Прошло уже около месяца, а он продолжал ходить в каком-то праздничном тумане. Планы о вступлении в дело ведения кондитерской, строенные им во время продолжительного сватовства за Калисфению Фемистокловну, рушились.

Он и не думал приниматься за дело.

Не потому, чтобы его кто-нибудь не допускал до дела, нет, он сам забыл о каком-либо деле, он ходил как в полусне, без мысли, без забот, весь отдавшись одной поглотившей его страсти, страсти к жене.

Он оказался «в греческом плену», как зло шутили над ним остряки — завсегда таи кондитерской.

В ответ на эту шутку Степан Сидоров отвечал глупо-счастливой улыбкой.

Дни неслись. Утонченные ласки кончились, но прежнего положения относительно своей супруги вернуть было нельзя.

Степан Сидорович, впрочем, и не пытался.

Он был доволен даже в роли подручного своей жены.

В этой роли он и остался.

Через год после свадьбы у них родился сын, который назван в честь крестного отца, которым был Андрей Павлович Святозаров, Андреем.

Это обстоятельство несколько скрасило жизнь Степана Сидоровича, в ребенке он находил утешение в минуты сознания своих разрушившихся надежд и планов.

Младшая Калисфения уже давно стала ходить, но почему-то дичилась и не любила отца, который был с ней ласков и, как мог, баловал ее.

Мать зато не чаяла в ней души и девочка отвечала ей пылкой привязанностью.

К чести Калисфении Фемистокловны надо заметить, что она, как умная женщина, никогда не выставляла на показ ту жалкую роль, которую играет относительно ее, ее второй муж.

Напротив, при посетителях и слугах, она играла роль покорной жены, и где было нужно, всегда вставляла фразы вроде следующих:

«Не знаю, надо посоветоваться с мужем... Я бы ничего, но как муж...»

Это щекотало забитое самолюбие Степана Сидоровича и тем несколько примиряло с его положением.

Так шли годы, не внося в жизнь наших героев никаких изменений.

Младшей Калисфении шел пятнадцатый год.

Она унаследовала красоту своей матери еще более привлекательную, ввиду менее резких штрихов, наложенных на нее природою.

Полуразвившаяся фигура девочки обещала великолепно сложенную женщину. Полный огня взгляд черных глаз сулил неземные наслаждения.

Жениха еще, конечно, не было, — Степан Сидорович, говоря это князю Григорию Александровичу Потемкину, просто сболтнул.

В это же время и увидел ее последний, заехав раз на перепутье в кондитерскую Маза-раки.

Этот визит был сделан им вследствие толков о красоте дочери «гречанки».

Светлейший взглянул и мысленно решил судьбу этой прелестной девочки.

Он считал, что сделает для нее благодеяние.

И он был прав.

При нравах той эпохи, судьба младшей Калисфении не только могла быть, но непременно была бы еще печальнее.

Выбор светлейшего должен был быть для нее более чем лестным. Ей, наверное, позавидовали бы не только дамы, но и девушки даже высших сфер тогдашнего общества, где добродетель не считалась особенным ценным качеством.

Любовниц сильных тогдашнего мира ожидало и счастливое супружество, покойная жизнь и не менее покойная старость.

Так рассуждали тогда все.

Так рассуждал и Григорий Александрович.

VII

НЕДОСТАТКИ СВЕТЛЕЙШЕГО

Самодурство, причудничество и женолюбие были отрицательными качествами Григория Александровича Потемкина.

Сживаясь с гениальным умом, пылкой восторженной натурой и подчас совершенно рыцарским великодушным характером, качества эти имели причины, лежавшие вне «великого человека».

Мы отчасти из разговора Григория Александровича с его матерью познакомились с его справедливым взглядом на окружавшее его общество, среди которого он царил много лет, не как временщик, благодаря капризу своего могущественного властелина, а по создаваемым им своим трудам и заслугам.

Он понимал, что у трона великой государыни он стоит целой головой выше всех других сановников, мало того, что эти сановники пресмыкаются у его ног только потому, что он взыскан милостями императрицы; и при малейшем неудовольствии с ее стороны, гото-

вы первыми бросить в него грязью.

Князь платил им за это безобразными выходками самодурства и надменностью, переходящею всякие границы.

Они раболепной толпой теснились в его приемных, а князь зачастую совсем не принимал их и не выходил к ним, а если и появлялся перед ними, то босой, в халате, одетом прямо на голое тело.

С низшими же, слугами и солдатами, он был самым простым задушевым барином, даже не позволявшим титуловать себя, и простой народ и солдаты платили за это восторженным обожанием Григорию Лександровичу, как они звали его в глаза и за глаза.

Самодурство и надменность, понятно, не проходили бесследно и для светлейшего — он наживал массу врагов, которые старались клеветать на него и забрасывать его грязью, особенно после его смерти.

Много таких клевет перешло, как это всегда бывает с великими людьми, и в историю.

Не скупилась на злословие, относительно его, конечно втихомолку, его современники и при жизни князя.

Иногда это злословие достигало до ушей самого князя.

Он отплачивал за него довольно оригинально.

Генерал Меллесино имел неосторожность, говоря в одном обществе о Потемкине, выразиться, что счастье вытянуло его за нос, благо он у него велик.

Слухи об этом дошли до Григория Александровича и Меллесино был тотчас же вызван к нему.

В тревожной неизвестности прождал генерал часа четыре в приемной князя, пока не был позван.

Григорий Александрович принял его одетый в одну сорочку, с босыми ногами, и взяв за руку, подвел к зеркалу, перед которым лежала бритва.

— Померяемся носами, ваше превосходительство, и чей окажется меньше, тот и упадет под бритвою на пол. Да что и мерить? Посмотри, какая у тебя гладенькая пуговица, просто тьфу.

Потемкин плюнул ему прямо в нос.

— Ступай, — сказал он затем генералу, —

да прошу впредь вздору не болтать, а покрепче держаться за меня, иначе может быть худо.

Другой чиновник, выйдя из певчих и получив чин действительного статского советника, недовольный обхождением с ним Григория Александровича, заметил:

— Разве не знает князь, что я такой же генерал.

Это передали князю, который при первой же встрече сказал ему:

— Что ты врешь! Какой ты генерал, ты генерал-бас.

Григорий Александрович терпеть не мог, когда люди, приближенные им к себе, зазнавались, он давал им за это обыкновенно очень памятные уроки.

Князь, по обычаю вельмож того времени, держал открытый стол. В числе незваных гостей, почти ежедневно являвшихся обедать к светлейшему, был один отставной генерал.

Он всегда прежде других садился за стол и первый брал карты, когда князь изъявлял желание играть.

Генерал был очень недалек и потому Гри-

горий Александрович терпел его и забавлялся его разговорами и суждениями.

Тот по глупости вообразил, что Потемкин питает к нему особенное расположение и дружбу, начал гордиться и хвастать этим, обещал многим покровительство и стал вмешиваться в дела князя.

Григорию Александровичу это надоело, он решил проучить нахала и показать всем, какую роль играет он при нем.

Однажды генерал пришел к князю обедать раньше всех, так что в столовой не было никого, кроме двух любимых адъютантов светлейшего.

— Как жаль! — сказал Потемкин. — Поедем купаться.

Генерал обрадовался приглашению.

Поехали вчетвером в Летний сад.

Генерал носил на передней части головы накладку.

— Где же мы станем раздеваться? — спросил он князя.

— Зачем раздеваться! — отвечал князь и вошел в бассейн в халате.

— Я так не могу! — заупрямился было гене-

рал, но его шутя втащили в воду в мундире и купали до тех пор, пока не смыли с головы накладку.

После купанья генерал просился ехать домой, чтобы переодеться.

Григорий Александрович его не пустил, привез его к себе мокрого с блестящей головой обедать, играть в карты, танцевать и быть таким образом целый вечер всеобщим посмешищем.

Генерал перестал хвастаться своею близостью к светлейшему.

Другой статский сановник считал себя тоже одним из близких и коротких людей в доме Потемкина, потому что последний входил иногда с ним в разговоры и любил, чтобы тот присутствовал на вечерах.

Самолюбие внушило ему мысль сделаться первым лицом при князе.

Обращаясь с последним час от часу фамильярнее, он однажды сказал ему:

— Ваша светлость не хорошо делаете, что не ограничите число имеющих счастье провождать с вами время, потому что между ними есть много пустых людей.

— Твоя правда, — отвечал Григорий Александрович, — я воспользуюсь твоим советом.

Вечером Потемкин расстался с ним, по обыкновению, очень ласково и любезно.

На другой день он приехал к князю и хотел войти к нему в кабинет, но перед ним вырос лакей.

— Не велено принимать!

— Как не велено, ты верно, братец, ошибаешься во мне или в моем имени.

— Никак нет-с, ваше превосходительство, я довольно вас знаю и ваше имя стоит первым в реестре лиц, которых его светлость, по вашему же совету, не приказал к себе допускать.

С этого времени князь, на самом деле, никогда уже не принимал зазнавшегося, непрошенного советчика.

Не любил также светлейший князь и открытой лести, и раболепного прислужничества. К нему нельзя было, что называется, прислужиться, при нем надо было служить.

Состоять ординарцем при светлейшем князе считалось особою честью, потому что трудная обязанность — продежурить сутки в

приемной перед его кабинетом, не имея возможности даже иногда прислониться — выкупалось нередко большими подарками и повышениями.

Один богатый молодой офицер, одержимый недугом честолюбия, купил за большие деньги у своих товарищей право бессменно провести трое беспокойных суток в приемной князя, часто страдавшего бессонницей и катавшегося иногда в такое время на простой почтовой телеге то в Ораниенбаум, то в Петергоф, то за тридцать пять верст по шлисельбургской дороге в Островки, где и поныне возвышаются зубчатые развалины его замка.

К несчастью молодого честолюбца, сон, как нарочно, овладел князем, и под конец вторых суток добровольный ординарец истомился и изнемог, затянутый в свой парадный камзол.

Только перед утром третьего дня судьба улыбнулась ему.

Князь потребовал лошадей и поскакал в Петергоф, посадив его на тряский облучок повозки.

У счастливица, как говорится, едва держа-

лась душа в теле, когда он прибыл на место назначения, но за то в перспективе ему виделись ордена и повышения.

— Скажи, пожалуйста, за какой проступок назначили тебя торчать у меня столько времени перед кабинетом? — спросил у своего спутника Григорий Александрович, очень хорошо понимавший трудности дежурства.

— Чтобы иметь счастье лишней час видеть вашу светлость, я купил эту высокую честь! — ответил подобострастно молодой человек.

— Гм! — значительно откашлянулся князь и затем добавил: — А, ну-ко, стань боком.

Ординарец через силу сделал ловкий полуоборот.

— Повернись теперь прямо на меня.

И это приказание было отлично исполнено.

— Посмотри теперь прямо на меня.

Молодой человек, подкрепленный надеждою, при таком тщательном, непонятном ему осмотре, исполнил и это с совершенством.

— Какой же ты должен быть здоровяк! — произнес Потемкин и пошел отдыхать.

Счастье не улыбнулось честолюбивому ординарцу.

Он не получил ничего.

Оригинально проучал Григорий Александрович и недобросовестных игроков.

Светлейший очень любил играть в карты, преимущественно на драгоценные камни.

Как-то один из вельмож проиграл ему довольно значительную сумму и уплатил ее бриллиантами, которые стоимостью были гораздо меньше проигрыша.

Князь узнал об этом лишь на другой день, когда велел ювелиру оценить камни.

Не сказав ни слова, и не показывая вида неудовольствия при встрече, он задумал наказать недобросовестного игрока и предложил ему принять участие в загородной прогулке.

Тот согласился.

Григорий Александрович позвал кучера, который должен был везти этого вельможу, и приказал ему устроить так, чтобы коляска при первом сильном толчке сорвалась с передка и упала, а кучер с передком ехал бы дальше, не оглядываясь и не слушая криков.

День был выбран холодный и дождливый.

Григорий Александрович, обыкновенно ездивший в карете, поехал на этот раз верхом, а все приглашенные на прогулку, по желанию князя, отправились в открытых экипажах.

Отъехали довольно далеко от Петербурга в безлюдное, пустынное место, где негде было укрыться от дождя.

Небо, между тем, кругом заволакивалось густыми тучами.

На дороге пришлось проезжать громадную лужу.

Когда коляска, в которой сидел вельможа, въехала в воду, князь крикнул кучеру: «Пошел!» — и сам, поворотив круто коня, поскакал назад, а за ним все сопровождающие его.

Кучер, согласно полученному приказанию, хлестнул лошадей и дернул коляску так сильно, что она, сорвавшись с передка, села посреди самой лужи.

Вельможа начал кричать и браниться, но кучер, не слушая ничего, уехал на передке.

Как нарочно, в эту самую минуту полил проливной дождь.

Вымоченный насквозь вельможа должен

был поневоле тащиться назад в Петербург пешком несколько верст, по колено в воде и грязи.

Насколько не любил князь недобросовестность, настолько же он не сердился на правду.

Один калмык, вышедший в люди в последние годы царствования Елизаветы Петровны, имел привычку говорить всем «ты» и приговаривать «я тебе лучше скажу».

Григорий Александрович любил играть с ним в карты, так как калмык вел спокойно большую игру.

Однажды, понтируя с каким-то знатным молдаванином против калмыка, князь играл несчастливо и, рассердившись, вдруг с запальчивостью сказал банкомету:

— Надобно быть сущим калмыком, чтобы метать так счастливо.

— А я тебе лучше скажу, — возразил калмык, — что калмык играет, как князь Потемкин, а князь Потемкин, как сущий калмык, потому что сердится.

— Вот насилу-то сказал ты «лучше», — подхватил захохотав Потемкин и продолжал иг-

ру уже хладнокровно.

Таковы были самодурство и причуды светлейшего князя Потемкина, почву, повторяем, для которых, и почву благодарную, давало само общество, льстящее, низкопоклонничающее и пресмыкающееся у ног умного и видевшего его насквозь властелина.

VIII ЖЕНОЛЮБЕЦ

Таким же недостатком светлейшего князя была страсть к женщинам, бывшая вместе с честолюбием преобладающею стороною его натуры.

Клевета современников шла в отношении этой слабости Григория Александровича так далеко, что удостоверяла за несомненное, что он в погоне за наслаждениями не щадил даже родственных связей.

В одной изданной при жизни Потемкина брошюре, посвященной отношениям князя к его племянницам Энгельгардт, он назван «Князем Тьмы».

Мы не будем касаться этих противоре-

ственных отношений, имеющих под собою лишь весьма гадательные данные, но должны сознаться, что последняя четверть XVIII столетия, отличавшаяся обилием развратниц и ловеласов, имела в Григорие Александровиче самого блестящего и счастливого представителя последних.

Мы уже описали внешность светлейшего князя, но тогда, когда ему было за пятьдесят, когда его портила угрюмость, набегавшая на его чело, изборожденное уже морщинами.

В описываемое же нами время он был положительным красавцем.

Высокого роста, пропорционально сложенный, он обладал могучими мускулами и высокою грудью.

Орлиный нос, высокий лоб, красиво вытянутые брови, голубые, блестящие глаза, прекрасный цвет лица, оттененный нежным румянцем, мягкие светло-русые, вьющиеся волосы, ровные, белые как слоновая кость зубы — таков был обольстительный портрет князя в цветущие годы.

Даже потеря зрения в одном глазу не портила его внешнего вида.

Становится понятным, что по числу своих побед над прекрасным полом он не уступал герою романтических новелл... Дон-Жуану де Тенорио.

Окруженный к тому же ореолом могущества, богатства и блеска, он был положительно неотразим для женщин своего времени, далеко не лелеявших особенно светлых идеалов.

Григорий Александрович представлял из себя лакомую приманку для женщин, в особенности для искательниц приключений, тщеславных красавиц, пленявшихся мыслью приобрести земные блага посредством сближения с могущественным вельможею.

Мы знаем из разговора Григория Александровича с матерью, вероятно не забытого читателями, как он глядел на женщин.

Они надоедали ему, он ими пресытился, как пресытился всевозможными яствами, и менял их одна на другую, как меняют ананасы на редьку и утонченные гастрономические блюда на солдатские щи с краюхой черного хлеба.

Других, кроме, если можно так выразить-

ся, вкусовых отношений у него не было к представительницам прекрасного пола.

Он глядел на них как на одну из сладких приправ на жизненном пиру, как на десерт после хорошего обеда.

Чувству любви не было места в сердце светлейшего князя.

Мы знаем, что любовь он похоронил еще в московском доме графини Нелидовой, и над разрушенным алтарем этого божества построил себе храм честолюбия и восторженно-го поклонения царственной женщине.

Кроме княгини Святозаровой и императрицы Екатерины, для него других женщин-людей не существовало.

Другие были только игрушкой, лакомством.

Можно ли поставить ему это в вину?

Мы думаем, что на этот вопрос придется ответить отрицательно.

Легко достижимое теряет прелесть.

Разбитое сердце Григория Александровича искало забвения в этих ветренных и зачастую продажных ласках, но не могло найти его.

Отсюда эта бесконечная цепь любовных

приключений, считавшаяся современниками разнузданностью сластолюбца.

Обольстительный образ младшей Калифении Мазараки не мог не произвести впечатления на пресыщенного женскими ласками Потемкина.

Взглядом знатока оценил он достоинства этой женщины-ребенка.

«Она чересчур молода, — решил он в своем уме, — но она разовьется под моей охраной, под моим наблюдением».

Он решил взять ее, создать себе неизведанное им еще наслаждение ожидания.

Для его могущества все было возможно, но в данном случае ему благоприятствовали и сложившиеся обстоятельства.

Отчим, очаровавшей его девушки, стал его невольным сообщником и безответным исполнителем его воли.

Так, по крайней мере, думал Григорий Александрович после ухода из кабинета Степана Сидорова.

Непременное и страстное желание чего-нибудь достигнуть порождает в сердцах людей тревожное сомнение, доходящее до по-

тери сознания своего права и своей силы.

То же случилось и с князем.

Он вдруг стал сомневаться в возможности обладать Калисфенией Мазараки и серьезно утешался мыслью, что приобрел себе помощника в лице его отчима.

Перед перспективой достижения заманчивой цели он позабыл о своем могуществе.

Степан Сидоров, зная любовь своей жены к ее дочери, со страхом шел домой и обдумывал, как ему объявить неприменную волю светлейшего князя.

Выбежав как угорелый из Зимнего дворца, он, выйдя на Невский, нарочно замедлил шаги, чтобы иметь время сообразить данное ему Григорием Александровичем тяжелое поручение.

«Жена ни за что не отпустит... С ней не сообразишь... кремень-баба... На рожон ползет и ничего с ней не поделаешь...» — размышлял он сам с собой.

«Что-то будет тогда?» — возникал в его уме вопрос.

Холодный пот выступал на его лбу и он чувствовал, как волосы его подымались ды-

бом.

Князь может погубить их всех одним движением своего мизинца.

Степан Сидоров снова ощущал на своей спине удары плетей, как тогда, когда он ехал исполнять поручение князя Святозарова.

«И понесла меня нелегкая в это Чижево...» — мелькала у него мысль.

«Да кто же мог тогда все это знать... предвидеть...» — оправдывал он самого себя.

«Ведь не втолкуешь моей греческой бабе, что его светлость всех нас может придавить ногтем... сам светлейший с ней едва ли сообразит и совладеет...» — переносились его мысли к жене.

Он был в положении мыши, думающей, что сильнее кошки зверя нет.

Наконец, он повернул на Садовую и вскоре подошел к кондитерской.

«Будь, что будет!» — в отчаянии сказал он самому себе и вошел в ворота, чтобы пройти задним ходом.

Калисфения Фемистокловна ждала его возвращения с нетерпением и беспокойством.

Внезапный вызов ее мужа к светлейшему

князю Потемкину поверг ее в недоумение.

«Зачем ему понадобился мой вахлак?» — задавала она себе уж чуть ли не сотый раз вопрос и не могла найти на него ответа.

Вдруг ее осенила мысль.

Она даже выпрямилась, подняла голову, подбежала к большому зеркалу, находившемуся в ее приемной и долго осматривала себя с головы до ног.

Самодовольная улыбка, появившаяся на ее сильно реставрированном лице, показала, что она осталась довольна этим осмотром.

Она хорошо помнила, что несколько дней тому назад светлейший удостоил посещением ее кондитерскую и выпил чашку шоколада.

Восстанавливая в своей памяти подробности этого посещения, она припомнила, что он как-то загадочно несколько раз посмотрел на нее, — она сама служила высокому гостю, а дочь была за прилавком, — и сказал ей даже несколько любезных слов.

При этом воспоминании она покраснела даже под слоем белил и румян, который покрывал ее лицо.

Она не сомневалась теперь более, что светлейший обратил на нее свое высокое внимание.

Сердце состарившейся красавицы сильно забилося.

Сделаться любовницей могущественного в России вельможи — это было такое счастье, в предвкушении которого она задыхалась.

«Верно князь вахлака упрячет на какую-нибудь службу... да подальше отошлет, деликатный и умный мужчина...» — думала она.

«Только напрасно его светлость с ним церемонится... И так пикнуть бы не смел у меня... За счастье должен почесть, холоп! Тогда я кондитерскую продам, ну ее... Одно беспокойство... На серебре да на золоте буду есть... И красавец он писанный... Тогда, как я близко поглядела на него, у меня все поджилки затрепетали... Не молода я... Ну, да что же, умный мужчина завсегда понимает, что женщина в летах не в пример лучше зеленой девчонки...» — продолжала мечтать она.

В это самое время в дверях появился Степан Сидорович.

Его озабоченный, растерянный вид еще более убедил Калисфению Фемистокловну в основательности ее предположений.

«Ишь, вахлак, тоже опечалился, да оно, конечно, тяжело, коли сладкий кусок из под носа вырывают... догадывается...» — мелькнуло в ее голове.

— Ну, что... Зачем вызывал тебя его светлость? — обратилась она к мужу.

Тот бессильно опустил на кресло против сидевшей на другом жены и молчал.

— Что же ты молчишь, как воды в рот набрал... Побил тебя его светлость, что ли?

— Хуже...

— Что хуже... Чего ты загадки задаешь... Говори...

— Дай сообразить...

— Чего тут соображать... Я и так тебя ожидаючи, раздумывая, да разгадывая...

— Сейчас; сейчас, все расскажу... Не обрадуешься...

Степан Сидорович вынул фуляровый с красными разводами платок и отер пот, обильно покрывавший его лоб.

— Что же такое печальное для меня мог

сказать тебе его светлость?.. — с усмешкой спросила Калисфения Фемистокловна.

— Уж на что печальнее для честной женщины, матери... — начал было Степан Сидорович.

— Ты ради Бога это брось... Дело говори... Я без тебя знаю, что должна делать честная женщина и мать...

— Ну, коли так... Изволь, скажу напрямик... Его светлость обратил внимание...

— Догадалась, догадалась... — перебила его Калисфения Фемистокловна, даже припрыгнув на кресле.

— Догадалась? — удивленно взглянул на нее муж.

— Догадалась... он когда на днях заезжал в кондитерскую кофе кушать, то так умильно глядел...

— Так вот и догляделся...

— Что ж, я готова... Ты сам, чай, хорошо понимаешь... что воля его светлости как для меня, так и для тебя — закон... Это не кто-нибудь другой... понимаешь... тут уж твои права ни при чем...

— Какие тут мои права... Все, полагаю, от

тебя зависит, я напротив, очень рад, что ты так скоро согласилась... Я думал...

— Что ты думал?.. Что я пойду против воли его светлости...

— Да...

— Ну, и глуп же ты, посмотрю я на тебя; да от нас с тобой тогда мокро будет, понимаешь...

— Понимаю.

— Ну, так значит и толковать нечего, я готова...

— Значит, сегодня же ее и надо собрать и отправить...

— Кого ее?..

— Калисфению...

— Калисфению? Какую?..

— Как, какую? Ведь не тебя же облюбавал его светлость... А кроме тебя одна у нас еще Калисфения...

Калисфения Фемистокловна закусила до боли нижнюю губу и как-то вся даже съежилась. Впрочем, надо сказать, что она тут же сразу сообразила, что предстоящая карьера ее дочери может иметь влияние на еще большее улучшение ее благосостояние. Оскорбленную

в своем самолюбии женщину заменила торжествующая за успех своей дочери мать.

«Однако, у него губа не дура, язык не лопатка, понимает что сладко», — подумала она даже довольно непочтительно о светлейшем.

— Куда же ее отправить? К нему?

— Зачем к нему... Приказал отвезти в Аничков дворец, там живет его мать и племянницы... Жалует он Калисфению к ним в камер-юнгферы... Для прилику, знамо дело...

— А-а... Что же, надо с ней потолковать и отправить... Ничего не поделаешь...

— Конечно, со светлейшим не очень-то будешь разговаривать. Жаль девчонку...

— Жаль... Ах, вахлак, вахлак... Такая ей судьба выходит... Моих советов слушаться будет... так заберет его в руки, что отдай все, да мало... а он жаль...

— Впрочем, это твое дело... — махнул рукой Степан Сидорович и вышел из комнаты.

Калисфения Фемистокловна позвала дочь, затворилась с нею в спальню и провела там с нею с глазу на глаз около двух часов.

О чем говорили они осталось тайной, но молодая Калисфения вышла с разгоревшимися

ся щеками, блестящими глазками и с гордо поднятою головой. Она была очаровательна.

В тот же вечер состоялось ее переселение в Аничков дворец.

Калисфения Фемистокловна сама отвезла ее, виделась с предупреденною уже сыном Дарьей Васильевной Потемкиной, которой и передала девочку с рук на руки и испросила позволения раза два в неделю навещать ее.

«Пристроила...» — решила она самодовольно, возвращаясь домой.

IX

ДОСТОЙНАЯ УЧЕНИЦА

Прошло около двух лет со дня описываемых нами событий.

Калисфения Николаевна Мазараки провела это время в Аничковом дворце, в обществе Дарьи Васильевны Потемкиной и Александры, Варвары, Екатерины и Надежды Энгельгардт, племянниц светлейшего.

Мы говорим «в обществе», так как несмотря на то, что Калисфения была назначена «камер-юнгферой» к девицам Энгельгардт, она

ни одного дня не исполняла эту должность.

Молодость, красота, сравнительно светский лоск и кое-какое образование, данное ей матерью, а главное, ласковое отношение к ней могущественного сына и дяди, сделали то, что Дарья Васильевна обращалась с ней как с дочерью, а девицы Энгельгардт как с подругою.

У Калисфении была своя роскошно отделанная, по приказанию князя, комната.

Она вместе училась и часто вместе читала с племянницами князя.

Только во время визитов она не выходила в приемные комнаты и, вообще, ее старались не показывать посторонним.

Это делалось тоже по воле Григория Александровича, баловавшего свою любимицу и дарившего ей красивые ценные безделушки и наряды.

Племянницы князя, поставленные в особые условия в высшем петербургском обществе, не отличавшемся тогда особенно строгим нравственным кодексом, как ближайшие родственницы могущественного вельможи, тоже не выделялись особенною нравствен-

ною выдержкою, а напротив, были распушены через меру даже среди легкомысленных представительниц тогдашнего петербургского «большого света».

Князь Потемкин, нравственные правила которого были более чем сомнительны, звал даже сам одну из них «Надежда-безнадежная».

Дарья Васильевна, не находя поддержки для строгости в сыне, от которого они все зависели, смотрела сквозь пальцы не только на поведение его, но и его любимиц — своих внучек.

В такой среде окончательно развилась и распустилась, как роскошный цветок, Калифения Николаевна.

Уроки матери довершили остальное. Дочь ее оказалась достойной ученицей.

Она была и ее портретом в молодости, но еще несколько прикрашенным.

Ожидания Григория Александровича оправдались.

Ему должна была достаться женщина, затмевающая своей красотой всех тогдашних петербургских красавиц.

Подготовленная матерью, посетавшей очень часто свою дочь и беседовавшей с ней о предназначенной ей судьбе, Калисфения ждала только мановения руки светлейшего, в которого влюбилась сама до безумия, чтобы сделаться его покорной рабой. Но рабой-властительницей.

Мать вооружила ее всеми тайнами женской власти, всеми секретами женского могущества.

Хитрая и опытная куртизанка передала дочери все свои познания по этой части.

— Красота, — говорила она ей, — это богатство... Женщина, обладающая ею — это капиталистка... Она может уделять проценты с этого капитала, но не отдавать его целиком... Мужчину надо всегда оставлять желать и сознавать, что исполнение этого желания зависит не от его воли, а от каприза женщины... Если мужчине не остается ничего желать... он пойдет искать в других возникновение этого желания, и женщина погибла для него навсегда... При умении распоряжаться своим капиталом — красотой, можно если не совершенно исключительно сохранить себе муж-

чину, то всегда заставить его вернуться. Пока он знает, что он не взял все — он будет возвращаться брать...

Калисфения-дочь внимательно, не отрываясь слушала Калисфению-мать.

Речи эти западали в ум и сердце молодой девушки и находили в них благодатную почву.

Она запомнила их и решила применить их к жизни с того дня, как в ее изящные ручки попадет этот величественный красавец.

День этот настал.

Калисфения Фемистокловна переехала из Аничкова дворца в нарочно выстроенный собственно для нее и роскошно отделанный в греческом вкусе домик на одной из отдаленных линий Васильевского острова, в тот самый, где мы застали ее вначале нашего правдивого повествования.

Григорий Александрович утопал в блаженстве.

Он утолял жажду божественным нектаром и не мог утолить ее.

Он вкушал роскошные яства и не мог насытить своего все возрастающего голода.

Уроки Калисфении Фемистокловны пошли впрок.

Малейшие капризы «прекрасной гречанки», как звал ее прознавший о ее существовании «большой свет», исполнялись светлейшим князем.

После него она стала могущественным существом в Петербурге. По страшному упорству никогда не желавший дать с себя снять портрет, Григорий Александрович уступил просьбе Калисфении, и приказал одному из художников срисовать себя.

Этот портрет мы видели в будуаре Калисфении Николаевны.

Она со своей стороны исполнила единственное желание князя — не заводить близких и многочисленных знакомств и не часто появляться в общественных местах.

Посещение театра ей было разрешено.

Необщительная по природе, Калисфения Николаевна не особенно тяготилась этими условиями своей жизни, с годами потерявшими свою первоначальную силу.

К дочери переселилась мать, сдав кондитерскую всецело Степану Сидоровичу, остав-

шемуся жить с подрастающим сыном Андрюшей на прежней квартире.

Дела кондитерской шли много тише, но это не беспокоило Калисфению Фемистокловну.

Она была довольна судьбой дочери и своей собственной.

Выдающаяся красота «прекрасной гречанки» и таинственность ее окружающего сделали то, что в нее чуть ли не поголовно влюбилась вся тогдашняя «золотая молодежь» Петербурга.

Все, впрочем, хорошо понимали, что соперничество со светлейшим князем Потемкиным немислимо и что красавица Калисфения недосыгаема.

Появление ее на общественных гуляньях делало то, что молодежь толпами следовала за ее экипажем, чтобы только издали полюбоваться на красавицу.

Этим, быть может, объясняется ей Григорием Александровичем полу затворничество.

Калисфения Фемистокловна оказалась права.

Дочь, буквально следуя ее наставлениям,

достигла того, что Григорий Александрович, хотя нельзя сказать, чтобы отличался верно-стью в своей привязанности к ней, но важно было уже то, что «прекрасная гречанка» ему не надоела.

Видался, впрочем, он с ней после нескольких медовых недель довольно редко.

Среди наслаждений любви светлейший ни на минуту не забывал о делах.

Дел же у него в это время было много.

Уже с конца 1774 года он именуется ново-российским генерал-губернатором.

Хотя он только изредка посещал вверен-ные ему области, но это не мешало ему распро-ряжаться всем из Петербурга и отсюда же зор-ко следил за точным исполнением его распо-ряжений.

В Петербурге он, как мы знаем, жил с цар-ским великолепием в апартаментах, отведен-ных ему в Зимнем дворце, пользовался при-дворными экипажами, столом и ежемесяч-ным жалованием в двенадцать тысяч рублей.

Государыня то и дело выражала свое бла-говоление полезному государственному дея-телю, дарила ему земли, крестьян, дворцы и

громадные суммы денег.

Годовой доход князя достигал громадной суммы трех миллионов рублей, но все же едва покрывал его колоссальные издержки.

Многочисленные и трудные занятия по управлению обширным краем и военными силами государства не препятствовали Григорию Александровичу следить, кроме того, за ходом европейской политики.

В его голове возник грандиозный план.

Заветная мечта и ее осуществление не покидали Григория Александровича до самой смерти.

Она состояла в доставлении России господства над Черным морем, уничтожения Турции, путем дележа этого государства между Россией и Австрией и, наконец, восстановления Греческой империи, под скипетром одного из внуков Екатерины.

Проект этот, несмотря на кажущуюся неосуществимость, был построен на верных основаниях.

Хотя, в конце концов, он был оставлен, но попытки к его осуществлению дали все-таки для России результаты.

Они сблизили нас с Черным морем, расширили значительно границы России на западе и на юге, положили дорогу в Грузию и на Кавказ и позволили не только принять участие в разделе Польши, но даже извлечь при этом разделе наибольшие для России выгоды.

Этот грандиозный проект занимал ум светлейшего князя в описываемое нами время, независимо от светской жизни и бесчисленных романтических приключений этого труженика-сластолюбца.

Война с Турцией, война решительная, сделалась его заветною мечтою.

— Это будет не простая война, — восклицал князь, — а новый российский крестовый поход, борьба креста и луны, Христа и Магомета. Чего не сделали, не довершили крестоносцы, должна сделать, довершить Россия с Великой Екатериной. Я здесь, в груди моей, ношу уже давно уверенность, что Россия должна совершить это великое и Богу угодное дело — взять и перекинуть луну через Босфор, с одного берега на другой, в Азию.

Лелея эту мысль, князь постепенно проводил ее в жизнь, подготавливая все для ее осу-

ществления на деле.

Прежде всего в пустынном Новороссийском крае, по мановению руки светлейшего, происходили положительные чудеса.

Как из земли вырос ряд городов: Екатеринослав, Николаев, Херсон.

Последний, заложенный в 1778 году в устье Днепра, предназначался для устройства верфи, на которой предполагалось построить многочисленные корабли для будущего черноморского флота.

Великолепная гавань для этого флота тоже была уже основана — это Севастополь.

Пустынная, лишенная обывателей, но богатые производительными силами земли степи привлекали массу поселенцев.

Всюду кипели гигантские работы, хотя далеко не было осуществлено то, что задумал князь.

По его мысли, в главном городе Новороссии — Екатеринославе, пространство которого определялось в 300 квадратных верст, должны были возникнуть «судилища, на подобие древних базилик», лавки вроде «Пропи-леи в Афинах», музыкальная консерватория,

и прочее...

Соборный Храм в Екатеринославе должен был быть, по проекту Григория Александровича, на «аршинчик» выше знаменитого храма Петра в Риме.

Этот «аршинчик», так характеризующий вообще русскую натуру, указывал на грандиозность проектов светлейшего, увы, далеко не осуществленных.

Но и то, что было создано, приводило в восторг современников, императрицу и радовало предприимчивого и энергичного Потемкина.

Последний особенно гордился черноморским флотом и постоянно обращал внимание государыни именно на него.

— Я, матушка, — говорил он ей, — прошу воззреть на это место (то есть Севастополь) как на такое, где слава твоя оригинальная и где ты не делишься ею со своими предшественниками; «тут ты не следуешь по стезям другого».

Это любимое детище Потемкина — Севастополь в самое короткое время сделался многолюдным приморским городом.

Рабочие тысячами вызывались из России. Корабельный лес привозился из Польши, Белорусии и Воронежа; железо заготавливалось на сибирских заводах и препровождалось через Таганрог в Севастополь и Херсон.

В 1784 году небольшая эскадра линейных кораблей, фрегатов и малых судов, под начальством капитана I ранга графа Войновича, первого командира первого черноморского корабля «Слава Екатерины», крейсировал уже около берегов Крыма; а в 1785 году составлен штат черноморского адмиралтейства и флота, которых непосредственным начальником был назначен Григорий Александрович, со званием «главнокомандующего черноморским флотом».

В последнем полагалось содержать 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 23 ластовых и перевозных судов, 3 камеля и 13500 человек флотской, солдатской и артиллерийской команды, не считая портовых и адмиралтейских.

На ряду с этими, незабвенными на страницах истории русской славы, трудами светлейшего князя, им было совершенно нечто еще

более колоссальное, доставившее ему наименование Таврического и уже окончательно обессмертившее его имя в истории.

Мы говорим о присоединении Крыма — этого крупного бриллианта в венце Екатерининской славы.

Этот подвиг светлейшего, заставивший умолкнуть даже злобных его завистников, совершенно неожиданно не только для Европы, но и для России, явился венцом его государственной деятельности и доказал его двойственную гениальную натуру.

Сибарит, сластолюбец, беспутный Дон-Жуан, «князь Тьмы», как называли светлейшего завистливые соплеменники, доставляющий России своим трудом и энергией целую область — явление исключительное не только в русской, но и во всемирной истории. Оно стоит подробного описания.

Х ТАВРИДА

По Кучук-Кайнарджисскому миру был обусловлен отказ Турции от верховных прав на Крым и признана его независимость.

Вынужденные к подобной уступке неудачной войною и победами Румянцева, турки продолжали лелеять мечту о возвращении своей власти на полуострове и даже домогаться осуществления этой мечты.

Русские со своей стороны не могли оставаться равнодушными к подобным домогательствам и старались всеми силами им противодействовать.

В самом Крыму вследствие этого образовались две партии, вступившие между собой в ожесточенную борьбу и находившие каждая себе поддержку в турецкой и русской сторонах.

Хан Сагиб-Гирей, расположенный к России, был свергнут и на ханский престол возведен преданный турецким интересам Девлет-Гирей.

Эта перемена правления не могла быть приятна России и вскоре Девлет-Гирей в свою очередь был лишен власти и на его место возведен был на престол Шагин-Гирей.

Получив власть при помощи России, он, конечно, был на стороне русских, и кроме того, по внушениям петербургского кабинета, захотел быть совершенно независимым и предпринял в своем государстве ряд реформ, необходимых для его усиления.

Вместе с реформами Шагин-Гирей ввел некоторые европейские обычаи, чем и возбудил против себя все еще сильную староверческую турецкую партию.

В Крыму начались снова междоусобицы, в которых русское правительство должно было поддерживать Шагин-Гирея.

Положение становилось невозможным.

Затаенная вражда между Россией и Турцией в Крыму ежеминутно готова была вырваться наружу и превратиться в открытую войну.

Особенно ясно понимал это Григорий Александрович Потемкин.

Он был убежден в невозможности суще-

ствования Крыма как самостоятельного государства и горячо убеждал императрицу действовать решительнее и скорее покончить дело присоединения Крыма к России.

Его выдающаяся политическая дальновидность всецело обрисовывается в следующем письме к Екатерине:

«Крым положением своим разрывает наши границы, — писал он. — Нужна ли осторожность с турками по Бугу или со стороны Кубанской — во всех случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан нынешний туркам неприятен: для того, чтобы он не допустил их через Крым входить к нам, так сказать, в сердце. Положите-ка теперь, что Крым наш и что нет уже сей бородавки на носу — тогда вдруг положение границ будет прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны Кубанской, сверх частных крепостей, снабженных войсками, многочисленное войско Донское всегда тут готово. Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несумни-

тельна, мореплавание по Черному морю свободно, а то извольте рассудить, что кораблям вашим и выходить трудно, а входить еще труднее. Еще вдобавок избавимся от трудного содержания крепостей, кои теперь в Крыму на отдельных пунктах. Всемиловейшая государыня! Неограниченное мое усердие к вам заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрим, кого оспорили, кто что приобрел: Франция взяла Корсику, Цесарцы без войны у турок в Молдавии взяли больше нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки и Америки.

Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить вас не может, а только покой доставит. Удар сильный, но кому? Туркам: это вас еще больше обязывает. Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите и такую, какой ни один государь в России не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и большей славе: с Крымом достанется и господство на Черном море; от вас зависеть будет закрыть ход туркам и кормить их или

морить с голоду. Хану пожалуйста в Персии, что хотите — он будет рад. Вам он Крым поднесет нынешнюю зиму и жители охотно принесут и сами просьбу. Сколько славно приобретение, столько вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждых хлопотах скажет: вот, она могла, да не хотела, или упустила. Есть ли твоя держава кротость, то нужен в России рай. Таврический Херсон, из тебя истекло к нам благочестие: смотри, Екатерина Вторая, паки вносит в тебя кротость христианского правления».

Письмо это, кроме того, что несомненно указывает на зоркий и правильный взгляд светлейшего князя на внутреннюю политику русского государства и его обширные познания в области европейской политики, является также красноречивым доказательством его беззаветной любви к родине и неусыпной заботе о славе обожаемой им монархини.

Кроме того, письмо является опровержением ходившего при его жизни мнения завистников, перешедшего, как это всегда бывает, в историю, что он успел настолько «обойти» государыню, что она не видела его злоупотреб-

лений ее доверием, не видела самоуправства князя в деле ее управления.

Из приведенного письма, напротив, видно, как настойчиво Григорий Александрович путем обстоятельных доводов и даже указанием на суде истории и потомства старается добыть согласие императрицы на дело даже очевидно полезное для России, без какого согласия он обойтись, видимо, не сознает себя вправе.

Так было и во всяком деле. Идея зачастую принадлежала Потемкину, но обсуждала ее всесторонне сама императрица и только убежденная основательными доводами давала свое согласие.

Правда, и проекты самой императрицы обсуждались ею с ее «первым советником», каковым был Григорий Александрович.

Она охотно выслушивала возражения и прислушивалась к замечаниям, и хотя отстаивала свою мысль, но в случае доказанной ей несостоятельности ее взгляда, отказывалась от него.

Такова была эта, несмотря на происхождение, вполне русская душою монархиня, всеце-

ло придерживающаяся мудрой народной поговоркой: «Ум хорошо, а два лучше».

Ум Потемкина она признала давно и знала, что на этот ум можно положиться, но все же не настолько, что он мог действовать без ее согласия.

Она была монархиней в полном смысле этого слова.

Императрица хорошо понимала, что относительно значения Крыма Потемкин прав, но свести «бородавку с носу» ей, как и всем ее окружающим, казалось невозможным без войны с Турцией.

Начинать же войну с последней, не обеспечив себя со стороны соседних держав и особенно Австрии, было невыносимо.

После долгих переговоров, при содействии того же Потемкина, удалось войти в соглашение с последней.

Австрийский император Иосиф II не устоял против соблазнительной перспективы поделить Турцию и заключил с русской императрицей секретный договор, которым договаривающиеся стороны взаимно обязались помогать друг другу в войне с Османской им-

перией, присоединить в случае успеха пограничные к их империям области, восстановить Грецию и образовать из Молдавии, Валахии и Бессарабии отдельную монархию, под скипетром государя греко-российского вероисповедания.

Это соглашение развязало России руки относительно Крыма.

Григорий Александрович ожидал с нетерпением удобной минуты, чтобы нанести ему окончательный удар.

Повод к этому не замедлил представиться.

Потемкин находился в Кременчуге.

Был июль 1782 года.

Вдруг князь получил известие, что взбунтовавшиеся крымцы заставили Шавлат-Гирея бежать и искать спасения в Керчи, под защитою русского флота, турки же, вопреки трактату с Россией, заняли Тамань и угрожают вторгнуться в пределы Крыма.

Приготовленный ко всяким случайностям, Григорий Александрович тотчас же сделал соответствующие распоряжения.

Он немедленно предписал генерал-поручику Павлу Сергеевичу Потемкину выгнать

турок за Кубань, Суворову усмирить буджацких и ногайских татар, а генерал-поручику графу де Бальмену войти в пределы Крыма и водворить там спокойствие.

Все эти три поручения были исполнены быстро и успешно, почти без кровопролития.

Тогда Григорий Александрович предписал командовавшему азовской флотилией, вице-адмиралу Клокачеву, оставя несколько судов в Керчи, сосредоточить остальные в Ахтиарской гавани, где граф де Бальмен уже воздвигал укрепления.

Светлейший, между тем, пребывавший в Кременчуге, то в Херсоне, тотчас вступил в переговоры с крымскими, ногайскими и кубанскими мурзами, и где увещаниями, где золотом, где угрозами, убедил их покориться России.

8 апреля 1783 года последовал высочайший манифест, объявивший, что русское правительство, желая положить конец беспорядкам и волнениям между татарами и сохранить мир с Турцией, присоединяет навсегда к своим владениям Крым, Тамань и всю Кубанскую сторону.

Граф де Бальмен привел к присяге старшин крымских, Суворов — ногайских и Павел Сергеевич Потемкин — кубанских.

Так давно занимавшее умы русских государей присоединение Крыма совершилось.

Благодаря неусыпной энергии светлейшего князя Григория Александровича Потемкина, это великое дело было окончено без войны и потерь.

Присоединением к России целой области он ответил своим врагам, выставлявшим его изнеженным сибаритом, пустым волокитой, неспособным не только к государственному, но ни к какому делу.

А врагов у князя Потемкина было много.

Рассказывали, что однажды императрица обратилась к своему камердинеру Попову, отличавшемуся, как уже знают читатели, грубою откровенностью, с вопросом, что говорят в Петербурге о Григорие Александровиче.

— Бранят... — лаконично отвечал Попов.

— За что же? — спросила государыня.

— За все... Да кто его любит... Только двое...

— Кто же это?

— Бог да вы...

Попов был прав; действительно, вся деятельность Григория Александровича была отмечена особым к нему благоволением Божиим.

Набожный князь носил уверенность в этом во всю свою жизнь.

Присоединение к России Крыма произвело страшный переполох в Константинополе.

Турки спешно стали готовиться к войне, но неожиданное объявление австрийского императора, что в случае разрыва, он соединит свою армию с русской, умерило их воинственный пыл.

Благоразумные представления русского полномочного министра при Диване Я. И. Булгакова окончательно умиротворили турок.

Действуя чрезвычайно ловко и решительно, он не только успел отклонить турок от войны, но даже заключил с ними, 23 июня 1783 года, торговый трактат, а 28 декабря конвенцию, по которой статья кучук-кайнарджисского договора о независимости Крыма была уничтожена и Кубань назначена границей между обеими империями.

Все это, по собственному сознанию Булгакова, было сделано им благодаря наставлениям и указаниям Григория Александровича, хотя последний скромно отказывается от этого в письме к Булгакову, где он, между прочим, писал: «Вы приписываете это мне и тем увеличиваете еще более заслуги ваши! Все от Бога; но вам обязана Россия и сами турки; ваша твердость, деятельность и ум отвратили войну. Турки были бы побеждены, но русская кровь также бы потекла».

По ходатайству Григория Александровича, Булгаков был награжден чином действительного статского советника и орденом святого Владимира II степени.

Сам Светлейший князь Потемкин, возвратившись в Петербург, за свой бессмертный подвиг был произведен, 5 февраля 1784 года, в генерал-фельдмаршалы, назначен президентом военной коллегии и генерал-губернатором Крыма, наименованного Таврической областью.

С этого времени он официально титулуется светлейшим князем Потемкиным-Таврическим, а современные ему поэты называли его

«великолепным князем Тавриды».

XI

РАССЕЯННЫЕ ТУЧИ

По присоединении Крыма к России, хан Шагин-Гирей, потерявший власть, получил обещание императрицы, что он будет получать вознаграждение — определенную ежегодную пенсию.

По неизвестным причинам, уплата этой пенсии была отложена.

Хан заподозрил Григория Александровича в утайке назначенных ему денег, подал жалобу через приближенного к государыне Александра Петровича Ермолова, который поспешил воспользоваться этим случаем, чтобы настроить императрицу против князя, своего бывшего начальника и благодетеля.

Надо заметить, что Ермолов служил в лейб-гвардии Семеновском полку и своею красотою и ловкостью понравился Григорию Александровичу, который взял его к себе в адъютанты и представил ко двору.

Он вскоре сделал блестящую карьеру, по-

лучил чин генерал-майора, орден святого Станислава и Белого Орла I степени и звание флигель-адъютанта, за все это обязанный Потемкину, которому и заплатил черной неблагодарностью.

К начатым Ермоловым интригам против светлейшего присоединились все многочисленные его недоброжелатели, и даже успели внушить императрице, что все делаемые им траты совершенно бесполезны, и что даже присоединение Крыма не стоит таких больших жертв.

Григория Александровича расходившиеся доносчики стали даже обвинять в краже.

Императрицу все это чрезвычайно встревожило, она стала выказывать князю холодность и даже косвенно намекала ему на необходимость оправдания.

Но не таков был Потемкин.

Гордый и самолюбивый, он резко и холодно опровергал обвинения и даже отмалчивался.

Наконец, он не только сделался сам невнимателен к государыне, но даже уехал из Царского Села, где в то время была императрица,

в Петербург и бросился в вихрь удовольствий, казалось, только думая, как бы повеселиться и рассеяться.

Действительно, он проводил время со своими племянницами, зачастил к Калисфении Николаевне, но, между тем, эта праздность была только кажущейся, — он продолжал свою неусыпную заботу об устройстве вновь приобретенного края.

Первое преимущество, доставленное князем жителям Крыма, заключалось в том, что всем татарским князьям и мурзам были пожалованы права и льготы русского дворянства, — населению дозволено было составить из среды своей войско, которое впоследствии участвовало под именем «таврического национального войска» в войне России с Турцией, и наконец, все назначенные прежним правительством каймаканы, кадии и муфтии были утверждены в своих должностях.

Татары вначале охотно, по-видимому, признали себя подданными христианской державы, но вскоре, возбужденные магометанским духовенством и фанатиками, стали тайно уходить в Турцию.

Григорий Александрович, считая бесполезным и даже вредным удерживать людей нерасположенных к новому порядку вещей, не только не препятствовал эмиграции, но даже приказал снабжать желающих переселяться из Крыма пропускными билетами и денежными пособиями.

Эмиграция приостановилась.

Потемкин разделил Таврическую область на семь уездов, открыл таврические порты для свободной торговли дружественных с Россией народов, представив этим портам, в отношении коммерции, одинаковые преимущества с Петербургом и Архангельском, и заключил выгодные для черноморской торговли трактаты с Францией и королевством обеих Сицилий.

Скоро дикие степи новой Тавриды, подобно степям Новороссийским, благодаря неусыпным трудам светлейшего, превратились в обработанные поля и прекрасные луга; развелось овцеводство, бедные татарские города и деревни начали терять свой жалкий вид, оживленные соседством богатых русских селений.

Такой благотворной для России деятельностью отвечал Григорий Александрович на гнусные подозрения придворных, временно разделяемые отчасти даже самой императрицей, находившей, сторяча, в гордом молчании Потемкина подтверждение возводимых на него обвинений.

Двор, удивленный этой переменной, как всегда в описываемое нами время, пресмыкался перед восходящим светилом, каким, казалось, был Ермолов.

Родные и друзья князя пришли в отчаяние и говорили, что он губит себя неуместною гордостью.

Падение его считалось уже почти совершившимся фактом.

Все стали удаляться от него, даже иностранные министры.

Один французский посланник граф Людовик-Филипп Сепор, сумевший заслужить особенное расположение государыни, остался верен дружбе с Потемкиным, посещая его и оказывал ему внимание.

При одном из свиданий граф откровенно сказал князю, что, по его мнению, он поступа-

ет неосторожно и во вред себе, раздражая императрицу и оскорбляя ее гордость.

— Как, и вы тоже хотите, — возразил ему Григорий Александрович, — чтобы я склонился на постыдную уступку и стерпел обидную несправедливость, после всех моих заслуг? Говорят, что я себе врежу, я это знаю, но это ложно. Будьте покойны, не мальчишке свергнуть меня; не знаю, кто бы посмел это сделать?

— Берегитесь, — заметил Сепор, — прежде вас и в других странах многие знаменитые любимцы царей говорили тоже: «Кто смеет?» — однако после раскаивались.

— Это были любимцы каприза, а не разума венценосцев, я другое дело... Но довольно об этом... Мне дорога ваша приязнь, но я слишком презираю моих врагов, чтобы их бояться. Лучше поговорим о деле... Ну, что ваш торговый трактат?

Сепор в это время хлопотал о заключении между Россией и Францией торгового трактата.

Императрица поручила это дело графам Остерману, Безбородко, Воронцову и П. В. Ба-

кунину.

Все они были против трактата, только один Потемкин поддерживал домогательство Сепора.

— Подвигается очень тихо, — отвечал граф, — полномочные государыни настойчиво отказывают мне сбавить пошлины на вина.

— Так стало быть, — заметил Григорий Александрович, — это главнейшее преткновение? Ну, так потерпите только, это затруднение уладится...

Князь проговорил это таким уверенным и спокойным тоном, что привел в недоумение графа Сепора.

Уезжая от него, он просто думал, что князь сам себя обманывает, не видя пропасти, в которую готовится упасть.

Грозовые тучи над головой светлейшего на самом деле стали сгущаться.

Ермолов принял участие в управлении и занял место в банке, вместе с графом Шуваловым, Безбородко, Воронцовым и Завадовским.

Пронеслась весть об отъезде Потемкина в Нарву.

Родственники князя потеряли всякую надежду. Враги торжествовали победу.

Опытные политики занялись своими расчетами. Придворные переменили свои роли.

На Миллионной не было уже видно ни одного экипажа.

Граф Сегюр терял в Потемкине свою главную опору, и зная, что Ермолов скорее повредит ему, нежели поможет, так как считает его другом князя, опасался за успех своего дела.

Однако, министры пригласили Сегюра на совещание, и после непродолжительных переговоров, согласились на уменьшение пошлины с французских вин высшего разбора, и даже подали надежду на более значительные уступки.

Обещание Григория Александровича исполнилось, и граф не знал, как это сопоставить с его уже всеми решенным падением.

Через несколько дней все объяснилось.

Государыня, видя, что князь добровольно удалился от двора, стала более хладнокровно обсуждать его поведение.

Она пришла к совершенно правильной мысли, что часто оправдываться под тяже-

стью незаслуженных обвинений тяжелее и обиднее, нежели молчать и быть готовым пасть под гнетом несправедливости.

Прийдя к этой мысли, она сама снова призвала Потемкина в Царское село.

Он явился туда победителем и начал пользоваться еще большею, чем прежде милостью императрицы.

Ермолов получил 130000 рублей, 4000 душ, шестилетний отпуск и позволение ехать за границу.

Тучи рассеялись.

Миллионная вновь ежедневно была запружена экипажами.

Когда граф Сегюр явился поздравить князя, тот поцеловал его и сказал:

— Ну, что, не правду ли я говорил, батюшка? Что, уронил меня мальчишка? Сгубила меня моя смелость? И ваши уполномоченные все так же ли упрямы, как вы ожидали. По крайней мере на этот раз, господин дипломат, согласитесь, что в политике мои предположения вернее вышли... Помните, что я сказал вам — я любимец не каприза, а разума государыни...

Покончив с клеветою врагов, Григорий Александрович поехал в Москву, где, между прочим, встретился с бывшим там в отпуску своим товарищем юности, Василием Петровичем Петровым.

Последний повел его в недавно открытую типографию Селивановского, в которой принимал сам главное участие. Войдя в наборную типографию, Петров сказал князю:

— Я примусь за дело, и вы, любезный князь, увидите, что, благодаря ласке хозяина типографии, я кой-как поднаторел в его деле.

Он тут же весьма быстро набрал и оттиснул следующие стихи:

*Ты воин, ты герой,
Ты любишь муз творенья,
А вот здесь и соперник твой —
Герой печатного изделия.*

Подав Григорию Александровичу листок с оттиском стихотворения, Василий Петрович заметил:

— Это образчик моего типографского мастерства и привет за ласковый ваш приход сюда.

— Стыдно же будет и мне, если останусь у

друга в долгу, — ответил Григорий Александрович. — Изволь, и я попытаюсь. Но чтобы не ударить в грязь лицом, пусть наш хозяин мне укажет, как за что приняться и как что делать? Дело мастера боится, а без ученья и аза в глаза не увидишь.

Надо ли говорить, с каким усердием принялся Селивановский учить своего сиятельного ученика.

Потемкин и тут все сразу понял и сообразил.

Хотя гораздо медленнее Петрова, но все же довольно скоро набрал Григорий Александрович четыре строки и сказал Василию Петровичу:

— Я, брат, набрал буквы, как сумел, а ты оттисни сам, ты, как я видел, дока в этом деле.

Петров оттиснул набранное и прочитал:

*Герой ли я? Не утверждаю,
Хвалиться не люблю собой,
Но что я друг сердечный твой —
Вот это очень твердо знаю!*

В Москве Григорий Александрович пробыл лишь несколько дней, но и за это кратковре-

менное отсутствие враги снова сумели смутить императрицу, и Потемкина в Петербурге ожидал, хотя и не такой, как недавно, но все же довольно холодный прием.

Григорий Александрович снова сделал вид, что не обращает внимания на гнев государыни и по-прежнему стал заниматься делами и докладывать обо всем выдающемся в жизни вверенных ему областей императрицы.

Во время одного из таких докладов государыня вдруг высказала свое намерение ехать в Херсон и лично обозреть новые присоединения к империи провинции.

Ни к чему подобному Потемкин не был подготовлен и хотя по мере сил он заботился о благосостоянии края, но для приема в нем императрицы этого не было достаточно. Он хотел бы показать ей эти области в блестящем положении.

— Императрица может пожелать ехать очень скоро. Как сделать что-нибудь в такое короткое время.

Эти мысли, как вихрь, пронеслись в его голове. Он побледнел.

Екатерина заметила это и посмотрела на него подозрительным взглядом.

Григорий Александрович понял, что это намерение поселили в уме государыни его враги.

Он быстро оправился.

— Государыня! — воскликнул он. — Простите ли мне мое мгновенное смущение... но неожиданное предложение вашего величества так обрадовало меня, что я до сих не смею верить этому счастью... Край, благословляющий имя вашего величества, с восторженною радостью узрит у себя свою обожаемую монархиню.

Екатерина не ожидала такого ответа и милостиво улыбнулась.

— Прошу одной милости, — сказал Потемкин, — не откладывать этого благого намерения.

— Нет, нет, я даже приглашу императора Иосифа встретиться со мною на пути!

— Этот чудный край, ваше величество, создан для свидания царей! — восторженно заметил Григорий Александрович.

Путешествие Екатерины на юг было реше-

но.

Князь немедленно после этого разговора принял все меры для приведения Крыма в самое цветущее состояние. Не щадя ни денег, ни трудов, отправил он туда множество людей, заставил их работать и днем, и ночью.

XII ВОЗМЕЗДИЕ

Промелькнувший десяток лет не прошел, Пувы, бесследно для остальных героев нашего правдивого повествования.

Если на лучезарное, полное блеска и славы жизненное поприще светлейшего набегали, как мы знаем, тучки нерасположения государыни и гнетущих воспоминаний юности, то над головами других наших героев разразились черные, грозовые тучи.

Возмездие, которое ожидал Григорий Александрович Потемкин для князя Андрея Павловича Святозарова, началось и не для его одного.

Первою жертвою пал Степан Сидоров.

Мы оставили его в тот момент, когда он,

неожиданно для самого себя, исполнил волю светлейшего удачно и легко, найдя не противоядие, которое ожидал, но даже поддержку в своей жене.

Ее быстрое согласие с одной стороны его обрадовало, так как он не на шутку перетрусил перед князем Потемкиным, но с другой оно заронило в его сердце против его жены какую-то едкую горечь.

Честный по натуре, имея на совести единственное пятно — страсть к женщине, которая сделалась его женой, и совершивший даже, повинувшись своей страсти, присвоение чужих денег, которые и перешли целиком в карман той же женщины, он не мог примириться, но даже радоваться гибели своей дочери.

В нем, простом человеке, нравственное чувство было гораздо развитее, нежели не только у его жены, но у всего тогдашнего так называемого «общества», в примерах которого она почерпнула и свой нравственный кодекс.

Он считал гибелью то, что Калисфения Фемистокловна признавала ее торжеством и с

неба свалившимся счастьем.

Он не стал с нею препираться по этому вопросу, тем более, что не был в силах предотвратить гибель своей падчерицы — борьба с Потемкиным, особенно при знании последним его тайны, была бы с его стороны безумием.

Он понял только, насколько они с женой разные люди — понял только теперь, когда страсть к жене уже улеглась, и когда появился жизненный вопрос, который они решили с такою резкою противоположностью мнений.

До этих пор сперва отуманенный страстью, а затем ходивший как бы в угаре от осуществления его мечтаний, он идеализировал связавшую с ним свою судьбу женщину.

Теперь он прозрел и вдруг почувствовал себя страшно одиноким.

Его даже смутила мысль, что эта женщина, так охотно продающая свою дочь, могла продать себя и ему за деньги, — только продать, так как ведь деньги перешли к ней.

Он стал припоминать подробности своего сватовства, и разного рода мелочи, тогда незамеченные им в чаду влюбленности, те-

перь восстали перед ним подтверждающими эту мысль фактами.

Да ведь он и сам, — припомнил он, — считал деньги средством приобрести ее расположение. Для этого-то он только и присвоил их.

И он приобрел ее.

Когда его неправдой нажитый капитал из его укладки перешел в сундук Калисфении Фемистокловны, он был даже рад, так как цель, для которой были добыты им эти деньги, была достигнута, а они, сами по себе, жгли ему руки, пробуждая в нем тяжелые воспоминания.

Но никогда так ясно, как теперь, он не сознавал, что он купил свою жену.

Если он мог купить ее, то ранее мог купить и другой... Ранее... А почему не после него...

Его мысли как-то невольно перенеслись на его сына Андрюшку, которому был девятый год в исходе.

Страшная мысль: его ли это сын? — каплей раскаленного свинца капала на его мозг.

Он вспомнил князя Андрея Павловича Святозарова.

Степан Сидорыч сидел в спальне.

Жена повезла Калисфению в Аничков дворец.

Был вечер. В спальне было совершенно темно, и Степан Сидорович не зажигал огня. Среди окружавшего его мрака ему было как-то легче с его думами.

— Папа, ты здесь? — раздался детский голосок. Это вбежал Андрюша.

— Здесь, здесь, беги сюда, — сказал отец и в голосе его прозвучала радость.

Приход ребенка был совершенно во время. Адское сомнение вдруг исчезло из души Степана Сидоровича, когда он ощупал в своих руках мягкую и шелковистую головку сына.

— Мой... мой, — прошептал он. — Вот для кого я буду жить... я не один...

— Что ты плачешь, папа? Как здесь темно, — пролепетал Андрюша, по-детски пере-скакивая от вопроса к выражению впечатления.

— Сейчас, голубчик, зажжем огонь, — сказал Степан Сидорович, и взял за одну руку сына, встал, подошел к комоду и зажег свечу.

— Ты плачешь, папа? — спросил ребенок, увидав катившиеся по щеке отца слезы.

Это были слезы облегчения от страшной мысли.

— Нет, нет, ничего, не плачу, — ответил отец, движением головы стряхивая с ресниц последние слезы. — Это я вспотел, очень жарко...

Степан Сидорович вынул фуляровый платок и вытер лицо.

— Здесь не жарко, — настойчиво проговорил мальчик. — Ты плачешь...

— Говорю тебе нет... Видишь, я смеюсь.

Степан Сидорович действительно засмеялся. Ребенок успокоился.

Вскоре вернулась Калисфения Фемистокловна. Восторженно она стала рассказывать о приеме, сделанном ей ее дочери Дарьей Васильевной Потемкиной и племянницами светлейшего. До мелочей описала роскошное убранство дворца, образ жизни, штат прислуги.

В рай, в рай, прямо в рай отвезла дочурку, — воскликнула она в конце своего рассказа.

Степан Сидорович слушал безучастно, но Калисфения Фемистокловна, вся под впечат-

лением так недавно минувшего, не заметила этого.

На другой день жизнь вошла в свою колею.

Отсутствие молодой Калисфении было, конечно, замечено посетителями, но на их вопросы отвечали уклончиво: одним говорили, что барышня больна, другим, что она поехала гостить к родственникам.

Исчезновение «барышни» вскоре не замедлило отразиться и на торговле, но Калисфения Фемистокловна не огорчалась этим, она вся была поглощена блестящей судьбой дочери.

Медленность Григория Александровича в окончательном устройстве этой судьбы ее страшно бесила и порой наводила на страшные сомнения.

«А вдруг она ему разонравится?» — задавала она сама себе вопрос, но тотчас, припоминая обольстительный образ своей дочери, решала его отрицательно.

«Что же он медлит?»

Этот вопрос оставался без ответа.

Ее успокаивало то, что князь балует ее

дочь, делает ей подарки, подарки ценные.

«Приучает... деликатно... хочет, чтобы похорошему... — решила она. Только бы девка его не полюбила... Тогда... беда».

Калисфения Фемистокловна из откровенных разговоров с дочерью знала, что ей нравился Григорий Александрович.

— Я в него положительно влюблена! — сказала ей дочь.

— Влюблена, ну и Господь с тобой, будь влюблена... твой будет, от тебя не уйдет... — отвечала ей мать. — Только, смотри, не люби его сильно...

— А что?..

— Да то, что женщина, которая ихнего брата полюбит, ни в грош ими не ставится; им надо, чтобы играли с ними в любовь, а ежели какая из нашей сестры по глупости да всерьез к ним привяжется, пиши аминь всему делу... Мужчина такой помыкать начнет, да потом и бросит, как ненужную тряпку... Помни это и люби только самое себя... Чай, если бы он, такой красивый да статный, не светлейшим бы был, а служил бы у нас в кондитерской, ведь не влюбилась бы в него?..

— Конечно, нет...

— Да если бы он тебя так не холил, подарков бы не дарил, а норовил бы с тебя взять... Мил бы он тебе был?

— Нет...

— То-то же, любить людей надо настолько, насколько они для нас хороши да угодливы... оно и выходит, что в них надо любить только одну себя... Поняла?

— Поняла...

— И заруби себе на носу, что если всерьез его не полюбишь, то он тебя всегда любить будет, и холить, и нежить, и дарить... а с любовью-то твоей и от ворот поворот укажет. Слушайся мать, она тоже ихнего брата насквозь видит...

— Я, мамаша, его так и не люблю, чтобы себя забыть... Это, по-моему, глупо...

— Истинно глупо, истинно глупо... Ты ведь у меня умница.

Мать нежно поцеловала дочь в голову.

Наконец, как мы знаем, Калисфения Феми-стокловна дождалась...

Ее дочь перебралась на новоселье.

Судьба ее была упрочена. От нее зависело

дальнейшее ее счастье.

Калисфения Фемистокловна не оставляла ее своими наставлениями и была довольна послушанием молодой женщины. Вскоре она почти совсем переселилась на Васильевский остров.

Степан Сидорович не особенно огорчился отсутствием жены. Он всецело был занят кондитерской, в которую пригласил, в качестве продавщицы, красивую шведку, и своим сыном.

Дела в кондитерской, с появлением за прилавком шведки, пошли лучше.

К сыну Степана Сидоровича пригласили учителя. Мальчик занимался прилежно.

Ему уже был одиннадцатый год в исходе. Отец им не нарадовался.

Наряду с грамотой и науками, он стал приучать его и к торговле, рассчитывая передать ему дело кондитерской.

Вдруг громовой удар разразился над головой Степана Сидоровича...

Дело было на первой неделе великого поста.

Во время масленицы он, по усиленным

просьбам сына, водил его несколько раз на площадь Большого театра, где в описываемое время происходили народные гулянья, построены были балаганы, кружились карусели, пели песенники на самокатах и из огороженной высокой парусины палатки морил со смеху невзыскательных зрителей классический «петрушка».

Мальчик страшно увлекался этими зрелищами, и отец был доволен, видя разгоревшиеся щеки и блестящие глазки своего Андрюши.

Последний раз они были на балаганах в прошлое воскресенье. Вечером еще этого дня мальчик с радостным волнением передавал отцу пережитые впечатления, а наутро другого дня он уже не мог поднять головы от подушки.

У Андрюши, видимо простудившегося, открылась, как тогда еще по старинному называли, сильная «огневица».

Испуганный отец бросился сперва за докторами, а затем за матерью.

Несколько лучших врачей того времени явились к постели больного мальчика, про-

писали лекарство, предписали тщательный уход.

— Болезнь заразительная, — заметили они.

Калисфения Фемистокловна, приехавшая, по уведомлению мужа, узнав об этом, страшно перепугалась.

Она была чрезвычайно мнительная, а тут еще могла быть опасность заразиться не только самой, но перенести болезнь в дом дочери.

Это соображение пересилило в ней любовь к сыну, если только она была в ее холодном сердце, и она, дав мужу несколько советов, уехала обратно на Васильевский, даже не взглянув издали на больного Андрюшу.

Степан Сидорович совершенно обезумел.

Вместе с приглашенной сиделкой проводил он дни и ночи у постели метавшегося в бреду сына.

Чутко прислушивался он к неровному горячечному дыханию ребенка и каждый стон его смертельною болью отзывался в его сердце.

Врачебная наука оказалась бессильна.

После наступившего кризиса, больной стал слабее и слабее с каждым днем.

Только тихое, еле слышное дыхание указывало некоторую жизнь в этом, обтянутом кожей скелете, в которого превратился еще месяц тому назад цветущий, пылающий здоровьем мальчик.

Степан Сидорович был тоже неузнаваем.

С поседевшими волосами на голове и бороде, с осунувшимся желто-восковым цветом лица и порою бессмысленно блуждавшими, всегда полными слез глазами, он производил страшное впечатление.

Платье сидело на нем как на вешалке.

Даже не особенно чувствительная к болезни сына и горю мужа Калисфения Фемистокловна, заехавшая как-то раз в кондитерскую и беседовавшая с мужем через отворенную дверь комнаты, воскликнула:

— Да отдохни ты, на кого ты стал похож, ведь краше в гроб кладут...

Степан Сидорович только махнул рукой.

Наконец, настал самый страшный момент.

Это было под утро.

Андрюша вдруг страшно заметался по по-

стели, открыл свои так недавно блестящие и веселые глазки, теперь отражавшие вынесенные страдания, но, вместе с тем, и какой-то неземной покой.

Отец наклонился к нему.

Андрюша обвил его шею своими исхудалыми ручонками и прошептал:

— Папа, па...

Он не окончил.

Из его, как бы пустой груди вырвался тяжелый, напряженный вздох. Голова как-то странно откинулась на сторону.

В открытых, глубоко ушедших от худобы лица в орбиты глазах отразился вечный покой.

В объятиях отца лежал холодный труп сына.

— Возмездие! — вскрикнул дико Степан Сидорович и, почти бросив бездыханного сына на кровать, вскочил и вышел из комнаты, а затем и из дому, как был, без шапки и без верхнего платья.

Сына похоронили без него.

В кондитерскую и к себе на квартиру он более не возвращался.

Прошло около месяца, и даже предпринятые розыски как в воду канувшего Степана Сидоровича не привели ни к чему.

Калисфения Фемистокловна наскоро с убытком продала кондитерскую и вывезла лучшие вещи из обстановки, находившейся при ней, квартиры, к дочери. Остальное все было продано вместе с кондитерской.

XIII ПРОПОЙЦА

Жизнь в доме князей Святозаровых текла для того времени более чем однообразно.

Едва ли был тогда другой дом в невской столице из числа домов высшего петербургского света, где бы царила такая патриархальная и такая чисто семейная атмосфера.

Все интересы князя Андрея Павловича и княгини Зинаиды Сергеевны сосредоточивались на их сыне Василие, подраставшем юноше, которому шел в то время шестнадцатый год.

Посещая изредка, лишь официально, двор и еще реже делая некоторые визиты, княже-

ская чета жила скромно и замкнуто, совершенно вдали от тогдашнего шумного большого света.

Сначала этот «свет» недоумевал и косился на них, как на отщепенцев, а затем явление это стало заурядным и мало интересным по своей давности и «свет» примирился с ним и махнул рукою.

Дома князей Святозаровых для него как бы не существовало.

Знали только, что князь и княгиня всецело поглощены воспитанием князька Василия Андреевича Святозарова.

«Готовят, видно, восьмое чудо! Поживем — увидим!» — язвили некоторые.

Действительно, князь Василий Святозаров, предназначенный родителями, по обычаю, к военной службе, получил для того времени исключительное образование.

Целый полк учителей и гувернеров старались набить его голову всевозможной современной мудростью, чтобы сделать его чуть ли не энциклопедистом.

Этим занято было все время юноши, хотя нельзя сказать, чтобы уроки этой толпы учи-

телей приносили молодому князю очень большую пользу.

Он усваивал из них, как это всегда бывает при очень обширной программе образования, лишь отрывочные сведения по различным научным отраслям, не зная основательно ни одного предмета.

Был лишь один видимый результат ученья — молодой князь говорил довольно свободно на нескольких иностранных языках.

Для того времени уже одним этим цель образования считалась более чем достигнутой — князь и княгиня были довольны и преподавателями, и сыном.

Что касается воспитания, то балованный сынок богатых и титулованных родителей рос, понятно, изнеженным, своевольным и капризным существом.

Малейшее его желание исполнялось.

Князь и княгиня сумели уберечь мальчика от тлетворных примеров и знания жизни, бывшей довольно нечистым ключом за воротами княжеского дома, и в шестнадцать лет юноша был совершенным ребенком, не зная многого из того, что передается друг другу

подростками с краской волнения на лице, сдавленным шепотом и варьируется на разные лады, и что затем служит надежным щитом, когда на грани зрелых лет юношу неизбежно захлестнет волна пробудившейся страсти.

Наивность шестнадцатилетнего юноши, приятная для родителей, подчас до седых волос считающих своих детей малыми ребятами, едва ли может признаваться, особенно в мальчишке, идеалом воспитания.

Окруженный китайской стеною от жизни, не зная ее совершенно, он все же будет принужден вступить в эту жизнь и на каждом шагу наталкиваться на неведомые ему житейские отношения.

В таком блаженном неведении жизни, в полном смысле этого слова, рос в родительском доме, окруженный раболепствующей толпой слуг и смотрящих в глаза мальчику с целью угадать его желание родителей, молодой князь Василий Святозаров.

По наружности это был красивый юноша, еще не совсем сформировавшийся, но обещающий быть стройным молодым человеком.

Отношения между супругами Святозаровыми сделались самыми задушевными.

Общая их любовь к единственному сыну связала их крепкими, нерасторжимыми узами.

Прошлое с годами, если не совершенно забылось, то по крайней мере, не было частого повода для воспоминаний о нем.

Лето семейство князей Святозаровых проводило на даче в окрестностях Петербурга, ни разу за все это время не посетив Несвицкого.

Княгиня лишь порой вспоминала деревянный крест в отдаленной аллее тамошнего сада, но это воспоминание уже утратило свою острую горечь и появлялось лишь при редких посещениях Дарьи Васильевны Потемкиной, единственного лица, являвшегося в княжеском семействе представительницей его грустного прошлого.

Тяжелы были эти посещения и для князя Андрея Павловича, приветливо и утонченно любезно встречавшего мать могущественного человека.

Ему было совершенно не по себе в присутствии этой его невольной и непрощенной со-

общницы.

«Какое счастье, что мальчик умер! — думал князь. — Иначе бы я не выдержал и во всем покаялся бы жене... Но каково бы было его снова теперь приучать к иной доле».

Князь, уже теперь совершенно убежденный, что это был его сын, не думал об охране прав и богатств своего первенца — Васи.

«На обоих бы хватило!» — иногда посещала его грустная мысль.

Повторяем, это было только в редкие дни визитов старушки Потемкиной.

Несчастье, обрушившееся на его бывшего камердинера Степана Сидоровича, и его таинственное исчезновение дошло до сведения князя Андрея Павловича.

Он принял в своем бывшем слуге горячее участие и даже со своей стороны обратился к полицеймейстеру с просьбою, в случае розыска пропавшего, уведомить его об этом.

Но прошел месяц, другой, а о Степане Сидоровиче не было ни слуху, ни духу.

Явилось даже предположение, что он покинул Петербург.

Аккуратная в денежных расчетах, Кали-

сфения Фемистокловна открыла, что в день ухода ее мужа из кондитерской у него в кармане должно было быть несколько сот рублей.

«Уехал верно, к святым местам помолиться...»

«Успокоится, вернется...» — хладнокровно решила она, перестав даже справляться об исчезнувшем муже.

В тоне этого высказанного ею решения звучала настолько равнодушная нотка, что казалось существование Степана Сидорова на белом свете было для нее совершенно безразлично.

Такова была черствая натура этой женщины.

Князь Андрей Павлович виделся с Калисфенией Фемистокловной и знал и ее предположение относительно судьбы ее мужа.

Не получая от полиции сведений о результате его розыска, он стал склоняться к верности этого мнения.

«Может в какой дальний монастырь забрался... да там и остался...» — думал князь.

При воспоминании о монастыре, ему

невольна пришла на мысль графиня Переметьева, тоже, как и Степан, без вести пропавшая из Петербурга.

Однажды утром, когда князь Андрей Павлович, только что окончив свой туалет, вышел в кабинет, новый камердинер Тихон с таинственным видом вошел в комнату.

Князь заметил странное выражение лица слуги.

— Что такое? — спросил он.

— Сидорыч, ваше сиятельство, там пришли-с...

— Сидорыч, какой Сидорыч? А, Степан?.. — воскликнул князь. — Наконец-то отыскался, зови его сюда...

— Не хороши-с они... ваше сиятельство, — запинаясь, заметил Тихон.

— Не хорош... то есть как не хорош...

— Вид-с больно безобразный и потом-с... хмельны очень...

— Пьян!

— То есть еле на ногах стоит...

— Так уложите... пусть выспится...

— Уже им на кухне предлагали... Никак с ними не сообразишь...

— Что же?

— К вашему сиятельству просятся... Дело, говорит, есть... Тайна... Путем и не поймешь...

Князь Андрей Павлович побледнел.

— Тайна!.. — машинально повторил он.

— Так точно, ваше сиятельство! Несуразное они что-то несут. Известно, во хмелю, в сильном градусе...

Князь молчал и сидел задумавшись.

— Так как же прикажете-с?..

— Что? — спросил, точно очнувшись, ничего не слышавший князь.

— Насчет Сидорыча...

— Зови сюда...

— Сюда никак невозможно, ваше сиятельство, через чистые комнаты-с... Они все в грязи-с... На дворе-то мокрота и слякоть...

— А...

Князь вновь задумался.

— Проведи в гардеробную... Но чтобы там ни души...

— Слушаю-с... — удивленно вскинул на князя глаза Тихон и удалился.

Князь остался один.

«Тайна! Какая тайна?.. Просто с пьяна горо-

дит вздор... — пронеслось в его голове. — Надо все-таки его видеть... несчастный... пьян и весь в грязи...» — припомнил князь слова Тихона.

Он встал и медленно прошел в гардеробную, находившуюся на совершенно противоположной стороне дома.

Княгиня Зинаида Сергеевна еще спала.

То, что представилось глазам князя Андрея Павловича в гардеробной, превзошло всякие его ожидания.

Если бы он знал наверное, что стоящее перед ним существо его бывший камердинер, а затем петербургский купец Степан Сидоров, однолеток его, князя, то он никогда не поверил бы этому.

Перед князем стоял, как-то сторбившись, расслабленный старик, одетый в невозможное рубище, покрытое толстым слоем липкой грязи.

Цвет когда-то суконного, но теперь состоявшего из одной подранной в нескольких местах основы халата, подпоясанного грязной тряпкой, определить было, невозможно.

Одна нога, обернутая в грязную онучу, бы-

ла обута в лапоть, а другая в опорок дырявого сапога.

В красных, прозябших и трясущихся руках Степан держал дырявую шляпу, тоже неопределенного цвета, покрытую грязью.

Лицо не только изменило свое выражение, но даже, казалось, в нем не осталось ни одной прежней черты.

Красно-синий нос выделялся на опухшем синевато-бледном лице, обросшем почти совершенно седою всклокоченною бородою, поседевшие также почти волосы на голове слепившимися косматыми прядями спускались с головы на лоб и на шею.

Один глаз был полузакрит от огромного сине-багрового кровоподтека, а другой, слезящийся и воспаленный, имел какой-то оловянно-безжизненный оттенок.

В то время, когда князь Андрей Павлович вошел в гардеробную, стоявший Степан закашлялся.

Хриплый, стонущий кашель шел как бы из совершенно пустой груди и от его приступов тряслось все исхудалое тело несчастного пропойцы.

— Степан, ты ли это? — воскликнул князь.

Вместо ответа, Степан Сидоров повалился в ноги князю, продолжая оглашать комнату страшным кашлем и употребляя, видимо, все усилия прекратить его.

Андрей Павлович с выражением немого ужаса смотрел на своего бывшего верного слугу.

Степан, наконец, стал на коленях, кашлянул последний раз и отер губы рукавом халата.

Рукав оказался смоченным кровавой пеной, которая окрасила и часть бороды несчастного пропойцы.

Князь с невольным отвращением отвернулся, но пересилил себя и снова сказал:

— Степан, что с тобой? Как ты мог так опуститься?..

Тот безнадежно махнул рукой и на коленях ближе подполз к Андрею Павловичу.

— Не обо мне теперь речь, ваше сиятельство, мой конец близехонек, я скоро представу на суд Вечного Судьи, со всем моим окаянством... Покарал меня Господь по делам и за слугам... Так пришел я теперь сперва на суд к

вашему сиятельству, судите меня, простите меня и отпустите мне грех мой незамолимый...

Все это Степан произнес коснеющим, заплетающимся языком, видимо, с трудом собирая мысли и выговаривая слова.

— Что ты... что ты... за что мне судить тебя, в чем прощать, какой грех отпустить тебе я смею... я сам во многом грешен... Может грешнее тебя...

— Обманул с вас, ваше сиятельство, простите меня, окаянного... Бабья прелесть смутила... На капиталы польстился, бабу на них купил... Ох... горе мне... грешному...

— В чем ты обманул меня? — спросил князь, с сожалением выслушивая, как ему казалось, пьяный бред.

— Сын-то ваш, Володенька, жив... — сказал Степан.

— Что-о-о?.. — воскликнул Андрей Павлович и пошатнулся.

Еле сдерживаясь на ногах, он, шатаясь, дошел до стоявшего у одной из стен сундука и бессильно опустился на него.

XIV

«НАШ СЫН ЖИВ»

— **Ч**то ты за вздор болтаешь? — сказал князь Андрей Павлович Святозаров, несколько оправившись от услышанного им рокового известия.

— Не вздор, батюшка, ваше сиятельство, а истинную правду говорю, подлое свое окаянство как на духу все открываю, чувствую я, что помру не нынче-завтра, так не хочу в могилу сойти с тайной от вашего сиятельства...

Подробно рассказал Степан Сидоров свою последнюю поездку в Чижово, свой разговор с Дарьей Васильевной Потемкиной, ее ответ и преступную мысль при поездке туда удержать половину капитала, а по возвращении утаить все деньги, что и было им исполнено, путем выдуманного рассказа о смерти ребенка.

Это была полная, искренняя исповедь раскаявшегося грешника.

Степан затем перешел к описанию своей дальнейшей жизни, сватовства за Калисфе-

нией Мазараки.

— Она, она, весь соблазн от нее шел, точно отуманила меня, опутала, обвела, беспутная... — говорил Степан, прерывая свой рассказ всхлипываниями и тяжелыми передышками.

— Покарал меня Господь Бог в сыне моем, не дал мне, грешному, порадоваться, отозвал к себе ангела, отец которого душу свою черту продал... Ох, грехи, грехи незамолимые...

Приступ страшного кашля прервал голос Степана Сидорова.

Видимо, от сильного волнения и напряжения сил кровь хлынула из горла несчастного и он без чувств повалился на пол.

Князь Андрей Павлович сидел неподвижно и хотя, казалось, смотрел на своего бывшего камердинера и слушал его, на самом деле мысли его были далеко от лежавшего у его ног Степана, или лучше сказать, он не в силах был сосредоточиться на какой-нибудь определенной мысли. Они какими-то обрывками мелькали в его голове, не слагаясь ни в какую определенную форму.

Рассказ Сидорыча, из которого князь слы-

шал только ту часть, которая касалась доказательства, что его сын жив, казалось, вносил в голову князя еще большую путаницу.

Припадок кашля, хлынувшая кровь и наступившая затем тишина привели князя в себя.

Он как-то удивленно оглядел комнату, остановил вопросительно-недоумевающий взгляд на лежавшем у его ног, в грязи и крови Степане, медленно провел рукой по лбу, встал и неровной походкой, брезгливо обойдя Степана, вышел из гардеробной.

С соседней комнате его ожидал камердинер.

Князь отдал приказание отвезти Степана Сидорова в больницу и удалился в свой кабинет.

Не приказав сопровождающему его камердинеру себя беспокоить, князь заперся изнутри и бессильно опустился на кресло у письменного стола.

«Мой сын жив!..» — вот мысль, которая одна только и стояла в его уме, без всяких выводов и заключений.

Казалось, она заняла все мыслительные

способности князя.

Наконец, силою воли ему удалось сосредото-
точиться и вызвать мысль о последствиях, ко-
торые порождает для него это известие.

Это была роковая, губительная работа.

Когда перед князем Андреем Павловичем
восстала картина его будущего, он содрогнул-
ся и, схватившись обеими руками за голову,
бессильно упал на стул.

Его сын жив; но где он? Он в руках свет-
лейшего князя Григория Александровича По-
темкина, могущественного после государыни
лица в России, когда-то в молодости влюблен-
ного в его жену, княгиню Зинаиду Сергеевну.

То, что князь Потемкин несомненно при-
нял участие в отвергнутом отцом сыне люби-
мой им женщины, было для Андрея Павлови-
ча вне всякого сомнения.

Его мать, Дарья Васильевна, к которой са-
ма судьба привела исполнителя воли князя
Святозарова — Степана, и которая сделалась
его сообщницей, конечно, действовала по
указаниям сына.

Этим объясняется принятие первых денег
и отказ от вторых, от целого капитала в два-

дцать пять тысяч рублей.

Она успела в это время уже списаться с ним.

«Обратиться к ней!» — мелькнуло в голове князя, но он тотчас же отбросил эту мысль.

Она ответит ему то же, что ответила Степану во второй его приезд в Чижово.

Он вспомнил ее печально-загадочные взоры, бросаемые ею, при ее редких посещениях, на княгиню.

И эти посещения, — он теперь был убежден в этом, — совершаются по воле Григория Александровича, который сам никогда не переступал порог его дома и даже не сделал ему ответного визита приличия, который отдал всем.

Все мелочи, на которые он прежде не обращал никакого внимания, выросли теперь в глазах князя в веские предзнаменования грозного будущего.

Значит честь и доброе имя князя Святозарова находятся всецело в руках Потемкина.

При этой мысли Андрей Павлович заскрежетал зубами.

Он, как большинство придворной партии,

глубоко ненавидел светлейшего князя — выскочку, рагвену, как звали, конечно шепотом, Григория Александровича.

Почему же он медлит обличить его, князя Андрея Павловича, и возвратить ребенка когда-то любимой им женщине, княгине.

«Быть может, он сохранит эту тайну навсегда!» — пробежала в голове Андрея Павловича успокоительная мысль.

«Нет, он не таков, он, вероятно, готовит князю удар, удар публичный, он захочет позабавиться этим страшным приключением, этой роковой опрометчивостью князя... — тотчас и отвечал на нее Андрей Павлович. — Унизить князя Святозарова: сорвать с него маску высококонравленного человека в этот развращенный век, затоптать в грязь имя родовитого вельможи — это ли не победа развратника Потемкина, для выскочки — светлейшего князя римской империи».

Князь дико захохотал.

«А быть может он, этот его сын, умер не тогда, а потом...» — одну минуту подумал Андрей Павлович.

«Нет, он жив, жив... Он растет где-нибудь

под чужим именем... Потемкин знает где и не нынче-завтра выведет его публично перед отцом страшной, грозной, живой уликой».

Андрей Павлович затрепетал.

Что сын его жив, он был почему-то глубоко уверен.

«Где же выход из этого положения? Что делать? Что делать?» — ломал себе голову князь.

Он не находил в своем уме ответа на эти вопросы.

Выхода не было.

«Смерть!» — шепнул в ухо Андрея Павловича какой-то голос.

— Смерть! — повторил князь вслух и как-то вдруг весь успокоился..

Смерть в представлении Святозарова на самом деле была единственным и лучшим выходом.

Она разрушит все планы Потемкина.

Честь фамилии Святозаровых будет сохранена и это историческое имя перейдет незапятнанным к потомству, к его сыну Василию, и даже к этому, ко второму, если Потемкин возвратит его княгине. Не будет же он глу-

миться над когда-то любимой им женщиной и над самого себя наказавшим преступником, над мертвым?

Как ни было нелестно мнение князя Андрея Павловича о Григорие Александровиче, но он разрешил эти вопросы отрицательно.

«А, может быть, тогда он сам, при своем могуществе, выведет его в люди под другою фамилиею, и даже княгиня не будет знать гнусного поступка мужа... — думал Святозаров. — Нет, она должна знать... Тогда, когда он будет в могиле... Она простит... Она ангел...»

Князь Андрей Павлович зарыдал.

— Да, да... смерть... — повторил он, заставив себя успокоиться и движением головы сбрасывая с ресниц последние слезы, а быть может и отгоняя и иные мысли. — Это возмездие...

Ему пришли на память слова Христа, обращенные к апостолу Петру:

«Вложи меч в ножны. Поднявший меч, от меча и погибнет...» И он, князь — убийца Костогорова, должен стать самоубийцей. Таков божественный закон возмездия.

Князь встал с кресла, несколько раз прошелся по кабинету, повторяя:

— Да, да, смерть, смерть...

Он подошел к тому же шифоньеру и, вынув из кармана ключи, открыл тот же ящик, откуда около пятнадцати лет тому назад вынул пистолет, которым он убил мнимого любовника своей жены — Костогорова.

Пистолет был заменен новым.

Андрей Павлович тщательно зарядил его, затем запер ящик и положил ключи в карман.

С пистолетом в руках он возвратился к письменному столу и сел в кресло. Положив оружие, он достал два листа бумаги и начал писать.

Писал он недолго. Это были два письма. Он запечатал гербовую печатью и подписал адреса.

Затем он снова взял в руки пистолет и задумался. В его уме, видимо, происходила борьба между желанием жить и необходимостью умереть. Так, по крайней мере, можно было судить по его последним словам:

— Нет, смерть... только смерть!..

Он приложил дуло к виску. Прикосновение металла к телу заставило его вздрогнуть. Он почувствовал, что рука его трясется. Он отнял пистолет от виска и направил его в рот.

Блеснул огонек. Раздался выстрел. Князя Андрея Павловича Святозарова не стало.

Его туловище с раздробленной головой грузно упало на одну сторону кресла. Окровавленный мозг обрызгал кругом ковер и мебель.

Смерть была, конечно, моментальная.

В этот самый момент княгиня Зинаида Сергеевна, которой доложили о беседе с Степаном, об отправке последнего в больницу, и о том, что князь, после разговора со своим камердинером заперся в кабинете и не велел себя беспокоить, шла узнать у мужа, что случилось.

Она была уже в двух шагах от двери кабинета, когда раздался выстрел. Как подкошенная, княгиня упала без чувств на пол.

Сбежавшаяся прислуга бережно отнесла ее в спальню, и пока горничная приводила ее в чувство, камердинер и лакеи бросились к дверям кабинета. Они оказались запертыми.

Тотчас же было послано за полицией. Когда в ее присутствии двери были отперты следсарем, глазам вошедших представилась уже описанная нами ужасная картина.

Все судебно-полицейские формальности и даже панихиды — князь был признан лишившим себя жизни в помрачении ума — были совершены в отсутствии княгини Зинаиды Сергеевны, с которой то и дело происходили истерические припадки.

Она лежала у себя в спальне и почти ни на шаг не отпускала от себя сына, который, впрочем, присутствовал на одной панихиде. Мальчик был поражен смертью отца и плакал навзрыд.

Лишь ко дню похорон княгиня несколько оправилась и в слезах проводила своего мужа в место вечного его успокоения в фамильный склеп на кладбище Александро-Невской лавры.

С кладбища привезли ее домой снова без чувств.

Весть о самоубийстве князя Андрея Петровича Святозарова с быстротою молнии облетела Петербург и заняла на несколько дней

празднѣе умы столичнаго великосветскаго круга.

Высказывались предположения, делались сопоставления.

Припоминали историю самоубийства Костогорова и разрыва между супругами, продолжавшегося более года.

До истины, конечно, никто не додумался.

Григорий Александрович Потемкин при получении известия о самоубийстве князя Андрея Павловича, произнес только одно слово, непонятое никем из окружающих князя, кроме разве отчасти его матери.

Это слово было: «возмездие».

На письменном столе покойнаго князя Святозарова найдено было два запечатанных письма, на одном из которых стоял короткий адрес «полиции», а другое адресовано было на имя княгини Зинаиды Сергеевны.

В первом письме было только несколько строк.

«В смерти моей прошу никого не винить. Я застрелился сам. Князь Андрей Святозаров».

Только по прошествии шести недель, когда княгиня несколько успокоилась от по-

стигшего ее горя, ей решились отдать предсмертное письмо мужа.

В нем было всего две строки, но эти строки заставили несчастную женщину побледнеть как полотно и впиться в них жадными глазами.

В письме стояло:

*«Наш сын жив, прощай.
Твой Андрей Святозаров».*

«Что могло значить это письмо?» — вот вопрос, который возник в уме взволнованной княгини.

«Наш сын жив, — повторила она слова письма. — Ну, да, конечно, он жив, если он говорит о Васе. Но о ком же другом он мог говорить... Другого сына у меня не было... была дочь... она умерла... Что же это значит?..»

«Быть может Степан Сидоров, так как с ним последним говорил князь перед смертью, может что-нибудь разъяснит по этому поводу?» — подумала она.

Княгиня бережно спрятала письмо в потайной ящик своей шифоньерки и послала справиться в больницу о здоровье Степана

Сидорова.

Ей доставили справку, что он умер в день похорон князя Андрея Павловича.

Если в письме была тайна, то он унес ее в могилу. Княгиня долго ломала голову над тем, что могло означать это странное, короткое письмо.

— Покойный просто хотел сказать вам, что у вас есть сын, который будет служить утешением в безвременной утрате мужа, — заметила княгине одна из ее немногочисленных светских приятельниц, которой она доверила эту тайну.

Эта приятельница была умнейшая женщина описываемого времени времени — Дашкова.

Княгиня Зинаида Сергеевна успокоилась с этим объяснением.

ЖЕНЩИНА-ПРЕЗИДЕНТ

Упомянутая нами приятельница княгини Святозаровой княгиня Екатерина Романовна Дашкова является, как мы уже сказали, одной из выдающихся женщин Екатерининского времени и вполне заслуживает отдельной характеристики, хотя и играет в нашем повествовании второстепенную роль.

Дочь генерал-аншефа графа Романа Ларионовича Воронцова, она родилась в 1743 году, следовательно в момент нашего рассказа ей было под сорок лет.

Не выдающаяся красотой, она еще в ранней молодости обнаружила замечательный ум и живое воображение.

На пятнадцатом году она вышла замуж за молодого князя Дашкова, но брак этот не был счастлив.

При восшествии на престол императрицы Екатерины она оказала ей много важных услуг, за что и получила звание статс-дамы ордена святой Екатерины и пользовалась

некоторое время нежной дружбой государыни.

В описываемое нами время эти отношения ее ко двору были порваны, вследствие ее гордого и чересчур честолюбивого характера.

Она только временно наезжала в Петербург, и жила все время за границей, где занималась образованием своего единственного сына.

Во время катастрофы с князем Святозаровым, она только что прибыла из заграницы и, проведя в столице несколько месяцев, много способствовала смягчению тяжести обрушившегося на княгиню Зинаиду Сергеевну несчастья.

Екатерина Романовна уехала уже тогда, когда княгиня почти совершенно успокоилась.

— О, как мне жаль расставаться с тобой! — воскликнула княгиня Святозарова, прощаясь с Дашковой. — Если бы ты вернулась сюда совсем...

— Может быть... может быть... — утешила ее княгиня Екатерина Романовна.

Дашкова действительно вернулась совсем

через три года.

В то время княгиня Зинаида Сергеевна уже жила вся одною любовью к своему сыну Васе, молодому, блестящему гвардейскому офицеру.

Прошлое было забыто — время излечивает всякое горе.

С разъясненным Дашковой смыслом по-смертной записки мужа княгиня Зинаида Сергеевна согласилась совершенно, — она на самом деле нашла утешение в сыне, заставившее забыть ее безвременную и страшную кончину мужа.

В судьбе же княгини Екатерины Романовны произошел тоже поворот к лучшему.

Она снова вошла в милость у императрицы.

Наступил 1782 год.

Императрица, высоко ценя замечательные дарования и литературные труды Дашковой, решила назначить ее директором императорской академии наук.

На одном из придворных балов государыня высказала Екатерине Романовне это свое решение.

Княгиня была поражена необычностью для женщины такого назначения и не ответила ничего.

Императрица повторила ей свое предложение занять это место, причем отозвалась об ее трудах и дарованиях в самых лестных выражениях.

— Простите меня, ваше величество, — отвечала Екатерина Романовна, — но я не должна принимать на себя такой обязанности, которую не в состоянии исполнить.

— Почему же не в состоянии... Ах, я и забыла, ты ведь гордячка...

— Причем тут гордость, ваше величество?

— А разве ты забыла изречение: уничижение паче гордости...

— Тут этого нет, ваше величество, тут только есть искреннее сознание своей непригодности к такому ответственному посту...

— Пустяки, я тебя знаю лучше, чем ты сама, и надеюсь на тебя более, чем на себя...

— Назначьте меня директором над прачками, ваше величество, — заметила серьезно княгиня Дашкова, — и вы увидите, с какою ревностью я буду вам служить. Я не посвяще-

на в тайны этого ремесла, но ошибка, могущая произойти от этого, ничего не значит в сравнении с теми вредными последствиями, которые повлечет за собою каждый промах, сделанный директором академии наук...

— Повторяю, пустяки... Сколько директоров академии наук были гораздо менее способными и достойными занимать эту должность, чем ты.

— Тем хуже для этих господ, — возразила Екатерина Романовна, — они так мало уважали самих себя, что взялись за дело, которое выполнить не могли...

— Хорошо, хорошо, — сказала императрица, — оставим теперь этот разговор; впрочем, твой отказ еще больше убедил меня, что лучшего выбора я не могла сделать.

Княгиня, сильно взволнованная, едва дождавшись окончания бала, поспешила домой и тотчас же села писать императрице.

Надеясь на великодушные государыни, Екатерина Романовна в своей записке высказала, между прочим, следующие мысли:

«Частная жизнь коронованной особы может и не появляться на страницах истории;

но такой небывалый еще выбор лица для государственной должности непременно подвергнет ее осуждению: сама природа, сотворив княгиню женщиной, в то же время отказала ей в возможности сделаться директором академии наук. Чувствуя свою неспособность, она сама не захочет быть членом какого-либо ученого общества, даже и в Риме, где можно приобрести это достоинство за несколько дукатов».

Пробило полночь, когда записка была готова.

Императрицу, конечно, нельзя было тревожить в такое позднее время, но Екатерина Романовна нашла невозможным провести ночь в таком несносном положении, и отправилась к Григорию Александровичу Потемкину, у которого никогда прежде не бывала.

Князь был в постели, но княгиня настойчиво потребовала, чтобы ему о ней доложили, так как она приехала по неотложно важному делу.

Григорий Александрович встал, оделся и очень любезно принял неожиданную гостью.

Екатерина Романовна передала ему свой

разговор с императрицей.

— Я уже слышал об этом от ее величества, — сказал Потемкин, — и знаю хорошо ее намерение. Она решила непременно поставить академию наук под ваше руководство.

— Принять на себя такую должность, — перебила княгиня, — значило бы с моей стороны поступить против совести. Вот письмо к ее величеству, заключающее в себе решительный отказ. Прочтите, князь, я хочу потом запечатать его и передать в ваши руки с тем, чтобы завтра по утру вы вручили его государыне.

Григорий Александрович пробежал бумагу и, не отвечая ни слова, разорвал ее на мелкие куски. Екатерина Романовна вспыхнула.

— Это уж слишком, ваша светлость! Как осмелились вы разорвать письмо, адресованное на высочайшее имя.

— Успокойтесь, княгиня, — сказал светлейший, — и выслушайте меня. Никто не сомневается в вашей преданности императрице. Почему же вы хотите огорчить ее и заставить отказаться от плана, которым она исключительно и с любовью занимается в последнее

время. Если вы непременно хотите остаться при своем намерении, в таком случае, вот перо, бумага и чернила, — описываемый разговор происходил в кабинете князя, — напишите тоже самое еще раз. Но, поверьте мне, поступая против вашего желания, я, однако, действую как человек, который заботится о ваших интересах. Скажу более, ее величество, предлагая вам эту должность, может быть иметь ввиду удержать вас в Петербурге и доставить повод к более частым и непосредственным сношениям с нею.

Григорий Александрович сумел искусно затронуть самолюбие Екатерины Романовны.

Она обещала написать более умеренное письмо и прислать его со своим камердинером к князю, который дал слово на следующее утро передать его государыне.

Вернувшись домой, княгиня Дашкова снова принялась за письмо.

Оно было готово к шести часам утра и отправлено к Потемкину.

В то же утро княгиня получила чрезвычайно любезную записку императрицы и копию с указа, уже посланного в сенат, о назначении

ее директором академии наук.

Выбор императрицы оказался на самом деле чрезвычайно удачным.

Екатерина Романовна Дашкова много сделала для русской науки, писала оригинальные и переводные статьи и издавала в 1783 году журнал под названием «Собеседник любителей русского слова».

Вскоре после назначения директором академии наук, княгиня Дашкова выработала план российской академии, энергично принялась за ее устройство и сделана была ее президентом.

Такова была чуть ли не единственная приятельница княгини Святозаровой.

Дружба между Святозаровой и Дашковой объяснялась сходством характеров обеих женщин.

Княгиня Зинаида Сергеевна в лице Дашковой преклонялась перед своим идеалом гордой, самостоятельной женщины, а Екатерина Романовна видела в ней друга, с полуслова понимающего ее взгляды и мнения.

Екатерина Романовна отдыхала душой около княгини Зинаиды Сергеевны, и за это

платила ей сердечным сочувствием.

Княгиня же Святозарова нашла в Дашковой друга, которому открыла свою наболевшую душу.

Она рассказала ей всю свою жизнь, не скрывая ничего.

Княгине Дашковой были известны и юношеский роман ее подруги с Потемкиным, гнусная интрига графини Переметьевой, убийство Костогорова, разрыв с мужем, рождение ребенка — девочки и примирение.

Рассказ Зинаиды Сергеевны о ее сближении, во время жизни в Несвицком, с Дарьей Васильевной Потемкиной, редкое посещение ею княгини здесь и постоянное о ней со стороны старухи, казалось бы, прежде беспричинное соболезование, не вызываемое в таком мере рождением мертвого ребенка, — так, по крайней мере, думала Екатерина Романовна, — давали последней в руки нить к некоторому разъяснению мучившего ее вопроса, и она ухватилась за эту нить, поистине ариаднину, которая, быть может, была способна вывести ее из лабиринта тайны, которая окружала прошлое княгини Зинаиды Сер-

геевны.

Дашкова воспользовалась первым удобным случаем и сделала визит Дарье Васильевне Потемкиной.

Конечно, не с первого слова заговорила она с последней о княгине Святозаровой и ее жизни в Смоленской губернии.

С присущим ей умом и тактом, стороной, осторожно, старалась Екатерина Романовна выпытать у Потемкиной все, что та знает о рождении Зинаидой Сергеевной мертвой дочери.

Но в данном случае можно было к обеим дамам всецело применить пословицу: «Нашла коса на камень».

Осторожная Дарья Васильевна отделалась ничего не говорящими, короткими ответами.

Дашкова от нее так ничего и не добилась.

Она вынесла только из этого разговора впечатление, что тайна, на самом деле существует, и что Дарья Васильевна посвящена в нее.

Разъяснение этой тайны для Дашковой предстояло в будущем.

XVI

ПЛЕМЯННИЦЫ

Занятый осуществлением своих колоссальных проектов и разрешением государственных дел выдающейся важности и бесчисленными романтическими интригами, светлейший князь Григорий Александрович не забывал заботиться и об устройстве судьбы своих племянниц — сестер Энгельгардт.

Мы оставили их балованными, «нагуливающими тело» девушками, жившими вместе со своею бабушкою, Дарьей Васильевной Потемкиной, в роскошном помещении Аничковского дворца.

Три из них, Александра, Варвара и Надежда, были уже взрослыми девушками, когда, по вызову дяди, прибыли в Петербург, лишь младшей, Кате, шел в то время двенадцатый год.

Робко и недоверчиво смотрела провинциальная дикарка на живую, пышную обстановку и не скоро свыклась с тем положением, в котором она так неожиданно очутилась.

За прошедший десяток лет многое изменилось.

Старшая, Александра, и вторая, Варвара, за это время вышли замуж, первая — за графа Ксаверия Браницкого, а Варвара Васильевна — за князя Голицына.

Катя выросла и своей красотой затмила всех своих сестер. В 1781 году и она, как ее сестры, была назначена фрейлиной.

Махнув пока рукой на третью свою племянницу, «Надежду-безнадежную», Григорий Александрович позаботился найти поскорее жениха распустившейся, подобно роскошному цветку, красавице-Кате.

Пример девической жизни трех старших племянниц заставил, даже неотличающегося особенно строгими правилами, князя торопиться.

Достойный жених был найден.

Это был граф Павел Мартынович Скавронский.

Потомок Карла Скавронского, латыша-крестьянина, родного брата императрицы Екатерины I, в девицах Марты Скавронской, имел в гербе три розы, напоминавшие о трех сестрах

Скавронских, «жаворонок», по-латышски — «skawronek», так как от этого слова произошла их фамилия, и двуглавые русские орлы, в данном случае, не только по правилам геральдики, свидетельствовавшие об особенном благоволении государя к подданному, но и заявившие о родстве Скавронских с императорским домом.

Сын графа Мартына Карловича Скавронского, генерал-аншефа, обергофмейстера и андреевского кавалера времен Елизаветы, и баронессы Марии Николаевны Строгановой, богатейшей женщины тогдашней России, граф Павел Мартынович от отца и матери получил два громадных миллионных состояния.

Молодой Скавронский был уже по рождению и богат и знатен.

В младенчестве его пеленали андреевскими лентами с плеча императрицы, в детстве и юности тщательно воспитывали, по обычаю того времени, под руководством иностранцев-гувернеров, и из него вышел блестящий молодой человек, в котором никто бы не мог узнать родного внука латышского крестьянина.

Природа, впрочем, не наделила его особенным умом. В нем была только одна неудержимая страсть к вокальной музыке.

Он воображал себя выдающимся певцом, прекрасным музыкантом и талантливым композитором.

С годами эта страсть развивалась все сильнее и наконец перешла в чудачество, близкое к помешательству.

Находя оценку своим музыкальным дарованиям со стороны соотечественников недостаточною, граф решился надолго покинуть свое неблагодарное отечество и поехал искать себе известность и славу певца и музыканта за границу.

Оставшись двадцати двух лет от роду полным распорядителем богатств своих родителей, граф Павел Мартынович начал свое артистическое турне по Италии, этой стране красоты и мелодии, по преимуществу.

Жажда к артистической славе усилилась там у него еще более.

Живя поочередно то в Милане, то во Флоренции, то в Венеции, граф Скавронский был окружен певцами и музыкантами, жившими

на его счет буквально «припеваючи».

Он то и дело сочинял разные музыкальные пьесы и даже оперы, и тратя большие деньги, ставил последние на сценах главных итальянских городов.

Произведения эти оказывались ниже всякой критики.

В числе лиц, неразлучных с графом в его музыкально-артистических странствованиях по Италии, был и Дмитрий Александрович Гурьев, впоследствии министр финансов и граф, человек «одворянившегося при Петре Великом купецкого рода».

Он был сметлив, расторопен и пронырлив, и на свое счастье не имел музыкального слуха.

Он совершенно спокойно мог переносить бой барабана, гром литавр, звуки труб, визг скрипок, завывание виолончели, свист флейт, вой валторн и рев контрабасов, хотя бы все это в сочетании Скавронского производило невозможную какофонию.

То приятно осклабясь, то выражая на своем лице чувство радости, горя, восторга, безнадежности, словом то, что домогалась произ-

вести на слушателя музыка сиятельного композитора, Гурьев с напряженным, ненасытным, казалось, вниманием выслушивал длиннейшие произведения графа.

Павел Мартынович платил за это слушателю, способному понимать музыкальные красоты, беспредельными любовью, привязанностью и доверием.

Пользуясь этим, Гурьев не безвыгодно для себя управлял всеми делами незнавшего счета деньгам молодого богача.

Музыка таким образом приносила ему изрядный доход.

Проведя в Италии пять лет, Скавронский вернулся, наконец, в Россию.

Ему шел двадцать восьмой год.

До императрицы Екатерины доходили слухи об артистических чудачествах молодого графа за границей, но государыня не видела в этом ничего предосудительного, а напротив, была довольна тем, что граф тратил свои деньги в чужих краях не на разврат, картежную игру и разные грубые проделки, чем отличались другие русские туристы, давая иностранцам плохое понятие о нравственном и

умственном развитии русских аристократов.

По возвращении Скавронского в Петербург, он стал считаться самым завидным женихом.

Маменьки, тетушки, бабушки наперебой старались выдать за него своих дочерей, племянниц и внучек, но Павел Мартынович, влюбленный по-прежнему в музыку, и не думал о женитьбе.

Выбор князя Потемкина, искавшего мужа для своей младшей племянницы, Екатерины Васильевны Энгельгардт, пал тоже на графа Скавронского.

Помощником светлейшего в этом деле явился расторопный Дмитрий Александрович Гурьев, имевший неотразимое влияние на графа и желавший подслужиться могущественному вельможе.

Он ловко взялся за дело и свадьба вскоре была решена.

Граф Павел Мартынович вдруг изменил музыке и без ума влюбился в красавицу невесту.

Он был до такой степени доволен этим браком, что за устройство его подарил сва-

ту — Гурьеву, «в знак памяти и дружбы», три тысячи душ крестьян.

Свадьба состоялась в ноябре 1781 года, и была отпразднована с необычайным торжеством.

Весь избранный придворный круг присутствовал на ней.

После свадьбы, в Зимнем дворце состоялся блестящий бал и ужин, в присутствии императрицы.

Жених приехал к венцу в карете, украшенной снаружи стразами, стоившей десять тысяч рублей.

После свадьбы начался ряд роскошных пиров в Апраксинском дворце.

Молодые поселились в собственном доме графа Скавронского на Миллионной.

Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин был тоже со своей стороны очень доволен браком своей любимой племянницы.

Он баловал ее особенно перед другими сестрами.

Баловство это продолжалось и после замужества.

Екатерина Васильевна тоже очень любила дядю и часто проводила у него в кабинете и уборной целые часы, особенно когда на светлейшего находила хандра.

Прошло три года со дня замужества Екатерины Васильевны.

Однажды она вошла в уборную Григория Александровича, жившего в Зимнем дворце под комнатами, занимаемыми императрицей.

На туалетном столе она увидела портрет императрицы, осыпанный бриллиантами.

Портрет этот князь носил постоянно в петлице своего кафтана.

Взяв в руки портрет и стоя перед зеркалом, Скавронская шутя пришила его к корсажу своего платья.

— Иди, Катя, наверх к императрице и поблагодари ее! — крикнул совершенно неожиданно для Екатерины Васильевны лежавший на диване и хандривший Потемкин.

Скавронская удивленно вопросительным взглядом уставилась на дядю и торопливо стала отшливливать портрет государыни.

— Нет, нет, не снимай его, а так с ним и

ступай! — еще громче крикнул Григорий Александрович.

Лениво приподнявшись, он взял лежавший перед ним карандаш и лоскуток бумаги, на котором и написал несколько слов.

— Ступай с этой запиской к государыне и поблагодари ее за то, что она пожаловала тебя в статс-дамы.

— Что вы, дядя, не надо, я пошутила... — торопливо заговорила Екатерина Васильевна.

— Иди, иди, я не шучу... — прикрикнул Потемкин. Скавронская, видя его раздражение, волей-неволей должна была повиноваться.

Смущенная предстала она перед императрицей и подала ей записку князя.

С недовольным лицом, с нахмуренными бровями прочла государыня эту записку, и несмотря на свое искусство притворяться и быть любезной, не смогла на этот раз скрыть своего неудовольствия.

Не желая, впрочем, отказать Потемкину в его просьбе, она на обороте той же записки написала ему ответ, в котором уведомила его, что исполнила его желание и сделала его двадцатилетнюю племянницу статс-дамою.

В эти дни царствования Екатерины пожалование этого высокого звания было чрезвычайно редко, а для такой молодой женщины звание статс-дамы было положительно необычным отличием.

Начались толки и пересуды. Новую счастливницу начали встречать завистливыми взглядами. Екатерина Васильевна, не любившая ни интриг, ни сплетен, была очень рада оставить двор, когда вскоре после этого ее муж получил место посланника в Неаполь.

Вот до чего доходило баловство Потемкиным своей молодой племянницы.

С любовью относился князь и к другим своим племянницам, а в особенности к Варваре Васильевне, по мужу княгине Голицыной. Сохранилась переписка между дядей и этой племянницей, где попадаются выражения вроде «губки сладкие» и «улыбочка моя милая».

Но эти «сладкие губки» и «милая улыбка» тянули за каждую свою ласку и деньгами, и подарками, и надоедливymi просьбами о покровительстве родным и поклонникам.

Племянницы князя, за исключением Ека-

терины Васильевны, как жадная стая набрасывались на подряды, рекомендовали могущественному дяде подрядчиков и срывали с последних громадные куртажи. Светлейший видел все это, но имел слабость смотреть на действия «девчонок», как он продолжал называть даже уже замужних своих племянниц, сквозь пальцы.

Этим и объясняется более сильная привязанность Григория Александровича к скромной, далеко не алчной и не надоедавшей своими просьбами Екатерины Васильевны Скавронской.

Следует отметить, как одну несимпатичную черту племянниц светлейшего то обстоятельство, что они как бы совершенно забыли, упоенные роскошью и счастьем, о бедном мальчике-сироте Володе Петровском, товарище их детских игр во время их скромной жизни в Смоленске.

По крайней мере, даже имя его никогда не упоминалось.

Таков был нравственный облик этих пресловутых племянниц знаменитого дяди. Строго судить их, впрочем, нельзя — они были до-

чери своего века.

XVII

СТРАСТЬ СКАЗАЛАСЬ

На Васильевском острове, в роскошной золотой клетке, устроенной Григорием Александровичем Потемкиным для своей «жар-птицы», как шутя называл князь Калисфению Николаевну, тянулась за эти годы совершенно иная, своеобразная жизнь.

Полная беззаботность, окружающее довольство, возможность исполнения всех мимолетных желаний и капризов, почти царская роскошь — все эти условия жизни молодой женщины, казалось, должны бы сделать ее совершенно счастливой.

Так, по крайней мере, думал ее светлейший покровитель.

Калисфения Николаевна действительно развилась за эти года и была гораздо красивее своей матери, когда та была в ее летах.

Читатели, вероятно, не забыли нарисованный нами ее очаровательный портрет в начале нашего правдивого повествования, а, меж-

ду тем, этот портрет относится к более позднему времени.

В описываемые же нами годы она стала еще свежее, еще обольстительнее.

Была ли, однако, на самом деле счастлива Калисфения Николаевна?

Она и сама не могла решить совершенно утвердительно этого вопроса.

Порою она чувствовала себя в таком состоянии, которому она не могла ни подыскать названия, ни объяснить его причины.

Ее вдруг снедала такая безотчетная грусть, что ей до нельзя опротивело все окружающее, ей хотелось куда-то бежать, бежать без оглядки, но куда и зачем — на эти вопросы она не была в состоянии дать ответ.

Первый такой припадок грусти случился с молодой женщиной года через два после переселения ее на Васильевский остров.

Калисфения Фемистокловна страшно беспокоилась.

— Что с тобой, Каля, что с тобой? — в необычайном волнении спросила она у плачущей дочери.

— Мне скучно, мама, скучно...

— С чего же тебе, дурочка, скучно... кажись все у тебя есть, и наряды, и золото, и лакомства, разве только птичьего молока не достать...

— Не знаю сама с чего, а только скучно, скучно...

Молодая женщина зарыдала.

— Перестань, перестань, глаза испортишь, разве можно плакать, от слез глаза выцветают, уж я с твоим отцом в молодости и горе видала, да и то не плакала, боялась...

— Чего? — сквозь слезы спросила дочь.

— А вот того, что глаза выцветут...

— И пусть выцветут...

— Что ты, что ты, в уме ли!.. Тогда его светлость на тебя и не взглянет...

— И пусть не глядит... Противен и он мне, так противен... и все... и все...

— Щщш... — замахала на нее руками Калифения Фемистокловна и боязливо стала оглядываться по сторонам, несмотря на то, что они были только вдвоем с дочерью в будуаре последней. — Неровен час, кто услышит...

— И пусть слышит, я сама ему скажу, не поцеремонюсь...

— Ошалела совсем! — только махнула рукой мать и пошла к двери.

Дочь закрыла лицо руками и откинулась на спинку удобного кресла.

— Скучно, скучно! — снова простонала она и затопала ногами.

Калисфения Фемистокловна остановилась у двери, раскрыла было рот, чтобы что-то сказать, но не сказала, а только покачала головой и вышла из комнаты, плотно притворив за собою дверь.

Она поняла.

Для нее, испытанной в деле страсти женщины, стало вдруг совершенно ясно состояние ее дочери.

Разменивавшийся на множество любовных приключений, Потемкин не мог дать ей того, что требовала ее страстная животная натура, унаследованная ею от матери, всосанная вместе с ее молоком, развитая этою же матерью чуть ли не с самого раннего периода зрелости девочки-подростка и подогретая праздностью и окружающей ее негой.

«Ей надо развлечься!» — решила Калисфения Фемистокловна, весьма своеобразно, как

мы увидим впоследствии, понимавшая последнее слово.

Надо заметить, что несмотря на замкнутость жизни молодой Калисфении, ее мать, все еще мечтавшая о победах над мужскими сердцами, имела обширный круг знакомств среди блестящей молодежи Петербурга.

Стареющая красавица нельзя сказать, чтобы совершенно не понимала, что расточаемые ей любезности и подносимые подарки были направлены по адресу «потемкинской затворницы», но все же эти ухаживания приятно щекотали ее женское самолюбие, а между молодыми поклонниками Калисфении Николаевны находились и такие, которые в деле задабривания маменьки шли дальше ухаживанья, подарков и траты денег.

Калисфения Фемистокловна, хотя и за счет своей дочери, но все же, как она выражалась, «еще жила».

Она старалась откинуть эту мысль, что ее подкупают даже ласками и зачастую ей вполне удавался этот самообман.

Покровительствовать интрижкам своей дочери с ее поклонниками она и не помыш-

ляла, хотя и подавала им неясные надежда, так как это для нее выгодно.

Кованная шкатулка снова начала отпираться довольно часто.

Если она воздерживалась от осуществления подаваемых ею надежд поклонникам дочери, хотя это осуществление рисовало ей еще большую, чем теперь, прибыль, то она делала это исключительно из боязни светлейшего.

Григория Александровича она боялась как огня.

Заметив и поняв непонятную для самой ее дочери находившуюся на нее беспричинную тоску, Калисфения Фемистокловна серьезно задумалась.

«Тоскует, мечется, сама не знает чего хочет! — соображала она. — Знаем мы эту тоску, сами в молодости тосковали... Не углядишь за молодой бабой, бросится на шею какому-нибудь первому встречному, ни ей корысти, ни мне прибыли, да и влопается перед светлейшим, как кур во щи... Сживет со свету тогда он и ее, и меня... Много ли нам перед ним надо... Давнул пальцем и только мокренько бу-

дет...»

Так рассуждала сама с собой, сидя в своей комнате, на отведенной ей отдельной половине дома, старая куртизанка.

Мысль, что светлейший давнет пальцем, заставила, ее задрожать.

Несколько успокоившись, она снова начала обсуждать вопрос, и мысли, вроде того, что «за бабой не усмотришь», что она одна попадетя «как кур во щи», снова еще с большей настойчивостью посетили ее голову.

Приходилось принимать риск на себя, то есть начать покровительствовать интригам пылкой дочери, но делать это так, чтобы не только светлейший, но даже комар не подточил носа.

Она была в положении азартного по природе игрока, ставящего на карту все свое состояние и даже порою честь и жизнь.

Говорят и в этом есть своя прелесть.

Калисфения же Фемистокловна, по своей натуре, была азартным игроком.

Можно быть им, никогда не брав в руки карт.

Жизнь — есть также только колоссальное

зеленое поле, где судьба мечет банк и люди понтируют.

«Смелость города берет» — говорит русская пословица, а эта смелость не есть ли жизненный азарт.

Калисфения Фемистокловна окончательно решилась.

Она стала постепенно готовить дочь к измене своему покровителю.

Она не встретила со стороны последней отпора.

Восприимчивая для такого семени почва была подготовлена самой Калисфенией Фемистокловной.

Она, кроме того, угадала причину болезни своей дочери.

В молодой женщине действительно сказалась страсть.

Осторожно, под покровом величайшей тайны, начались устраиваемые матерью свиданья с избранными поклонниками ее дочери.

Опасность и тайна придавали им особую прелесть.

Пришлось иметь преданных, хорошо опла-

чиваемых слуг, но этот расход был ничтожен сравнительно с приходом.

Кованная шкатулка Калисфении Фемистокловны наполнялась.

Чтобы быть справедливым, надо заметить, что Калисфения Николаевна не была посвящена матерью в финансовую сторону доставляемых ей ее «доброй маменькой» развлечений.

Получаемые ею подарки она, конечно, считала лишь знаками внимания и выражением чувств своих счастливых избранников.

С искусством опытной куртизанки Калисфения Фемистокловна не давала дочери привязаться ни к одному из ее обожателей.

Шли годы.

Потемкин находился в полном неведении относительно поведения своей «жар-птицы».

Одним из последних рекомендованных и покровительствуемых Калисфенией Фемистокловной обожателей дочери был высокий, статный красавец, секунд-майор Василий Романович Щегловский.

Жизнь его была полна приключений, сделавших его имя окруженным ореолом героя.

Он вступил в военную службу солдатом при императрице Елизавете, участвовал в походе в семилетнюю войну и находился при штурме Бендер в армии графа Панина.

В 1777 году, во время похода в Судакских горах, был ранен в шею и в голову стрелой и в руку кинжалом. Обессиленный от потери крови, он упал и был взят в плен турками.

В плену он находился четыре года, до заключения мира.

Обласканный императрицей Екатериной, он сделался, по возвращению из плена, кумиром дам высшего петербургского света.

Ловкий танцор, он однажды на придворном балу, в присутствии государыни, переменил в малороссийской мазурке четыре дамы.

Императрица, восхищенная его ловкостью и грацией, рукоплескала и наградила ловкого танцора после бала золотой табакеркою.

Василий Романович был большой приятель Семена Гавриловича Зорича, любимца императрицы Екатерины.

Они были оба товарищами по службе и оба молодыми и оба красавцами и почти одновременно были взяты в плен турками.

Храбрый майор Зорич был в тех же Судакских горах окружен неприятелем, храбро защищался, но когда увидел, что надо сдаться, закричал:

«Я капитан-паша!»

Капитан-паша по-турецки полный генерал. Зорича отвезли к султану в Константинополь.

Его важный вид, осанка, разговор — все побудило султана отличить его и даже предложить перейти в турецкую службу, впрочем, с тем, чтобы он переменял веру.

Семен Гаврилович отказался, несмотря ни на какие угрозы, ни на пышные обещания.

Когда политические обстоятельства переменились, султан, пожелав склонить императрицу к миру, согласился на размен плененных и в письме поздравил государыню, что она имеет такого храброго генерала, как Зорич, который отверг все его предложения.

Государыня приказала справиться, и по справкам ей было доложено, что никакого генерала Зорича не было взято в плен, а взят майор Зорич.

Возвращенный в Петербург, Семен Гаври-

лович был представлен императрице.

— Вы майор Зорич? — спросила Екатерина.
на.

— Я, ваше величество, — отвечал он.

— С чего же вы назвались русским капитан-пашею, ведь это полный генерал?

— Виноват, ваше величество, для спасения жизни своей и чтобы иметь счастье служить вашему величеству.

— Будьте же вы генералом, — сказала императрица, — турецкий султан хвалил вас, и я не сниму с вас чина, который вы себе дали и заслужили.

И майор был сделан генералом.

В описываемое нами время он жил в своем роскошном имении в Шклове.

Василий Романович Щегловский жуировал в Петербурге один.

Увлечшись «потемкинской затворницей», он добился ее взаимности, не жалея золота для матери «жар-птицы».

XVIII

В МОНАСТЫРЬ

Связь Калисфении Николаевны с майором Щегловским носила несколько иной характер, нежели ее мимолетные интрижки с другими.

Молодая женщина впервые увлеклась своим любовником, и увлеклась серьезно.

Происходило это, быть может, от их совершенно противоположных взглядов на жизнь и характеров.

Крайности, говорят французы, сходятся.

Калисфения Николаевна и Щегловский были несомненные крайности.

Он был образованный, начитанный идеалист, она — невоспитанная, полуобразованная, дитя природы, почти дикарка, обворожительная, полная неги восточная женщина.

Она жадно вслушивалась в его речи.

Он открывал ей новый мир, иной, нежели рисовала ей ее мать.

— Верите ли вы в любовь? — раз спросила она.

— Слышать от прелестнейшей из женщин такой вопрос по меньшей мере странно.

— Это любезность, а я хочу слышать прямой ответ.

— Тогда я спрошу вас в свою очередь, что вы понимаете под словом «верить в любовь»?

— Ну, может быть я не так выразилась, словом, я хочу знать, что вы думаете о любви?

— То, что думал Эзоп о языке, что есть худшего... — отвечал Василий Романович.

— Вы все шутите...

— Нисколько... Я говорю совершенно серьезно... Любовь есть все, что есть в мире великого, благородного, прекрасного, самого сладкого, самого сильного, словом самого лучшего, если она искренняя, полная, то есть заключает в себе все чувства, из которых состоит и без которых не может существовать: доверие, уважение, безграничная преданность, доходящая до жертв и до самопожертвования.

— О, как хорошо вы это говорите! — воскликнула Калисфения Николаевна.

— А с другой стороны, любовь есть все, что есть лживого, низкого, презренного, то есть

все, что есть худшего, если она служит для удовлетворения грубого инстинкта и проходящего каприза. Первая дает высшее счастье, которое лестно испытать на земле, а вторая оставляет разочарование, презрение, отвращение и горькие сожаления. Одна внушает великие мысли, другая дурные, низкие помыслы.

— Я в первый раз слышу такое прекрасное определение любви! — наивно воскликнула Калисфения Николаевна.

Действительно, в жизненной школе своей матери она не могла услышать его.

Василий Романович посмотрел на нее с восторженным сожалением, но молчал.

— Отчего же не все понимают так, как вы, это прекрасное, возвышенное чувство... Отчего я не слыхала ни от кого такого чудного определения любви... Ужели все люди созданы для низменной любви...

— Увы, времена героев навсегда миновали, — отвечал Щегловский, — поэзия медленно умирает, как сломленный бурей роскошный цветок, вера в людях поколеблена, материализм торжествует всюду. Остались, без со-

мнения, и останутся и в будущем единичные личности, люди, преданные заветам прошлого, культу величайшей из религии, религии любви, но число таких отсталых, как принято называть их, людей уменьшается день ото дня. Скоро они будут так редки, как допотопные ископаемые. В наше время любовь — только удовольствие. Она подошла под вторую часть определения Эзопа: все, что есть худшее...

Василий Романович засмеялся.

— Вы смеетесь? — удивленно спросила его молодая женщина.

— Я действую в этом случае по методу Бомарше: он всегда спешил смеяться, чтобы не заплакать... Я думаю, что все-таки следует прикрывать легким газом печальную действительность...

Эти и подобные речи своеобразного поклонника увлекали молодую женщину, открывая ей совершенно новый мир, она пресытилась уже лекарством, прописанным ей ее матерью, ей хотелось новых, неизвестных ощущений.

Она нашла их в связи с Щегловским, связи,

подбитой им подкладкой романтизма, самоотверженной, идеальной любви, не мешавшей стремиться к ее «апофеозу», как называл идеалист Щегловский близость к любимой женщине.

Калисфения Фемистокловна не присутствовала при этих разговорах дочери с Василием Романовичем, иначе бы она чутко угадала опасность от такого восторженного, или, как бы она назвала его, «шалого» человека.

Опасность действительно была и вскоре оказались ее печальные результаты.

Влюбленный по уши в Калисфению Николаевну, Щегловский, не охлажденный даже близостью к ней, был болтлив, как все влюбленные.

Его восторженные отзывы о «потемкинской затворнице» возбудили над ним насмешки товарищей и дали пищу злым языком.

Сплетни о влюбленном в «прекрасную гречанку» майоре дошли до приближенных князя Потемкина и эти последние не замедлили довести их до сведения светлейшего.

На последнего это известие не произвело,

по-видимому, особенного впечатления. При его взгляде на женщин, верность не считалась им в числе их прелестей. Качества женщины, по мнению Григория Александровича, заключались только в этих прелестях — женских же добродетелей он не признавал совершенно.

Хорошо понимая человеческую натуру, он и не ожидал, чтобы полная жизни и сил красавица Калисфения могла довольствоваться его редкими ласками, но с другой стороны, он был твердо уверен, что она изменила ему не по собственной инициативе, так как сделала бы это менее умело, что во всей открывавшейся перед ним путем наведенных справок закулисной жизни его любовницы видна опытная рука куртизанки — ее матери.

Адъютант Баур, наводивший, по поручению светлейшего, эти справки, представил ему обстоятельный доклад именно в этом освещении.

Он даже разузнал и о заветной кованной шкатулке.

— Хорошо, я справлюсь с этой гадиной... — сказал Григорий Александрович, нахмутив

брови.

Мысль его перенеслась на его последнего соперника, майора Щегловского.

Для Потемкина были почти безразличны интриги «жар-птицы» с неизвестными молодыми офицерами и петербургскими блазнями, как тогда называли франтов, и он, повторяем, считал их даже естественными для молодой женщины, но красавец-майор Щегловский, известный государыне и пользующий ее благоволением, был уже, пожалуй, настоящим соперником.

Хвастающийся своею близостью к любовнице князя, он делал его уже смешным в глазах света, тогда как те, другие, пользуясь взаимностью Калисфении Николаевны, крали только крохи, падающие от стола господ, не смея заикнуться об этом, боясь гнева его, светлейшего.

Соперничество с Щегловским подняло целую бурю оскорбленного самолюбия князя Потемкина.

Он, конечно, мог уничтожить его одним взмахом пера, мог отправить в крепость, где и оставить на всю жизнь — все это было в его

власти.

Но теперь это имело бы вид устранения соперника, то есть признания его опасным, а это значило бы подлить масла в огонь светской насмешки.

Надо было действовать иначе.

Григорий Александрович подумал с минуты, ходя по-своему кабинету, затем подошел к письменному столу и написал на бумаге несколько строк.

Это было поручение секунд-майору Щегловскому немедленно отбыть в Таврическую губернию, для принятия участия в начавшихся там приготовлениях к приезду государыни.

Поручение было более чем лестно, но, между тем, удаляло от Петербурга и от Калисфении Николаевны влюбленного и болтливого майора.

Ввиду спешного дела, на сбор командированному было дано всего двадцать четыре часа времени.

Объявить эту милостивую волю светлейшего к Василию Романовичу был послан один из адъютантов Потемкина, которому было строго наказано не позволять иметь Щеглов-

скому ни с кем секретных сношений, а искусно провести с ним эти назначенные для сборов сутки, оказывая всякую помощь.

Щегловский понял, что кроется под этим поручением, и был рад, что отделается лишь временным удалением из Петербурга, да еще с таким лестным поручением.

Не можем скрыть, что при роковой догадке, что светлейшему все известно, любовь майора к прекрасной «гречанке» сильно уменьшилась.

Своя рубашка ближе к телу даже идеалиста.

— Заслужу уж я его светлости, за милость, — думал Василий Романович. — Ведь захотел бы, мог в казенном сгноить, где на него найдешь управу...

С этой-то надеждой «заслужить» выехал Щегловский на другой день к вечеру из Петербурга.

Адъютант Потемкина простился с ним за городской заставой, пожелав счастливого пути и тотчас же, по возвращении, явился с докладом об исполненном поручении к светлейшему.

Через несколько дней Григорий Александрович поехал на Васильевский остров.

Калисфения Николаевна встретила его, по обыкновению, цветущая, сияющая и довольная.

Она и не притворялась.

Отъезд Щегловского опечалил ее на какие-нибудь полчаса; ей, признаться, довольно-таки надоел восторженный поклонник-проповедник, и не говори мать всегда в его пользу, она давно бы сама показала ему двери.

Князь тотчас все это смекнул и остался доволен.

Никогда он не был так ласков, так любезен со своею «жар-птицей».

Заведомые ее измены придали ей в его глазах даже какую-то пикантность.

Такова была странная натура светлейшего.

«Тот товар и хорош, который нарахват!» — таким циничным афоризмом подтверждал Григорий Александрович свою мысль.

Мы знаем, что женщина в его глазах была недалеко от товара.

С вышедшей к нему во время отъезда Калисфении Фемистокловны князь был тоже очень милостив.

Это успокоило трусливую «старую куртизанку», на которую командировка Щегловского произвела впечатление удара грома.

«Узнал, все узнал... сгниешь... пропадешь!» — думала она.

Приезд светлейшего и его приветливость рассеяли ее опасения.

Увы, не надолго.

Проболтав несколько времени с дочерью, лежавшей в постели, она удалилась на свою половину, но войдя в свой будуар, остановилась как вкопанная.

Перед ней стоял офицер в адъютантской форме и два солдата.

Она сразу все поняла.

— По приказанию его светлости я вас арестую! — сказал офицер. — Предупреждаю, что всякое сопротивление будет бесполезно, в случае неповиновения, мы употребим силу. Извольте одеваться.

— Куда... в Сибирь? — сдавленным голосом произнесла Калисфения Фемистокловна.

Она как-то сразу вся съежилась и состарилась.

— Нет, много ближе! — улыбнулся адъютант.

— Позвольте мне уложиться...

— Все уложено... Мы распорядились ранее, отдав приказание вашей прислуге.

Офицер указал ей на маленький чемодан, который держал в руках один из солдат.

Верхнее теплое платье — дело было зимой — тоже было уже вынута из шкафа и положено на кресло.

Калисфения Фемистокловна стала одеваться.

— Вы мне позволите взять еще шкатулку?

— Нет, по приказанию его светлости шкатулка должна быть передана вашей дочери.

Калисфения Фемистокловна вздрогнула.

— Она на нее имеет более прав, чем вы! Это подлинные слова его светлости, — добавил адъютант.

Преступная мать опустила голову. В сопровождении двух солдат она вышла из дому. У подъезда стояла тройка.

Один из солдат сел на облучок к ямщику,

другой подсадил Калисфению Фемистокловну в повозку, сел рядом и крикнул:

— Пошел!

Тройка понеслась.

Оставшись в доме, адъютант приказал после отъезда матери доложить о себе дочери.

Та в страшной тревоге вскочила с постели и, накинув капот, приняла позднего гостя.

Он передал ей шкатулку ее матери и письмо Григорий Александровича.

В этом письме светлейший уведомлял ее, что ввиду дурного на нее влияния ее матери, он отправил ее на вечное заключение в монастырь. «В шкатулке, которая тебе будет передана, находятся деньги и подарки, за которые эта бессовестная женщина продавала твои ласки без твоего ведома. Вот какова твоя мать, постарайся не быть на нее похожей, чтобы с тобой не случилось того же», — заключал письмо светлейший.

К чести Калисфении Николаевны надо заметить, что она сделала жест омерзения, читая эти строки, и они еще более ослабили и вообще не сильное впечатление, которое произвела на дочь судьба матери.

Калисфения Фемистокловна, посвятив в сердце дочери лишь холодный эгоизм, пожала плоды своих трудов.

Она, действительно, была заключена в Спасский монастырь в Казани, откуда тотчас же прислала отчаянное письмо дочери с просьбой выхлопотать ей прощение у светлейшего.

Калисфения Николаевна, однако, благодарно об этом даже не заикнулась перед Григорием Александровичем, довольно часто ее навещавшим.

Об ее матери он даже не упоминал, как будто ее никогда и не было на свете.

Молчала и молодая женщина.

Она даже повела затворническую жизнь.

Это, впрочем, продолжалось только до отъезда светлейшего из Петербурга, после которого у «жар-птицы» появились новые поклонники, и в числе их князь Василий Андреевич Святозаров.

Но не будем опережать событий.

XIX НА ЮГ

Прошло более двух лет после высказанного Императрицей Екатериной намерения посетить вновь присоединенные провинции, или как она, в течение этих двух лет, шутя говорила: «обозреть свое маленькое хозяйство», прежде чем это намерение осуществилось.

Наступило 1 января 1787 года.

День нового года прошел при дворе, по обыкновению, торжественно и шумно.

Весь двор и дипломатический корпус собрались поздравить государыню.

На улице было необычайное оживление.

На другой день это оживление еще более усилилось. Народ положительно запрудил все улицы Петербурга, от Зимнего дворца до Московской заставы.

Этот день был назначен государыней днем торжественного выезда из столицы в далекое путешествие.

Весть об отъезде матушки-царицы с быстротою молнии облетела весь город с пригоро-

дами, и народ широкой волной повалил к Зимнему дворцу, проводить свою обожаемую монархиню.

Ровно в полдень началась пальба из пушек и колокольный звон, и при этих смешанных звуках торжества императрица выехала из дворца с многочисленной свитой.

В этой свите находились, между прочим, посланники; австрийский — Кобенцель, французский — Сегтор и английский — Фицгерберт.

Они попеременно ехали в одной карете с императрицей.

Длинный императорский поезд медленно подвигался среди моря обнаженных голов.

Громкое «ура» раскатывалось по городу и заглушало и пушечную пальбу, и колокольный звон.

Картина была умилительная, встречающаяся только в России, где восторг народа при виде своей царицы-матушки или царя-батюшки искренно-непосредственен и сердечно-шумен.

Подобные овации не поддаются описанию — человеческое перо слишком слабо для

выражения народного восторга при виде его государя.

Не одними, хотя и красноречивыми, русскими «ура» сопровождал народ поезд своей обожаемой государыни.

Слышались и другие, прямо от сердца исходившие крики.

— Счастливого пути, матушка-царица! — раздавалось в одном месте.

— Да здравствует государыня! — несло в другом.

— Матушка наша, царица светлая, вернись скорей... — раскатывалось в третьем.

Государыня милостиво кланялась и видимо была растрогана этим выражением любви и преданности своих подданных.

Под гул таких искренних, сердечных народных приветствий, выехала императрица из Петербурга, но не тотчас же отправилась на юг.

В Царском Селе была продолжительная остановка.

Государыня прожила там четыре дня и лишь с 5 января началось это незабвенное на скрижалях русской истории путешествие

Екатерины по России.

Государыня ехала не спеша.

Выезжала она обыкновенно в 9 часов утра, в полдень была остановка для обеда до трех часов, а в семь часов вечера приезжала на ночлег, в заранее определенное место.

На каждой станции было заготовлено от 500 до 600 лошадей.

Всюду прием был достоин высокой путешественницы.

Маршрут путешествия был рассчитан предусмотрительным Потемкиным так, что государыня не могла чувствовать ни усталости, ни скуки.

Обеды обыкновенно готовились в нарочно для этой цели отремонтированных и роскошно убранных казенных зданиях, реже в помещичьих мызах.

В последнем случае владельцам имений, по распоряжению Григория Александровича были отпущены громадные суммы, так как некоторые, даже сравнительно богатые помещики, не могли бы принять достойным образом государыню и были бы поставлены в затруднительное положение.

Вся столовая посуда и белье каждый раз были совершенно новые и после обеда отдавались в подарок хозяевам, на память о посещении высокой гостыи.

Необычный восторг и счастье распространяла государыня всюду, где ни появлялась.

Следом за ней неслись благословления и самые искренние лучшие пожелания.

Если попадались более длинные расстояния без селений и жилья, то перед взорами путешественников в назначенном месте, как из земли вырастали роскошные дворцы, нарочно выстроенные по приказанию Потемкина.

Здесь, ввиду отсутствия хозяев, серебряную и золотую посуду императрица дарила кому-нибудь из своей многочисленной свиты.

На границе каждой губернии императрицу встречал местный губернатор и сопровождал до границы другой губернии.

В некоторых, даже небольших городах императрица останавливалась на несколько дней, не столько для отдыха, сколько для внимательного изучения экономического состоя-

ния этих городов.

От наблюдательности государыни, несмотря на приготовленные народные встречи, не ускользало ничего — она выносила из всего того, что видела, знание, не только казовой стороны своего государства, но и старательно от нее скрываемую обратную сторону медали.

Впрочем, в большинстве случаев, она встречала радовавшие ее сердце картины.

Григорий Александрович умел показать товар лицом.

Деятельные приготовления начались еще с 1784 года.

Григорий Александрович отправил бригадиру Синельникову и другим своим непосредственным подчиненным ордера с подробным расписанием, где надо было строить дворцы, по проектам, набросанным самим светлейшим, где должны были происходить обеденные столы, ночлеги, станции.

Это были, так сказать, подготовительные работы, главные же приготовления на юге происходили под личным наблюдением самого князя.

Тысячи рабочих, согнанных из разных областей государства трудились над созданием Екатеринослава, города, которому Потемкин в своем пылком воображении предназначил возвещать во веки веков «славу Екатерины», и он должен был, по его проекту, превзойти все величайшие европейские города.

Кременчуг князь возвысил на степень столичного города, по крайней мере, по внешнему виду.

Возникали целые города.

Так возникли Алешки на левом берегу Днепра, против Херсона, город не существовавший еще в октябре 1786 года, а в апреле 1787 года уже отстроенный и населенный малороссами и запорожцами.

Полковнику Корсакову, которому было поручено устройство дороги в Крым через Кизикерман и Перекоп, Григорий Александрович писал:

«Сделать богатою рукою, чтобы не уступала римским. Я назову ее Екатерининский путь».

Наряду с этими грандиозными работами, князь не забывал и мелочей. Прослушивал

торжественную ораторию, приготовленную к приезду Екатерины известным итальянским капельмейстером и композитором Сарти, собственноручно написал тему, которую должен был развить в своей приветственной речи духовный вития архиепископ екатеринославский и таврический Амвросий.

На триумфальных воротах в Перекопе, по приказанию князя, красовалась надпись: «Предпосла страх и принесла мир».

Наконец, положительно триумфальное шествие государыни приблизилось к Киеву.

Здесь встретил свою повелительницу Григорий Александрович Потемкин и его племянницы графиня Александра Васильевна Браницкая и Екатерина Васильевна Скавронская.

В Киеве государыня должна была сделать продолжительную остановку.

Надо было ожидать вскрытия Днепра, так как дальнейший путь предстоял водою.

Гигантская, почти титаническая работа была предпринята и в короткое время исполнена под наблюдением Григория Александровича.

Днепр был очищен от порогов, и вместе с появлением на его водах Екатерины, эти воды сделались судоходными.

Десятки великолепно отделанных галер, составивших целую увеселительную флотилию, с весенних дней запестрели на великой реке.

В них должно было разместиться три тысячи человек.

Галера императрицы носила название «Днепр» и была отделана с необычайною пышностью.

На «Буге», так называлась галера Потемкина, ехал сам устроитель этой исторической феерии.

Галера «Десна» приспособлена была для обширной столовой, где государыня давала торжественные обеды.

Южная весна вступила в свои права.

В день отплытия императорской флотилии стояла великолепная погода.

Галера «Днепр» шла впереди, а за ней следовало еще сорок девять судов.

Во всех этих судах были устроены великолепные каюты, кабинеты, будуары для дам.

Яркое солнце с ясного светлого неба освещало покрытые роскошною растительностью берега.

Как в волшебном калейдоскопе, перед взорами очарованных путешественников сменялись восхитительные пейзажи.

Оживленные сбежавшимся народом для приветствий своей обожаемой монархини берега, на которых то и дело попадались богатые селения, красивые дачи, поля, засеянные пшеницею, пастбища, наполненные стадами, указывали на несомненное благосостояние жителей.

Императрица была в самом лучшем настроении духа.

Она воочию убедилась, что все наговоры врагов ее знаменитого избранника и ученика были черной клеветой.

Положительным триумфатором ехал на «Буге» сам «маг и волшебник» Потемкин.

Он совершенно переродился.

Во время остановки в Киеве на него было найдена обычная хандра.

На этот раз припадок его был страшен и продолжителен.

Он уехал из дворца и нашел себе временный приют под тихою сенью Печерского монастыря.

Здесь, в обширной келье, немывтый, нечесанный, в одном халате, без всяких признаков белья, лежал он на низенькой койке, окруженный толпою льстецов, жаждавших милостей.

Суровый, грубый, он не стеснялся в обращении с этой толпой.

Даже относительно таких лиц, как граф Румянцев-Задунайский, он оказывал полное пренебрежение.

Ему было не до них, ни до устроенного им грандиозного шествия по России императрицы, ни до самой императрицы.

Картины далекого прошлого неотступно стояли перед духовным взором несчастного «баловня счастья» и за возвращение хотя на мгновение пережитых им сладких минут свиданья с княжною Несвицкою в доме графини Нелидовой, он готов был отдать свое могущество, власть, свое историческое имя и целый рой окружавших его красавиц.

Но, увы, прошлое было невозвратимо.

Оно дразнило его из своего заманчивого далека и указывало, что его могущество имеет границы.

Это доводило его до бешенства — он рвался и метался и как буря налетал на окружающих.

Все кругом трепетало.

«Светлейший хандрит» — это была одна из самых страшных фраз того времени.

Хандра прошла только за несколько дней перед отъездом из Киева, и ею, по счастью, не омрачилось ни на один день дальнейшее путешествие.

В особенно населенных местах путники останавливались и выходили на берег.

Торжественная встреча ликующего, одетого в праздничные платья народа, пальба из пушек и фейерверки ознаменовывали эти кратковременные остановки.

Что бы ни писали современники, а за ними и потомки, о, будто бы, непроизводительности истраченных громадных суммах на это путешествие государыни, тяжелым бременем упавших на состояние русских финансов, путешествие это, несомненно, послужило ко

благу всех губерний и областей, через которые проезжала императрица, потому что обогатило их. Оно показало, насколько эти земли плодородны по самой природе своей и как мало нуждаются в обработке. Наконец, оно обратило внимание правительства на новоприобретенные земли, ободрило жителей и, так сказать, подготовило то блистательное и непоколебимое положение, которым эти страны пользуются в настоящее время.

Путешественники приближались к месту, где должна была состояться встреча русской императрицы с благодетельствованным ею польским королем Станиславом-Августом Понятовским.

XX

ПУТЬ В ВИЗАНТИЮ

В Каневе государыня пробыла менее суток. Встреча ее с польским королем Станиславом-Августом Понятовским состоялась по заранее установленному церемониалу.

Современники отметили одну подробность, относящуюся к Потемкину.

При встрече с королем, князь поцеловал у него руку.

Объяснялось это тем, что будто бы у светлейшего было желание получить польскую корону, а по польским законам королем мог быть гражданин и подданный этого государства.

Целованием королевской руки Григорий Александрович торжественно засвидетельствовал свои чувства к Польше.

Императрица приняла короля очень любезно, хотя и спешно, так как австрийский посланник торопил государыню, заявляя, что его император уже выехал из Леопольдштата.

Императрица и без того опоздала к назна-

ченному времени свидания.

Польский король, впрочем, был очень доволен и расстался с Потемкиным в самых дружеских отношениях.

Императрица после свиданья послала королю орден святого Андрея Первозванного.

Этот орден получил и король шведский в бытность свою в Петербурге.

От Канева берега Днепра становятся дики и скалисты. Русло реки невозможно было совершенно освободить от множества подводных камней и некоторые из них там и сям еще торчали из воды.

С величайшею осторожностью плыли между ними суда императорской флотилии.

Утро 5 мая было великолепно, но с полудня небо стало покрываться тучами, которые делались все чернее и чернее, подул сильный ветер и волны сердито бурлили и с силою разбивались о борта галер, сильно накреняя их то в ту, то в другую сторону.

Гребцы выбивались из сил, чтобы поскорее выбраться из опасного места, но усилия из оставались тщетными. С минуты на минуту усиливавшийся ветер, дувший навстречу

судам, мешал им подвигаться вперед.

Гребцами овладел ужас, который скоро общился и всем путешественникам.

Одна императрица была спокойна.

Наконец разразилась настоящая буря. Ветер злобно завывал между ущельями береговых скал.

Галеры как щепки бросало из стороны в сторону, грозя ежеминутно разбить в дребезги о подводные камни.

На судах, следовавших за императорскими, наступила общая паника.

Женщины молились и плакали. Мужчины бросились на помощь выбившимся из сил гребцам.

В галере, на которой находилась императрица, оказалась течь.

Опасность была еще сильнее, а, между тем, все окружающие императрицу, ободренные ее присутствием духа, были почти спокойны.

Не слышно было ни жалоб, не видно было суматохи, царившей на прочих галерах.

Спустились густые сумерки. Все окуталось непроницаемым мраком.

Вдруг столб синеватого пламени вспыхнул

вблизи императорской галеры и осветил картину общего смятения.

Крик ужаса вырвался из сотни грудей. Многим показалось, что настала минута окончательной гибели.

Сразу не могли даже сообразить причины этого огненного грозного призрака.

Лишь через несколько времени дело объяснилось.

Оказалось, что загорелось судно, нагруженное вином и шедшее навстречу императорской флотилии.

Воспламенившееся вино кипело как огненная лава, вода клубилась, как будто в адском котле и обгорелые обломки судна погружались со страшным шипением в клокочащие волны.

Картина была ужасна и поразительна.

Лишь к рассвету ветер утих и тучи рассеялись. Опасность миновала.

Оригинальная флотилия прибыла в Кременчуг.

Императрица со всею свитой вышла на берег и в экипаже проследовала в выстроенный для нее великолепный дворец, окруженный

роскошным садом.

Письма Екатерины к невестке и другим лицам были восторженны: государыня была положительно очарована всем виденным уже ею по дороге, а, между тем, в Крыму ее ожидали еще большие чудеса.

С Кременчуга началось полное торжество князя Потемкина. С этого города сразу бросилась в глаза разница с только что оставленным малороссийским наместничеством, особенно в устройстве военной части.

Под городом, на другой день по приезде туда государыни, были устроены маневры двенадцатитысячного корпуса.

Маневры удались на славу.

Особенно отличился кирасирский полк, названный полком князя Потемкина-Таврического.

Сомнения, внушенные императрице насчет «легкоконных» полков, сформированных светлейшим, сразу распались.

— О, как люди злы! — сказала она принцу Карлу Иосифу де Линь, сопровождавшему, в числе других дипломатов, государыню, указывая на бравую конницу. — Как им хотелось

обмануть меня!

Екатерина была так довольна всем, что, желая пристыдить и наказать доносчиков, послала санкт-петербургскому губернатору следующий высочайший рескрипт:

«Я приехала сюда и нашла третью часть той превосходной конницы, коей существование многие зломыслящие люди отвергали; но я видела сие войско и видела его в таком совершенстве, до какого никакой корпус не достигал. Прошу вас сказать всем людям, не верующим оному, и истину сию утвердить моим письмом, и таким образом посрамить ложное суждение неблагонамеренных господ. Наконец, надлежит воздать должную справедливость и похвалу людям, посвящающим себя с полной ревностью и успехом на службу своей государыни и отечеству».

Из Кременчуга императрица направилась далее в Крым.

В нескольких верстах от этого города, в степи, состоялось встреча государыни с графом Фалькенштейном.

Под этим именем путешествовал австрийский император Иосиф II.

Свидание произошло в уединенной хижине казака, в присутствии Потемкина, графа Ксаверия Браницкого и принца Карла-Генриха Нассау-Зигена.

После свиданья император поехал сопровождать императрицу в путешествии по Крыму.

В Херсон Екатерина въехала в великолепной колеснице. С ней сидели Иосиф II и Потемкин.

Перед изумленными путешественниками на месте, где за семьдесят лет перед тем была лишь пустынная степь и развалины, предстала крепость, арсенал со множеством пушек, три готовых на верфях корабля, несколько церквей, красивые здания, купеческие суда в прекрасном порту, словно как из земли выросший новый город, богатый и многолюдный.

Множество домов было занято не только русскими, но и иностранцами.

В роскошных магазинах были выставлены драгоценные товары. Везде была заметна жизнь и промышленная деятельность.

Государыня остановилась в адмиралтей-

стве.

На сколько оно было великолепно украшено для приема августейшей посетительницы, можно судить уже потому, что один воздвигнутый в нем трон стоил около пятидесяти рублей.

В Херсоне императрица пробыла довольно долго.

При ней были спущены на воду три суда: два линейных корабля о 66 и фрегат о 40 пушках.

За это князь Потемкин был пожалован кайзер-флагом по-своему званию главнокомандующего черноморским флотом.

Во время одной из прогулок по городу, Григорий Александрович умышленно повел государыню к древним воротам, на которых сохранилась надпись на греческом языке:

«Отсюда надлежит ехать в Византию».

Эта древняя надпись не заключала в себе ничего особенного, и, видимо, служила лишь для указания пути в столицу Греции.

Но светлейший придал ей другое значение, сообразное с непокидавшим его ум «греческим проектом».

Указав императрице на надпись, он сказал:

— Путь открыт, ваше величество, недостает только вашего разрешения...

Императрица выразительно посмотрела на него и многозначительно улыбнулась.

Время несло быстро среди различных осмотров и увеселений.

Представившиеся императрице татары желали показать ей свое искусство в различных военных играх.

Екатерина смотрела на них из кареты, в которой сидела вместе с австрийским императором.

Вдруг, в самом пылу военных эволюции, двухтысячный татарский отряд устремился на карету императрицы и вмиг окружил ее.

Иосиф II смутился, а императрица, сразу догадавшись, что эта эволюция была сделана по приказанию Потемкина, не высказала ни малейшей робости. Государыня не ошиблась. Это был действительно один из сюрпризов светлейшего, старавшегося разнообразить впечатления, производимые на императрицу разными зрелищами.

В числе сопровождавших императрицу в Херсон был и знакомый нам соперник князя Потемкина по молодой Калисфении Василий Романович Щегловский.

Незадолго до отъезда из Херсона, было получено известие, что один из мостов, по которому надо было ехать, разрушен бурей и заменяется новым.

Императрица спешила выехать, но было еще неизвестно, готов ли новый мост.

Григорий Александрович послал Щегловского за двадцать семь верст — узнать, построен ли мост.

Часа через три, когда государыня села за обеденный стол, Василий Романович возвратился, загнав несколько лошадей и проскакав пятьдесят четыре версты не более, как в три часа.

Войдя в столовую императрицы, где находился и Потемкин, Щегловский, с трудом переводя дыхание, едва мог промолвить:

— Ваша светлость, мост готов...

— Как, — сказала императрица, — он уже и съездил? — и так была довольна, что сняла с руки своей богатый бриллиантовый перстень

и подарила Щегловскому.

Херсон произвел на императрицу неизгладимое впечатление.

При путешествии вглубь страны это впечатление еще более увеличивалось.

Чудная природа Крыма, великолепное Черное море, ласкающий, нежный воздух, роскошные горные панорамы еще сильнее подействовали на государыню.

Императрица намеревалась из Херсона ехать в Кинбурн, но известие, что там стоит сильная турецкая эскадра, побудило ее отправиться сухим путем через Перекоп в Тавриду.

Князь Потемкин с принцем Нассау-Зигеном отправились вперед.

Переехав через Борифень, они увидели детей знаменитейших татар, собравшихся тут, чтобы приветствовать императрицу.

Поговорив с ними, они двинулись к Каменному мосту, до которого оставалось около тридцати верст, и где был назначен ночлег.

По дороге ожидало их до трех тысяч донских казаков со своим атаманом.

Они проехали вдоль их фронта, очень растянутого, так как они строились в одну ли-

нию.

Когда они их миновали, то вся эта трехтысячная ватага пустилась вскачь мимо кареты, в которой ехали князь и принц.

Равнина мгновенно покрылась казаками и представляла величественную картину, способную воодушевить всякого.

Казаки сопровождали их до следующей станции, то есть около двенадцати верст, и у станции снова выстроились в боевом порядке.

Между ними был полк калмыков, точь-в-точь похожих на китайцев.

Подъехав к Каменному мосту, они нашли тут хорошенький домик, построенный в маленьком земляном укреплении, и тридцать прекрасных палаток, приготовленных для ночлега.

Императрица прибыла также, сопровождаемая казаками.

Равнина, усеянная людьми, мчавшимися во весь опор, то нападая, то отбиваясь друг от друга, производила впечатление настоящего сражения.

Австрийский император по приезде с им-

ператрицей все время говорил об удовольствии, доставленном ему казаками, а государыня сказала Григорию Александровичу с милостивой улыбкой:

— Это один из ваших сюрпризов.

Потемкин приказал повторить маневры. Императрица и Иосиф II вошли на валы, чтобы лучше их видеть.

Весь вечер только и было речи о казаках.

Император много расспрашивал их атамана, который ему, между прочим, сказал, что они делают обыкновенно по шестьдесят верст в день во время похода. Ни одна кавалерия в Европе не может в этом отношении с ними сравниться.

Император был в восхищении и расточал князю Потемкину вполне им заслуженные похвалы.

На другой день прибыла жена казацкого атамана с дочерью, очень красивой девушкой. На них были длинные платья из золотой и серебряной парчи и собольи шапочки с расшитым жемчугом дном, жемчужные ожерелья и головные уборы и браслеты.

Их представляла графиня Браницкая.

Затем казацкие офицеры и двести казацких ветеранов подходили к руке императрице.

Путешественники отправились далее в Перекоп.

В доме соляного пристава был приготовлен превосходный завтрак. Императрице были здесь показаны все сорта добываемой соли — один из них издает запах малины.

Сев снова в карету, государыня со свитой отправились к тому месту, где были разбиты прелестные палатки для обеда.

На месте ночлега были поставлены палатки на манер татарских. Для императрицы был устроен из палаток целый дом, от которого она была в восторге.

С места ночлега были уже видны горы.

Начиналась волшебной-прекрасная страна — Таврида.

XXI В КРЫМУ

20 мая императрица прибыла в древнюю столицу крымских ханов — Бахчисарай и остановилась там в ханском дворце.

От Перекопа ее конвоировала блестящая татарская гвардия, составленная из родовитых мурз.

Их яркие костюмы и джигитовка приводили в восторг государыню и ее венценосного попутчика — Иосифа II.

Это были те самые татары, которые еще недавно возмущались, когда из них хотели образовать правильные полки и подчинить их дисциплине.

Теперь им вверили охрану императрицы и ее окружали тысячи татар, готовых стать на ее защиту.

Во время приезда в Бахчисарай с Екатериной чуть было не случилось несчастье.

На одном из крутых спусков забыли затормозить коляску. Лошади, не будучи в силах удержать тяжелый экипаж, понесли и чуть

не опрокинули кучера.

Коляска, в которой сидело восемь человек, при этой бешеной скачке, казалось, каждую минуту должна была разлететься в дребезги, а пассажиры убиты или изувечены.

Татары, считавшие гибель экипажа неминуемой, кричали:

— Алла, Алла спаси ее! Алла, Алла, спаси!

Императрица, между тем, ни на минуту не потеряла присутствия духа и на лице ее не отразилось ни малейшего испуга.

Напротив, по приезде в Бахчисарай, она была очень весела и в положительном восторге от всего виденного и от своего дворца.

Особенно ей понравилась большая, роскошно отделанная зала, вокруг которой, по сторонам был изображен, на арабском языке следующий девиз: «что ни говори клеветники и завистники, ни в Испагани, Ни в Дамаске, ни в Стамбуле не найдешь подобной».

В этой же зале находились цветы и плоды, сделанные из воска господином Тоттом, во время его прибывания в Крыму, о чем он упоминает в своем сочинении.

Принц Нассау-Зиген обратил на них вни-

мание императрицы.

— Удивительно, что все сделанное Тоттом достается мне в руки, — заметила она, обращаясь к австрийскому императору. — Он изготовил 200 орудий в Константинополе — они все принадлежат мне. Он украшал этот дворец цветами — они мои. Странная судьба!

Вошел Сегюр.

Императрица переменяла разговор, начала шутить и смеяться.

— Я заболталась... — кинула она принцу Нассау-Зигену.

С наступлением ночи все горы, окружающие город, и все дома, расположенные амфитеатром, были иллюминированы многочисленными огнями.

Зрелище было великолепное.

На утро императрица присутствовала у обедни в местной церкви, по окончании которой свита, мурзы, муфтии и татарские офицеры подходили к ее руке.

В этот день празднуется память святого Константина и Елены и было тезоименитство ее внука, Константина Павловича.

Вечером повторилась роскошная иллюми-

нация, бывшая накануне.

22 мая в 9 часов утра высокие путешественники тронулись далее и в полдень прибыли в Инкерман.

Здесь ожидало императрицу, кстати, самое эффектное зрелище.

В хорошо построенном для государыни дворце, во время обеда, вдруг отдернули занавес, закрывавший вид с балкона, и глазам восхищенных зрителей представилась великолепная картина: освещенная ярким солнцем Севастопольская гавань, с десятками больших и малых кораблей — зачатком славного Черноморского флота.

На эскадре был поднят кайзер-флаг или штандарт, пожалованный Потемкину.

Из частных лиц князь получил его третий.

В ту минуту, когда эскадра салютовала, императрица встала, вся сияющая, с огненным взглядом и провозгласила тост.

— Надобно выпить за здоровье моего лучшего друга! — чокнулась она с императором.

После обеда принц Нассау-Зиген подошел к императрице и сказал, что он так тронут всем виденным, что поцеловал бы ее руку, ес-

ли бы на то осмелился.

— Князя Потемкина, которому я всем обязана, следует поцеловать! — заметила она, милостиво протягивая руку принцу.

Тот почтительно поцеловал ее.

— Не думаете ли вы, что это те же турецкие суда, которые стояли у Очакова и не пустили меня к Кинбурну! — смеясь, сказала она.

— Эти суда, — отвечал принц Нассау-Зиген, — только ожидают вашего приказания, чтобы отправиться за судами, стоящими под Очаковым.

— Как вы думаете, осмелюсь ли я на это? — снова заметила она, обращаясь к принцу де Линю. — О, нет, эти люди слишком страшны!

Император смеялся.

Из разговора было видно, что война с турками желательна для всех.

Затем все присутствующие сели в шлюпки и поехала в Севастополь.

Государыня с Иосифом II ехала в шлюпке, заказанной Потемкиным в Константинополе и совершенно сходной с султанской.

Вот как описывает эту поездку один из ее

участников, граф Сегюр:

«Проехав залив, мы пристали к подножию горы, на которой полукружием возвышался Севастополь. Несколько зданий для склада товаров, адмиралтейство, городские укрепления, верфи, пристани, торговые и карантинные, все придавало Севастополю вид довольно значительного города. Нам казалось непостижимым, каким образом, в 2000 верстах от столицы, в недавно приобретенном крае, Потемкин нашел возможным воздвигнуть такие здания, соорудить город, создать флот, утвердить порт и поселить столько жителей. Это действительно был подвиг необыкновенной деятельности».

Надо прибавить, что все это было сделано в баснословно короткое время.

Подтверждением этого служит сообщение Черткова, находящееся в записках Грановского:

«Я был с его светлостью, — рассказывал Чертков, — в Тавриде, Херсоне и Кременчуге месяца за два до приезда туда ее величества. Нигде ничего там не было отменного; словом, я сожалел, что он позвал туда государыню по

пустому.

Приехал с нею, Бог знает, что там за чудеса явились. Черт знает, откуда явились строе- ния, войска, людство, татарва, одетая пре- красно, казаки, корабли...

Какое изобилие в яствах, напитках, сло- вом, во всем, — ну, знаешь, так, что приду- мать нельзя пересказать порядочно. Я иногда ходил, как во сне, право, как сонный, сам себе не верил ни в чем, щупал себя: я ли? где я? не мечту ли, не привидение ли я вижу? Ну, на- добно сказать правду: ему, ему одному можно такие дела делать, и когда он успел все это сделать».

На самом деле только чародей Потемкин мог проделывать такие вещи.

Шлюпка проехала мимо эскадры, состояв- шей из трех 66-пушечных кораблей, трех 50- пушечных и десяти 40-пушечных фрегатов.

Они приветствовали императрицу тремя залпами.

Шлюпка подошла к входу в гавань.

У пристани была великолепная лестница из тесаного камня. Роскошная терраса вела от нее ко дворцу императрицы.

Последняя повторяла все время:

— Надеюсь, теперь не скажут, что он ленив!

Она, конечно, подразумевала Григория Александровича.

На другой день Екатерина посетила порт и ездила за двадцать верст в море, где флот произвел в глазах ее учение с пальбою и разные эволюции, окончившиеся примерным нападением на деревянную крепостицу, нарочно для этого устроенную на северном берегу рейда.

Она была подожжена, когда в нее бросили шестую бомбу.

Крепостица была наполнена горючим материалом и взрыв был очень эффектный.

Императрица была в восхищении.

«Весьма мало знают цену вещам те, кои с унижением бесславили приобретение сего края, — писала она из Севастополя к московскому генерал-губернатору Еропкину. — И Херсон, и Таврида со временем не только окупятся, но надеяться можно, что если Петербург приносит восьмую часть дохода империи, то вышеупомянутые места превзойдут

плодами бесплодных мест. Кричали против Крыма, пугали и отсоветовали обозреть самолично. Сюда приехав, ищу причины такого предубеждения безрассудства. Слыхала я, что Петр Первый долговременно находил подобные рассуждения о Петербурге, и я помню еще, что этот край никому не нравился. Воистину сей не в пример лучше, тем паче, что с сим приобретением исчезает страх от татар, которых Бахмут, Украина и Елисоветград поныне еще помнят. С сими мыслями и с немалым утешением написав сие к вам, ложусь спать. Сегодня вижу своими глазами, что я не причинила вреда, а величайшую пользу своей империи».

Из Севастополя государыня поехала через Бахчисарай, Симферополь, Карасубазар и Старый Крым до Каффы, которая называется Феодосией.

В Карасубазаре был сожжен великолепный фейерверк.

Император заметил, что он никогда не видел ничего подобного!

Сноп состоял из 20 тысяч больших ракет.

Иосиф II призывал фейерверкера и рас-

спрашивал его о количестве ракет.

— На случай, — говорил он, — чтобы знать, что именно заказать, ежели придется сжечь хороший фейерверк.

Иллюминация тоже была великолепная.

Все горы были увешаны вензелями императрицы, составленными из 55 тысяч плошек.

Сады также были роскошно иллюминированы.

Каффа или Феодосия была единственное место Тавриды, где сохранились древние памятники.

На монетном дворе была выбита медаль, которую Потемкин поднес императрице.

Все было приготовлено, чтобы выбить еще несколько медалей, но государыня пошла далее, не остановившись и передала медаль Мамонову, который положил ее в карман.

С одной стороны была изображена императрица, а с другой надпись о том, что она сооблаговолила посетить монетный двор, в сопровождении графа Фалькенштейна.

Из Феодосии государыня отправилась обратно в Россию.

В Кизикермане она рассталась с Иосифом II.

Он провел час в ее кабинете, и в ту минуту, когда она собиралась сесть в карету, хотел поцеловать ее руку, но она не допустила этого и они обнялись.

Затем император прошел вперед к ее экипажу и снова хотел поцеловать ей руку, но они дружески расцеловались.

По отъезде государыни, подъехал в карете Григорий Александрович.

Император, севший уже в карету, вышел из нее и направился к его экипажу.

Князь в свою очередь вышел из кареты.

Император простился с ним, приветствовал его по поводу всего того, что ему удалось показать императрице, поцеловал князя, сел в карету и уехал.

Пребывание Екатерины на юге было, как мы уже имели случай заметить, полнейшим торжеством для князя Потемкина.

Императрица в самых милостивых и признательных словах одобрила все им сделанное, и по его ходатайству осыпала наградами его сотрудников.

Сам Потемкин получил похвальную грамоту, в которой подробно были прописаны знаменитые услуги, оказанные им отечеству.

Григорий Александрович провожал императрицу до Полтавы и тут же представил ей величественное зрелище, достойное великой государыни.

В окрестностях Полтавы, на полях, прославленных победой Петра I, внезапно появились две армии и вступили в сражение в том же боевом порядке, в каком Петр Великий победил Карла XII.

Офицер, представлявший шведского короля, был в точно таком же костюме, в котором был Карл XII на этом знаменитом сражении.

Потемкин в Полтаве простился с императрицей.

Он питал надежду, что она, наконец, согласится объявить Турции войну, — выгнать турок из Европы было, как мы знаем, его заветной мечтой, — а потому счел выгодным остаться в Крыму, откуда ему удобнее было приступить к военным действиям.

Долго еще отголоски этого путешествия звучали в России и Европе.

Сопровождавшие Екатерину посланники разнесли в своих письмах по всем странам о могуществе великолепного князя Тавриды.

Но лучшею наградою Григорию Александровичу были письма государыни, которая долго не могла забыть виденного.

«А мы здесь чванимся, — писала она князю на возвратном пути из села Коломенского, — ездою, и Тавридою и тамошними генерал-губернаторскими распоряжениями, как добрыми без конца и во всех частях».

Из Твери: «Я тебя и службу твою, исходящую из чистого усердия, весьма, весьма люблю, и сам ты бесценный; сие я говорю и думаю ежедневно».

Из Царского Села: «Друг мой сердечный, Григорий Александрович! Третьего дня окончили мы свое шеститысячеверстное путешествие и с того часа упражняемся в рассказах о прелестном положении мест вам вверенных губерний и областей, о трудах, успехах, рдении, усердии и попечении и порядке, вами устроенных повсюду, и так, друг мой, разговоры наши, почти непрестанные, замыкают в себе либо прямо, либо сбоку, твое имя, либо

твою работу».

Эти письма красноречиво доказывают, как живость воспоминаний Екатерины о пережитых впечатлениях, так и ее искреннюю и глубокую благодарность старому другу.

Ободренный благосклонностью и милостью государыни, Григорий Александрович снова стал лелеять свой излюбленный «греческий проект».

Ему казалось, что он уже накануне его осуществления. Крест на мечети Софии уже сиял в его пылком воображении.

Еще о войне с турками никто и не думал, а он спешно готовился к ней, стягивая во вверенные ему области войска, запасаясь провиантом и артиллерийскими снарядами в таком количестве, какое было потребно для продолжительных военных действий.

Повторяем, он надеялся получить в скором времени согласие императрицы отбросить турок в Малую Азию и восстановить греческую империю, вручив ее скипетр внуку государыни, великому князю Константину Павловичу.

Эту надежду он основывал на некоторых

словах и замечаниях, сделанных Екатериною во время ее пребывания в Тавриде.

Турция сама пошла навстречу нетерпеливым ожиданиям светлейшего.

Война стала неизбежной.

XXII

РАЗРЫВ С ТУРЦИЕЙ

Описанное нами путешествие императрицы Екатерины в Крым и ее дружеское свидание с австрийским императором произвело сильное впечатление в Турции.

Диван, хотя ранее и изъявил согласие на присоединение Крыма к России, но согласие это не было искренно.

Турецкое правительство очень хорошо понимало всю важность для него потери этого полуострова.

Россия, уничтожив последнее татарское царство, вместе с тем, приобрела весь северный берег Черного моря, откуда неприятельские корабли при первом удобном случае могли появиться под стенами Константинополя.

Предупредить опасность и броситься врасплох на врага — вот единственный выход, который и был подсказан Турции отчаянием и, вместе с тем, благоразумием.

Послы иностранных держав — английский, французский и прусский, которым было неприятно возвышение России и возможность завладения ею Черным морем и Константинополем, поддерживали задор турецкого правительства.

Летом 1787 года, когда императрица только что успела вернуться в Петербург, султан прислал послу нашему, Булгакову, ультиматум, в котором требовал: выдачи молдавского господаря Маврокордато, нашедшего приют в России; отозвание из Ясс, Бухареста и Александрии русских консулов; допущения во все русские гавани и торговые города турецких консулов; признание грузинского царя Ираклия, поддавшегося России, турецким вассалом и осмотр всех русских кораблей, выходящих из Черного моря.

Булгаков, конечно, отверг эти требования и был заключен, по приказанию султана, семибашенный замок.

5 августа 1787 года была объявлена война. Она застала Россию действительно врасплох.

Войска русские были разбросаны на обширном пространстве, крепости еще не окончены вооружением, в продовольствии чувствовался недостаток по случаю почти повсеместного неурожая и, наконец, перевозочные и госпитальные принадлежности, понтоны и осадный парк не могли быть заготовлены и доставлены ранее зимы или в лучшем случае осени.

Положение Потемкина, как защитника Новой России, было чрезвычайно затруднительно.

Он пал духом.

Императрица старалась поддержать его нравственно письмами.

Турки открыли военные действия нападением на Кинбурн.

Узнав это, Екатерина писала Григорию Александровичу, между прочим, следующее:

«Что Кинбурн осажден неприятелем и уже четверо суток выдержал канонаду, я усмотрела из твоего собственноручного письма; дай

Бог его не потерять; ибо всякая потеря неприятна; но положим так, то для чего же унывать, а стараться, как ни на есть отомстить и брать реванш; империя останется империей и без Кинбурна; то ли мы брали и потеряли? Всего лучше, что Бог вливает бодрость в наших солдат там, да и здесь не уныли, а публика лжет в свою пользу и города берет, и морские бои и баталии складывает и Царьград бомбардирует. Я слышу и все сие с молчанием и у себя на уме думаю: был бы мой князь здоров, то все будет благополучно, если бы где и вырвалось что неприятное. Молю Бога, чтобы тебе дал силы и здоровья, унял ипохондрию. Как ты все сам делаешь, то и тебе покоя нет; для чего не берешь к себе генерала, который бы имел мелкий деталь? Скажи, кто тебе надобен, я пришлю; на то дается фельдмаршалу генералы полные, чтобы один из них занялся мелочью, а главнокомандующий тем не замучен был. Что не проронишь, того я уверена; но во всяком случае, не унывай и береги свои силы; Бог тебе поможет и не оставит, а царь тебе друг и покровитель. Проклятое оборонительное положение! И я его не люблю. Ста-

райся его скорее оборотить в наступательное, тогда тебе, да и всем легче будет, и больных тогда будет менее; не все на одном месте будут».

Хандра Потемкина не проходила.

Новое неожиданное несчастье повергло его в положительное отчаяние.

Его любимое создание — севастопольский флот, на который князь возлагал все свои надежды, при первом выходе в море, подвергся страшной буре, которая унесла один линейный корабль в Константинопольский пролив, где турки взяли его со всем экипажем; остальные корабли и суда были так повреждены, что с трудом вернулись в Севастополь. Эскадру Войновича, как некогда знаменитую армаду Филиппа II Испанского, истребили не враги, а бури.

Баловень счастья окончательно упал духом.

«Матушка государыня! — писал он императрице 27 сентября 1787 года. — Я стал несчастлив; при всех мерах, мною предпринимаемых, все идет на выворот. Флот севастопольский разбит бурей; остаток его в Севасто-

поле — все мелкие и ненадежные суда, или лучше сказать, неупотребительные; корабли и большие фрегаты пропали. Бог бьет, а не турки. Я, при моей болезни, поражен до крайности; нет ни ума, ни духу. Прошу о поручении начальства другому. Верьте, что я себя худо чувствую; не дайте чрез сие терпеть делам. Ей, я почти мертв; я все милости и имение, которое получил от щедрот ваших, повергаю к стопам вашим и хочу в уединении и неизвестности кончить жизнь, которая, думаю, и не продлится. Теперь пишу Петру Александровичу (Румянцеву), чтобы он вступил в начальство, но, не имея от вас повеления, не чаю, чтобы он принял, и так Бог весть, что будет. Я все с себя слагаю и остаюсь простым человеком; но что я был вам предан, тому свидетель Бог».

В порыве отчаяния Потемкин предлагал вывести войска из Крыма.

Письмо это всецело обрисовывает характер Григория Александровича.

Этот сын счастья, почти не знавший неудач и все легко приводивший в исполнение, при первой неудаче вдруг впал в страш-

ное уныние и готов был отказаться от всего, что несомненно составляло его лучшие дела.

Трогательное зрелище представляет нам в эти дни история. Екатерина, старая годами, но бодрая духом, в ласковых, задушевных письмах вливает свежую энергию в душу тоскующего и отчаявшегося громадного ребенка, как называли Потемкина некоторые современники.

«Конечно, все это нерадостно, однако, ничего не пропало, — отвечала ему 20 октября императрица. — Сколько буря была вредна нам, авось либо столько же была вредна и неприятелям; неужели, что ветер лишь на нас. Крайне сожалею, что ты в таком крайнем состоянии, что хочешь сдать команду; это мне более всего печально. Ты упоминаешь о том, чтобы вывести войска из полуострова. Я надеюсь, что сие от тебя письмо было в первом движении, когда ты мыслил, что весь флот пропал... Приписываю сие чрезмерной твоей чувствительности и горячему усердию..

Если сие исполнишь, то родится вопрос, что же будет и куда девать флот севастополь-

ский? Я думаю, что всего лучше было, если бы можно было сделать предприятие на Очаков, либо на Бендеры, чтобы оборону обратить в наступление. Прошу ободриться и подумать, что бодрый дух и неудачу поправить может. Все сие пишу тебе, как лучшему другу, воспитаннику моему и ученику, который иногда и более иметь расположения, нежели я сама; но на сей случай я бодрее тебя, понеже ты болен, а я здорова. Ты нетерпелив, как пятилетнее дитя, тогда как дела, на тебя возложенные теперь, требуют терпения невозмутимого».

Кроме утешения, которое черпал Григорий Александрович в милостивых письмах мудрой государыни, счастливый оборот военных действий влил жизненный бальзам в его наболевшую душу.

Суворов, после кровопролитного боя, отразил турок от Кинбурна с огромным уроном.

Мы впоследствии ближе познакомим наших читателей с этим знаменитым полководцем, в описываемую нами войну обессмертившим себя неуязвимыми лаврами непобедимого.

Григорий Александрович, повторяем,

несколько приободрился.

С грустью, но уже сравнительно спокойно, он стал говорить о потере флота.

«Правда, матушка, что рана сия глубоко вошла в мое сердце. Сколько я преодолевал препятствий и труда понес в построении флота, который бы через год предписывал законы Царьграду!. Преждевременное открытие войны принудило меня предпринять атаковать отдельный турецкий флот с чем можно было; но Бог не благословил. Вы не можете представить, сколь сей нечаянный случай меня поразил до отчаяния».

Императрица, между тем, продолжала настаивать на необходимости взять Очаков.

2 ноября 1787 года, после кинбурнского дела, она, между прочим, писала:

«Понеже Кинбурнская сторона важна и в одной покой быть не может до того Очаков существует в руках неприятельских, то за неволю подумать нужно о сей осаде, буде тако захватить не можно по вашему суждению».

«Кому больше на сердце Очаков, как мне?» — отвечал Григорий Александрович.

«Несказанные заботы от сей стороны на

меня все обращаются. Не стало бы за доброй волей моей, если бы я видел возможность... Схватить его никак нельзя, а формальная осада по позднему времени быть не может и к ней столь много приготовлений. Теперь еще в Херсоне учат минеров, как делать мины и прочему. До ста тысяч потребно фашин и много надо габионов. Вам известно, что лесу нет по близости. Я уже наделал в лесах моих польских, откуда повезут к месту. Очаков нам нужно, конечно, взять, и для того должны мы употребить все способы, верные для достижения сего предмета. Сей город не был разорен в прошлую войну; в мирное время укрепляли его непрерывно. Вы изволите помнить, что я в плане моем наступательном, по таковой их готовности, не полагал его брать прежде других мест, где они слабее. Если бы следовало мне только жертвовать собой, то будьте уверены, что я не замешкаюсь ни минуты; но сохранение людей, столь драгоценных, обязывает идти верными шагами и не делать сомнительной попытки, где может случиться, что потеря несколько тысяч пойдет не взяв, и расстроимся, так, что, уменьшив старых сол-

дат, будем слабее на будущую кампанию. Притом, не разбив неприятеля в поле, как приступить к городам? Полевое дело с турками можно назвать игрушкой; но в городах и местах таковых дела с ними кровопролитны».

Так писал и осторожный, жалевший солдат Потемкин.

За наступившими холодами военные действия прекратились.

Со стороны неприятеля они ограничились лишь неудавшимся нападением на Кинбурн.

Это произошло вследствие замешательства в Египте и восстания албанского правителя Махмуд-паши, отвлекших турецкие силы с театра русско-турецкой войны.

Зимой Григорий Александрович деятельно занялся приготовлениями к предстоящей кампании.

Войска были пополнены рекрутами и снабжены всеми средствами, необходимыми для ведения войны.

Госпитали и провиантские склады значительно умножены и расположены в удобных местах.

Укрепление Кинбурна и других примор-

ских пунктов усилены.

Черноморский флот был исправлен и умножен.

Продовольственные припасы были заготовлены в изобилии.

Войска были разделены на две армии: екатеринославскую в 80000 человек и 180 орудий, украинскую — в 37000 человек и 90 орудий и отдельный кавказский корпус из 18000 человек.

По плану кампании, составленному самим Потемкиным, екатеринославская армия, предводимая самим князем, должна была охранять Крым и взять ключ Бессарабии — Очаков; украинская армия, под командой Румянцева, овладеть Молдавией. Австрийский император, который, на основании договора с русскою императрицею, тоже объявил войну Турции, должен был занять Сербию и Валахию.

Предполагалось затем соединить все три армии, перейти Дунай и там, на полях Болгарии или за Балканами, нанести туркам решительный удар и предписать условия мира.

План был задуман прекрасно, но исполне-

ние его не вполне соответствовало предначертанию.

В мае 1788 года большая часть екатеринославской армии, в числе 46000 человек, собралась у Ольвиополя и двинулась по обеим сторонам Буга.

Переход совершали медленно, и лишь к 28 июня силы были стянуты под Очаковым.

В это же время Румянцев с украинской армией переправился через Днестр, расположился, чтобы отвлечь турок, между этою рекою и Прутом и отделил одну дивизию для обложения Хотина.

Турки со своей стороны тоже приготовились к упорной борьбе. Они успели усилить к весне свои полчища до 300000 человек.

В Очакове, Бендерах и Хотине находилось более 40000 человек.

Такою же силою охранялись линии по Днестру; следовательно, для действий в поле оставалось более 200000 человек.

Султан решил обратить главные усилия против австрийцев, которые вступили в Сербию и Валахию, ограничиваясь с другой стороны лишь удержанием русских войск.

С этую целью пятнадцатитысячная армия, предводительствуемая верховным визирем, двинулась к Белграду.

Очаковский гарнизон был доведен до 20000 человек, а новый крымский хан Шах-Бас-Гирей, избранный в Константинополе, сосредоточил до 50000 турок у Измаила.

Таковы были силы обеих армий: напряительской и нашей.

Первым пунктом, с которого началась эта вторая серьезная «борьба с луною», был Очаков.

Вся Европа обращала на него напряженное внимание.

Многие знатные иностранцы стремились туда, желая участвовать в деле, обещавшем отличие и славу.

Григорий Александрович, между прочим, медлил.

— Зачем терять даром людей? Не хочу брать Очаков штурмом — пусть добровольно покорится мне, — говорил князь, и в надежде близкой сдачи крепости не торопился с осадой.

Григория Александровича смущали, во-

первых, преувеличенные слухи о минах, устроенных французскими инженерами, и он ожидал получения из Парижа верного плана крепости со всеми ее минными галереями, а во-вторых, и главным образом, он слишком дорожил кровью солдат.

Крест и луна стояли друг против друга, не вступая в решительную борьбу.

Развязка, однако, была недалека.

Часть третья СРЕДИ СТЕПЕЙ

I ОЧАКОВ

Проходили дни, недели, а очада Очакова не подвигалась вперед.

Лишь в половине августа 1788 года была заложена первая параллель в расстоянии версты от города, а к половине октября русские батареи приблизились к ретраншаMENTам не более, чем на 150 сажен.

Григорий Александрович был в нерешительности.

Происходило это с одной стороны от того, что он нашел Очаков отлично вооруженным.

Французские инженеры, вызванные султаном, употребили все свое в это время славное искусство, чтобы сделать крепость неуязвимой.

Она была, кроме того, окружена внешними сооружениями, которые могли служить укрепленным лагерем для целой армии.

Очаков имел фигуру четырехугольника, продолговатого и не правильного, примыкавшего одной стороной к Днепровскому лиману.

Эта сторона была прикрыта простою гладкою каменною стеною, а три другие обнесены валом, с сухим рвом и гласисом.

Впереди была воздвигнута линия редутов, а в углу, образуемом морем и лиманом, пятиугольный замок с очень толстыми стенами.

Осадные работы были чрезвычайно трудны, вследствие песчаной и каменистой окрестной местности.

Турки поклялись держаться в крепости до последней крайности.

С другой стороны, причина медленности осады лежала в свойстве природы светлейшего главнокомандующего.

Он был лично храбр и смел в составлении предначертаний, но когда приходилось их исполнять, то затруднения и заботы волновали его так сильно, что он не мог ни на что решиться.

Он сам сознавал это и зачастую говаривал:
— Меня не соблазняет победами, воински-

ми триумфами, когда я вижу, что они напрасны и гибельны. Солдаты не так дешевы, чтобы ими транжирить и швырять по-пустому... Упаси Бог тратить людей, я не кожесдира-тель-людоед... тысячи лягут даром... Да и полководец я не по своей воле, а по указу... не в моей это природе... Не могу видеть крови, ран, слышать стоны и вопли истерзанных, изуродованных людей... Гуманитет излишний несовместим с войною. Так-то...

И он медлил и медлил отдать решительное приказание.

Все, между прочим, ожидали этого приказа-ния с нетерпением. Многие даже роптали на эту черепашую осаду.

Что таил в своем уме князь не было из-вестно никому.

Состояние его духа было, по обыкновению, переменным.

Он то был в «Кане Галилейской», как назы-вал он свои веселые дни, то «сидел на реках Вавилонских», как он образно именовал дни своей тяжелой хандры.

Чужая душа потемки. Душа светлейшего для всех его окружающих и даже самых близ-

ких была непроглядной ночью.

Григорий Александрович всегда тщательно скрывал свои планы и намерения и с этою целью даже, делая одно, говорил другое.

Во время этой бесконечно длящейся очаковской осады, в главную квартиру прибыл присланный австрийским императором военный уполномоченный принц Карл-Иосиф де Линь.

— Когда сдастся Очаков? — спросил он светлейшего, явившись к нему тотчас же по приезде в армию.

— Ах, Боже мой! — воскликнул Григорий Александрович. — В Очакове находятся 18000 гарнизона, а у меня столько нет и армии. Я во всем претерпеваю недостатки, я несчастнейший человек, если Бог мне не поможет!

— Как? — сказал удивленный де Линь.

— А Кинбурнская победа... отплытие флота... неужели все это ни к чему не послужит?.. Я скакал день и ночь. Меня уверяли, что вы начали осаду!

— Увы! — вздохнул Потемкин. — Дай Бог, чтобы сюда не пришли татары предать все огню и мечу. Бог спас меня — я никогда этого не

забуду — Он дозволил, чтобы я собрал все войска, находившиеся за Бугом. Чудо, что до сих пор удержал за собою столько земли.

— Да где же татары? — допытывался де Линь.

— Везде, — отвечал князь, — в стороне Аккермана стоит сераскир с великим числом турок; двенадцать тысяч неприятелей находятся в Бендерах, Днестр охраняем; да шесть тысяч в Хотине.

Принц де Линь недоверчиво покачал головой, и убедившись из этой беседы, что от Григория Александровича ничего не узнаешь, переменял разговор.

— Вот, — сказал он, подавая князю пакет, — письмо императора, долженствующее служить планом всей кампании; оно содержит в себе ход военных действий. Смотри по обстоятельствам, вы можете сообщить их начальникам корпусов. Его величество поручил мне спросить вас, к чему вы намерены приступить.

Григорий Александрович взял пакет.

— Не позже, как завтра, я дам вам непременно ответ.

Принц де Линь удалился.

Прошел день, другой, неделя, две, а ответа от Потемкина принц не получал.

Де Линь решился, наконец, напомнить князю об его обещании и наконец получил от него лаконичную записку:

«С Божьей помощью, я сделаю нападение на все, находящееся между Бугом и Днестром».

Послав этот ответ, Григорий Александрович призвал к себе войскового судью незадолго перед тем сформированного «войска, верных черноморских казаков», уже известного нашим читателям Антона Васильевича Головатого.

— Головатый, как бы взять Березань?

Из укрепления Березань, построенного недалеко от Очакова, турки очень часто беспокоили вылазками нашу армию.

— Возьмем, ваша светлость! А чи будет крест за то? — спросил прямо Головатый.

— Будет, будет, только возьми.

— Чуемо, ваша светлость, — сказал Антон Васильевич, поклонился и вышел.

Немедленно послал он разведать о поло-

жении Березани и узнал, что большая часть гарнизона вышла из укрепления для собирания камыша.

Головатый быстро посадил казаков на суда, пристал спокойно к берегу, без шума высадил отряд и без сопротивления овладел Березанью.

Затем, отпустив свои суда, он передел казаков турками и поставил из них караулы.

Гарнизон возвратился и, ничего не подозревая, беспечно входил малыми отрядами в укрепление.

Казаки забирали их по частям.

Березань была взята.

Антон Васильевич явился с ее ключами к Потемкину.

— Кресту твоему поклоняемся, владыко! — громким голосом запел он, входя в ставку к светлейшему.

Он поклонился низко князю и положил к его ногам ключи Березани.

Объяснив, каким образом ему удалось исполнить порученное ему дело, он заключил свой рассказ той же церковной песнью:

— Кресту твоему поклоняемся, владыко!

— Получишь, получишь! — воскликнул обрадованный Григорий Александрович, обнял Головатого и возложил на него орден святого Георгия IV класса.

Принц де Линь остался недовольным скрытностью и ответом Потемкина.

Вскоре после получения им письма и взятия Березани, он однажды в разговоре, в присутствии Григория Александровича, заметил, что хитрить в войне хорошо, но также необходима и личная храбрость полководца.

При этом принц привел пример личной храбрости австрийского императора Иосифа II, оказанной им в каком-то сражении.

Григорий Александрович промолчал.

На другой день, надев парадный мундир, во всех орденах, окруженный блестящим штабом, князь отправился осматривать только что заложенный на берегу Черного моря редут, почти под самыми стенами Очакова.

Ядра и пули сыпались со всех сторон.

Находившиеся в свите князя генерал-майор Синельников и казак были смертельно ранены.

Казак испустил жалобный вопль.

— Что ты кричишь? — сказал Потемкин и продолжал хладнокровно распоряжаться работами.

Окружающие начали представлять ему опасность, которой он себя подвергает.

— Спросите принца де Линя, — отвечал с досадой князь, — ближе ли к неприятелю стоял при нем император Иосиф, а не то мы еще подвинемся вперед.

Больше всех осуждали князя за медлительность осады иностранные вояжеры и эмигранты, кишмя кишевшие при главной квартире.

Для того, чтобы судить, какого сорта были эти иностранцы, расскажем следующий эпизод.

Известный французский генерал Лафайэт прислал к принцу де Линю инженера Маролля, рекомендуя его за человека, способного управлять осадой крепости.

Де Линь отправился с ним к Потемкину.

Войдя в ставку князя, Маролль, не дожидаясь, чтобы его представили, спросил:

— Где же генерал?

— Вот он! — указал ему один из княжеских

СВИТСКИХ.

Маролль фамильярно взял Григория Александровича за руку и сказал:

— Здравствуйте, генерал? Ну, что у вас тут такое? Вы, кажется, хотите иметь Очаков?

— Кажется так, — отвечал Потемкин.

— Ну, так мы его вам доставим, — продолжал Маролль. — Нет ли у вас здесь сочинения Вобана и Когорна? Не худо бы иметь также Реми и прочесть все то, что я несколько забыл или даже не так твердо знал, потому что, в сущности, я только инженер мостов и дорог.

Князь, бывший в эту минуту в хорошем расположении духа, Расхохотался на нахальство француза и сказал:

— Вы лучше отдохните после дороги и не обременяйте себя чтением; ступайте в свою палатку, я прикажу вам принести туда обедать...

Казавшийся лентяем, Григорий Александрович Потемкин зорко следил за исполнением обязанностей подчиненных ему даже сравнительно мелких служащих.

Во время осады Очакова ночью, в сильную снеговую метель, князь сделал внезапно по-

верку и смотр траншейных работ и не нашел дежурного инженера-капитана, который, не ожидая главнокомандующего в такую погоду, оставил пост свой на время под наблюдением молодого офицера.

Кончив смотр и возвращаясь домой, Григорий Александрович встретил по дороге неисправного траншейного начальника.

— Кто ты такой? — спросил Потемкин.

— Я инженер-капитан Селиверстов.

— Через час ты им уже не будешь! — заметил князь и пошел дальше.

Действительно, не прошло и часу, как капитан получил отставку и приказание удалиться из армии.

Строгость светлейшего, впрочем, не превышала меры.

Один из офицеров черноморского казачьего войска, имевший чин армейского секунд-майора, в чем-то провинился.

— Головатый, пожюри его по-своему, чтобы впредь этого не делать.

— Чуемо, наияснейший гетмане! — отвечал Антон Васильевич.

Головатый на другой день явился с рапор-

ТОМ К КНЯЗЮ.

— Исполнили ваша светлость.

— Что исполнили?

— Пожурили майора по-своему, как ваша светлость указали.

— Как же вы его пожурили, расскажи мне?

— А як пожурили? Прости, наияснейший гетмане? Положили, да киями так ушкварили, что насилу встал.

— Как майора!.. — закричал Григорий Александрович. — Как вы могли...

— Правда таки, — отвечал Головатый, — шо насилу змогли. Едва вчетвером повалили; не давался, однако, справились. А шо майор? Не майорство, а он виноват. Майорство при нем и осталось. Вы приказывали его пожурить: вот он теперь долго будет журиться и я уверен, что за прежние шалости никогда уже не примется.

ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕПРИЯТЕЛЯ

В то время, когда русская армия с нетерпением ждала решительного приказа идти на штурм Очаковской крепости и роптала на медлительность и нерешительность вождя, когда сотни человеческих жизней гибли от стычек с неприятелем, делавшим частые вылазки и особенно от развившихся в войсках болезней, главнокомандующий жил в главной квартире, окруженный блестящей свитой и целой плеядой красавиц.

Около роскошно убранной ставки Григория Александровича каждый вечер гремел громадный оркестр под управлением Сарти, устраивались пиры и праздники, тянувшиеся непрерывно по целым неделям.

Волшебник Сарти, как называл его Потемкин, особенно угодил светлейшему, исполнив кантаты собственного сочинения на слова: «Тебе, Бога хвалим», причем припев «свят, свят» сопровождался беглою пальбою из пушек.

В числе красавиц, гостивших в то время при главной квартире, были княгиня Голицына, графиня Самойлова и жена двоюродного брата светлейшего Прасковья Андреевна Гагарина.

В угоду своим дамам, Григорий Александрович не жалел ничего.

Все малейшие их капризы исполнялись.

Для них он выписывал с особыми фельдъегерями разные диковинки: икру с Урала и Каспия, калужское тесто, трюфели из Перинге, итальянские макароны из Милана и каплунов из Варшавы.

Узнав однажды, что два княжеских офицера, братья Кузмины, отлично пляшут лезгинку, князь тотчас же их выписал из Екатеринодара с курьером.

Те прискакали, лихо отплясали перед его светлостью лезгинку и на другой же день были отпущены назад.

— Молодцы, потешили, спасибо! — поблагодарил братьев Потемкин.

— Офицеры народ лихой, на все руки... — заметил кто-то. — Взять хоть, например, ваша светлость, вашего адъютанта Спечинского.

— Разве есть у меня такой? — спросил Григорий Александрович.

Надо заметить, что многие адъютанты только числились состоявшими при светлейшем князе, что считалось высокою честью, но в дело он их не употреблял и даже некоторых совершенно не знал, ни в лицо, ни по фамилии.

— Спечинский числится в числе адъютантов вашей светлости, — поспешил объяснить находившийся тут же Попов.

— А-а... — протянул Григорий Александрович. — Ну, так что же этот... как его... — обратился князь к говорившему.

— Спечинский, ваша светлость...

— Ну, да, Спечинский.

— Да, он обладает необыкновенною памятью, знает наизусть все святцы и может без ошибки перечислить имена святых на каждый день.

— Что ты, это, братец, очень интересно... Василий Степанович выпиши-ка его сюда... Он где?..

— В Москве, ваша светлость.

— Пошли в Москву... выдай на дорогу день-

ги, пусть приедет... Это любопытно...

Спечинский принял приглашение с восторгом, вообразив, что Потемкин нуждается в нем для какого-нибудь государственного дела, обещал многим своим знакомым протекцию и милости, наскоро собравшись проскакал без отдыха несколько суток в курьерской тележке и прибыл под Очаков.

Это было рано утром. Светлейший еще был в постели. Спечинский тотчас же был потребован к нему.

Григорий Александрович, ожидая выписанного им адъютанта, держал всегда при себе святцы.

Они лежали на столе у его кровати.

— Правда ли, — спросил князь, окинув вошедшего равнодушным взглядом, — что вы знаете наизусть все святцы?

— Так точно, ваша светлость.

— Какого же святого празднуется 18 мая? — продолжал Григорий Александрович, открыв наугад святцы.

— Мученика Феодота, ваша светлость.

— Точно, а 29 сентября?

— Преподобного Кириака, ваша светлость.

— Точно. А 5 февраля?

— Мученицы Агафии.

— Верно, — сказал князь и закрыл святцы.

— Благодарю, что потрудились приехать.

Можете отправиться обратно в Москву хоть сегодня же.

Разочарованный адъютант печальный поехал восвояси, хотя и получил хорошую денежную награду.

Надо заметить, что он приехал не вовремя.

Светлейший в это время, говоря его же образным языком, «сидел на реках Вавилонских».

Среди праздников и разного рода чудачеств проводил время осады главнокомандующий, казалось, забывая о деле, а, между тем, часто в самом разгаре пира делал распоряжения, поражавшие всех своею обдуманностью и знанием расположения предводимых им войск.

Только однажды, из самолюбия и желая похвастаться исполнительностью своей армии, князь отдал необдуманное приказание.

Турки при содействии служивших у них французских инженеров, вместо взятой Голо-

ватым Березани, в одну ночь построили впереди Очакова отдельный редут.

Это укрепление, выдававшееся на довольно значительное расстояние от крепости, стало сильно вредить нашим осадным работам и батареям.

Потемкин, в сопровождении своего блестящего штаба и иностранных гостей, отправился лично осмотреть этот выросший вдруг как из-под земли редут.

— Однако, укрепление это построено на славу, взять его будет трудно и на это надо будет потратить немало времени... — заметил принц Нассау-Зиген.

— Ваша правда, — отвечал князь, — но через часа два-три его не будет.

Затем, обратясь к генерал-поручику Павлу Сергеевичу Потемкину, Григорий Александрович приказал ему поручить одному из храбрейших штаб-офицеров немедленно же взять редут с батальоном гренадер, а в помощь им назначить пять батальонов пехоты и несколько сотен кавалерии.

Штаб-офицер, получив приказание, объяснил невозможность исполнить его днем и

просил или отложить его до вечера, или дать солдатам фашиннику для закидки рва и штурмовые лестницы, в противном случае, — говорил он, — люди погибнуть совершенно даром.

Павел Сергеевич оценил справедливость этих доводов и сообщил князю о разговоре своем с офицером, равно и о том, что при армии нет фашинника и лестниц.

Григорий Александрович сам очень хорошо видел, что не подумав, без расчета, выпустил слово, но отменить его значило показать пустую похвальбу.

Самолюбие князя было задето и он, внутренне досадуя на себя сказал с наружным равнодушием:

— Хоть тресни да полезай.

Слова эти буквально переданы штаб-офицеру.

Последний собрал свой батальон, велел гренадерам стать в ружье, сомкнул их в колонну и, сообщив о приказании главнокомандующего, громко сказал:

— Итак, товарищи, надо помолиться Господу Богу и его святому угоднику Николаю

Чудотворцу, попрося помощи свыше. На колени!

Солдаты упали на колени и стали усердно молиться. Молился на коленях и батальонный командир. Наконец, он встал. Встали и солдаты.

— Теперь с Богом, вперед. Помните, братцы, по-суворовски, точно так, как он, отец наш, учил нас.

Осенив себя крестом и взяв ружья наперевес, батальон, обреченный на верную смерть, быстро направился к турецкому укреплению, твердо решившись или взять его или погибнуть.

Григорий Александрович молча следил за гренадерами, и лишь только они приблизились к реду, велел двинуть беглым шагом приготовленные к подкреплению их войска с полевой артиллериею.

Турки в недоумении смотрели на происшедшее и наконец, Догадавшись, открыли убийственный огонь.

Гренадеры шли вперед, несмотря на осыпавшие их ядра и пули и шагов за тридцать перед рвом остановились на мгновение.

Три роты сделали залп из ружей в турок, усыпавших вал, и с криками «ура» бросились в ров, а оттуда полезли в укрепление.

Четвертая, рассыпавшись по краю рва, била пулями по головам неприятелей.

Произошла ужасная схватка и минут через десять наши солдаты уже ворвались в укрепление, наповал поражая отчаянно защищавших турок.

Укрепление было взято, гарнизон его переколот, но подвиг этот стоил потери трехсот лучших солдат. Иностранцы диву дались перед геройством русского войска.

Светлейший главнокомандующий торжествовал и велел тотчас же представить к наградам уцелевших храбрецов.

Прошло несколько дней.

Штаб-офицер, взявший укрепление, был приглашен к столу князя — честь, которой удостаивались немногие из офицеров в его чине.

За обедом Григорий Александрович завел разговор о заселении Новороссийского края, и вдруг, обратясь к штаб-офицеру, спросил его:

- Вы которой губернии?
- Слободско-Украинской, ваша светлость.
- Имеете имение?
- Отец мой имеет.
- И хозяйственные заведения есть?
- Есть, ваша светлость.
- А какие?
- Посевы, сады, заводы винокуренные, конские и рогатый скот. Есть овцы и пчелы.
- А пчелы ваши лесные или в хозяйстве разведенные?
- Домашние, ваша светлость.
- Э... домашние ленивы и крупнее лесных.
- Точно так, ваша светлость, прекрупные.
- А как?
- Да с майского большого жука будут.
- Потемкин улыбнулся.
- И!.. А улья какие же?
- Улья и летки обыкновенные, ваша светлость.
- Да как же такие ваши пчелы лезят в летки?
- Ничего нет мудреного, ваша светлость, у нас так: хоть тресни, да полезай...

Григорий Александрович закурил губу и прекратил разговор.

Он понял, что штаб-офицер намекает на его необдуманное приказание штурмовать среди белого дня и без лестниц турецкое укрепление.

Вскоре этот штаб-офицер со своим батальоном был удален из-под Очакова, под предлогом усиления корпуса Суворова, охранявшего Херсон и Кинбурн.

Осада, между тем, все тянулась.

Но, наконец, медлить было нельзя. В Петербурге недоброжелатели князя громко говорили о его промахах и сама императрица высказывала неудовольствие. Надо было решиться на штурм Очакова и Потемкин решился.

Это было 6 декабря 1788 года.

Стоял сильный мороз, и кровь, лишавшая из ран, моментально застывала.

Так говорит предание.

Начался приступ.

Турки сопротивлялись с отчаянным упорством, но ничем не могли удержать победоносного русского солдата. Битва была страш-

ная и кровопролитная.

В недалеком расстоянии от места сражения на батарее сидел, подперев голову рукой, генерал с одною звездою на груди.

Тревожное ожидание отражалось на лице.

Он обращал свой унылый взор то к небу, то к месту битвы.

Ядра со страшным свистом летали вокруг него, в нескольких шагах от него лопнула граната и осыпала его землю, но он даже не двинулся с места, а продолжал, вздыхая, проносить:

— Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Вдруг взор его, как бы прикованный, остановился на одном пункте... Русские мундиры показались на городских валах.

— Ура! Ура! — раскатилось вдали.

От валов до бастионов был один шаг, русские овладели ими. Очаков был взят.

— Тебя, Бога хвалим! — громким голосом воскликнул генерал и осенил себя истовым крестным знамением.

Генерал этот был — сам Потемкин.

Он тотчас же отправил донесение императрице и вскоре получил орден святого вели-

комученника и победоносца Георгия I класса и шпагу, украшенную алмазами, в шестьдесят тысяч рублей.

Все офицеры, бывшие при взятии Очакова, получили золотые кресты, а нижние чины — серебряные медали на георгиевской орденской ленте.

В числе отчаянно дравшихся под стенами Очакова был и наш знакомец — Щегловский, уже ранее пожалованный золотой саблей и капитанским чином за храбрость и орденом святого Георгия за взятие в плен турецкого паши.

За долгое сопротивление город был предан на три дня в добычу победителям.

Десятка два солдат из отряда Щегловского возвратился к нему с мешками золота и, поощренные удачей, отправились снова на поиски.

Несколько раз возвращались они с сокровищами, но раз пошли и не вернулись более.

Василий Романович должен был вскоре выступить, взять сокровища не было возможности, да и было опасно.

Завалив землянку с серебром и золотом,

он покинул Очаков.

Он уже более не возвращался туда никогда и неизвестно, сохранился ли этот скрытый им клад.

К фельдмаршалу, в числе пленных, был приведен очаковский комендант сераскир Гуссейн-паша.

Потемкин гневно сказал ему:

— Твоему упорству мы обязаны этим кровопролитием.

— Оставь напрасные упреки, — отвечал Гуссейн, — я исполнял свой долг, как ты свой; судьба решила дело.

Взятие Очакова произвело потрясающее впечатление не только в Петербурге и Константинополе, но и во всей Европе.

III

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Очаков пал.

Добыча была громадна. На долю Потемкина, между прочим, достался изумруд, величиною с куриное яйцо.

Он послал его в подарок государыне.

Как мы уже говорили, Григорий Александрович сам сознавал необходимость решительных действий и, желая поднести ключи Очакова императрице в день ее тезоименитства, назначил днем штурм 24 ноября.

К этому дню, однако, не успели окончить все приготовления и штурм был отложен до 6 декабря.

Войска узнали о намерении главнокомандующего с восторгом. Солдаты, встречаясь между собой, обнимались и поздравляли друг друга.

Интересен приказ, отданный князем по армии 1 декабря 1788 года:

«Истоца все способы к преодолению упорства неприятельского и преклонения его к

сдаче осажденной нами крепости, принужденным я себя нахожу употребить, наконец, последние меры. Я решился брать ее приступом и на сих днях, с помощью Божиею, приведу оный в действие. Представляя себе торжество и неустрашимость войска российского и предполагая оным крайность, в которой находится гарнизон очаковский, весьма умалившийся от погибших во время осады, изнуренный болезнями и терпящим нужду, ожидаю я с полною надеждою благополучного успеха. Я ласкаюсь увидеть тут отличные опыты похвального рвения, с которым всякий воин устремится исполнить своей долг. Таковым подвигом, распространяя славу оружия российского, учиним мы себя достойными названия, которое имеет армия, мною предводимая; мне же останется только хвалиться честью, что я имею начальствовать столь храбрым воинством. Да дарует Всевышний благополучное окончание».

Приступ продолжался всего час с четвертью.

Мы уже знаем, что русские солдаты не щадили никого, кроме женщин и детей, озлоб-

ленные долгим ожиданием и отчаянным сопротивлением.

Наполненный трупами, Очаков представлял страшное зрелище.

Не было возможности похоронить их, а потому трупы, вывезенные на Лиман, оставались там до весны, когда и стали добычею подводного царства Черного моря.

Трофеи победителей состояли в 310 пушках и мортирах и 180 знаменах. Число пленных простиралось до 283 офицеров и 4000 солдат. Число убитых с неприятельской стороны превышало 10000 человек. С нашей стороны было убито и ранено 150 штаб и обер-офицеров и свыше 3000 нижних чинов.

Взятие Очакова было для России тем важно, что оно открыло для нее свободное плавание по всему Днепру, обеспечило плавание по Черному морю и обуздао турок и татар, утвердив владычество России в Малой Татарии и в Крыму.

Взятие этой крепости, кроме того, способствовало утверждению спокойствия в этом крае и даровало средство к приведению его посредством земледелия и торговли в цветущее

щее состояние.

Действия Украинской армии были сравнительно ничтожны. Румянцев, недовольный предпочтением, оказываемым Потемкину, провел все лето в бесплодных переходах по Молдавии и ограничился сдачей Хотина и занятием Ясс.

Австрийцы потерпели во всех своих предприятиях полнейшую неудачу, император Иосиф, лично предводительствовавший армией, был разбит турками и, возвратясь в столицу, помышлял уже не о победах, а о защите собственных владений.

Григорий Александрович лично распоряжался расстановкой армии по зимним квартирам в Очакове и Молдавии, а конницы за Днестром.

В это время небольшой отряд турецких пленных был отправлен под присмотром турецкого чиновника в Яссы.

Дорогой пленники, по наущению чиновника, бросились на сопровождавший их слабый конвой казаков, разбили его и пустились в бегство, но вскоре были пойманы и приведены в главную квартиру.

Потемкин потребовав к себе турецкого чиновника и сделал ему грозный выговор.

— Как бы поступил верховный визирь с русскими, если бы они сделали тоже самое, что и ты? — спросил он.

— Верховный наш начальник велел бы отрубить голову русскому чиновнику, — трепещущим голосом отвечал турок.

— А я... я прощаю тебя... — сказал Григорий Александрович.

Турок упал к ногам великодушного главнокомандующего.

Не только отдав все распоряжения, но и убедившись в их точном исполнении, светлейший отправился в Петербург, куда призывала его императрица, обрадованная взятием Очакова, оправдавшим ее надежды «друга и ученика».

Он пристыдил своих врагов.

«За ушки взяв обеими руками, — писала государыня Григорию Александровичу, — мысленно целую тебя, друг мой сердечный... всем ты рты закрыл и сим благополучным случаем доставляется тебе еще раз случай оказать великодушные ложно и ветренно тебе

осуждающим».

Екатерина вызывала его в Петербург для совещания о плане будущей кампании и о делах со Швецией, которая пользуясь затруднениями России на юге, объявила нам тоже войну.

Светлейший по дороге заехал в Херсон и там прожил около двух недель, для распоряжений по части кораблестроения.

В числе многочисленной свиты, сопровождавший победителя, были знакомый наш Василий Романович Щегловский и молодой поставщик армии первой гильдии купец Яковкин.

Щегловский лично испросил у князя позволение ехать с ним в Петербург, для свидания с родными.

— С родными ли... — подозрительно спросил его Потемкин.

— Только с родными, ваша светлость, — отвечал Василий Романович, делая ударение на первом слове.

— Хорошо, поезжай, но, смотри, только с родными... — сказал князь.

— Слово офицера, ваша светлость...

— Хорошо, говорю, поезжай, но если...

Светлейший не договорил и вышел из приемной.

История другого спутника князя, Яковкина, является чрезвычайно интересной.

Его отец был тот самый петербургский торговец, который, если не забыл читатель, был «кормилец гвардии», отпускавший в долг солдатам и офицерам незатейливые товары своей лавочки.

В числе должников был, как мы знаем, в молодости и Потемкин.

Вскоре после отъезда Потемкина в Новороссийский край для приготовления к встрече государыни, старый Яковкин, не получая уплаты от множества должников, совершенно проторговался и обанкротился.

Займодавцы, рассмотрев его счета, признали его должником несостоятельным и посадили в тюрьму.

Сын Яковкина — юноша восемнадцати лет, предвидя беду, с согласия своего отца, скрылся, имея в кармане всего семнадцать рублей.

Тщетно кредиторы отыскивали его — он

проводил где день, где ночь и потом приютился у раскольников, в одной из белорусских губерний.

Вследствие просьбы кредиторов, правительство присудило отдать старика Яковкина, еще стройного и ловкого, в солдаты. Ему забрили лоб и определили на службу в полевые полки. В то время, когда отец тянул тяжелую солдатскую лямку, сыну его часто приходило на мысль явиться к светлейшему князю и получить с него должок, простиравшийся до пятисот рублей.

«Но как осмелиться беспокоить могущественного вельможу. Да и допустят ли к нему?» — раздумывал молодой Яковкин.

Однако, до Яковкина стали доходить слухи, что светлейший очень милостив к простому народу и солдатам, допускает их к себе без замедления, и что только одни высшие чины не смеют войти к нему без доклада, а простого человека адъютанты берут за руку и прямо вводят к князю.

Слухи эти, хотя и были преувеличены, но заключали в себе значительную долю правды.

Они ободрили Яковкина, он решился и, помолившись Богу, пустился пешком в армию к Очакову.

Здесь он отыскал знакомого маркитанта, расспросил его, когда, как и через кого можно достигнуть светлейшего и, получив подробное наставление, явился в княжескую ставку и, доложив о себе адъютанту, был приведен к Григорию Александровичу.

— Кто такой? Что тебе нужно от меня?

Яковкин задрожал. Сердце его замерло, он упал на колени и трепещущим голосом сказал:

— Я Яковкин, сын бывшего мелкого торговца в Петербурге.

Потемкин задумался. Это имя, этот человек напомнили ему былое, давно прошедшее. Опустив голову, он, по обыкновению, грыз ногти, а потом вдруг весело улыбнулся и сказал:

— А, теперь только я вспомнил и тебя — тогда еще мальчика, и отца твоего — честного человека. Встань! Ну, как поживает твой старик?

— Давно не видал его, ваша светлость, он

отдан в военную службу по приговору заимодавцем.

Яковкин рассказал все, как было.

— Вы глупы оба, — заметил князь, — почему не писал ко мне? Почему ты тогда же не явился? А!.. В каком полку твой старик?

— В нижегородском пехотном полку служит солдатом, ваша светлость. А я, отец ты мой, не смел явиться к тебе; опасался... Да, наконец, услышал от одного проезжего офицера, что ты, государь, милостивый, принимаешь милостиво всех нас, бедных, решился, и вот пришел к тебе, отец мой! Не оставь и меня, и отца моего...

Яковкин снова упал на колени перед светлейшим.

— Встань! Встань! — сказал князь и, обратясь к адъютанту, добавил: — Баур! Возьми его на свои руки. Одень и все, все ему. Да, кажется, я должен отцу твоему, Яковкин?

— Так, ваша светлость, было малое толико!

— А сколько? Ведь я согрешил, забыл и что должен-то был.

— Да четыреста девяносто пять рублей двадцать одну копейку с деньгой.

— Ну хорошо. Ступай теперь. После увидимся.

Яковкин опять бросился в ноги князю и со слезами благодарил его.

Через несколько дней Яковкин был вымыт, выхолен и одет щегольски в кафтан из тонкого сукна, подпоясан шелковым кулаком, в козловых сапогах с напуском и рубашке тонкого александрийского полотна с косым, обложенным позументом, воротом, на котором блестела золотая запонка с крупным бриллиантом. В таком виде он был представлен князю Бауром.

— А, господин Яковкин, здравствуй! — весело встретил его Потемкин. — Да ты сделался молодцом.

Яковкин упал на колени.

— Ваша светлость, да наградит же вас Господь Бог! От милости твоей я не знаю, жив ли я, или мертвый? Вот третий день я как во сне, живу словно в раю. О, спасибо же вам, отец родной!

Князь был в духе и разговорился с молодым человеком.

Узнав, что он умеет хорошо читать и пи-

сать, знает арифметику и мастерски считает на счетах, Григорий Александрович спросил его:

— Скажи-ка мне, Яковкин, не хочешь ли ты быть поставщиком всего нужного нам в полевые лазареты для больных моей армии?

— Ваша светлость, да у меня не только лошади с повозкой, но и кнутовища нет, а рад бы душой служить вашей светлости, — ответил Яковкин, не поняв вопроса.

— Не то, — возразил князь, — ты не понял.

— Василий Степанович, — обратился он к Попову, — старого поставщика долой, расчесть, он испортился, а Яковкина на его место, он первой гильдии купец здешней губернии. Растолкуй ему, в чем дело. Для первых оборотов дать ему деньги взаймы, дать все способы. Все бумаги приготовить и представить мне. Ну, Яковкин! Теперь ты главный подрядчик. Поздравляю!.. Э, Василий Степанович! А что о старике?

— Писано, ваша светлость, — отвечал Попов, — к полковому командиру, чтобы он произвел его в сержанты, имел к нему особенное внимание и об исполнении донес вашей свет-

лости.

— Хорошо, — сказал Григорий Александрович, — да не забудь: через шесть месяцев он аудитор с заслугою на подпоручий чин. Вот, — продолжал князь, обращаясь к Яковкину, — и отец твой сержант, а после будет и офицер.

Яковкин залился слезами и ссыпал поцелуями ноги князя.

Он честно провел порученное ему дело и вскоре разбогател с легкой руки светлейшего.

Его-то и вез с собою в Петербург Григорий Александрович на побывку и для свидания с отцом, которого князь перевел в Петербургский гарнизон.

IV ТРИУМФ

Едва ли триумфы полководцев классической древности были более великолепны, нежели триумф светлейшего князя Григория Александровича Потемкина, при его возвращении в Петербург после взятия Очакова.

В пространственном отношении он несомненно превосходил их все, так как это было триумфальное шествие по всей России.

Во всех попутных городах, в ожидании светлейшего триумфатора, звонили в колокола, стреляли из пушек, зажигали роскошные иллюминации.

Жители и все власти, начиная с губернатора до мелких чиновников, выходили далеко на дорогу для встречи князя и с трепетом ждали этого земного полубога.

Григорий Александрович, одетый в дорожный, но роскошный костюм: в бархатных широких сапогах, в венгерке, крытой малиновым бархатом, с собольей опушкой, в большой шубе, крытой шелком, с белой шалью во-

круг шеи и дорогой собольей шапкой на голове, проходил мимо этой раззолоченной раблепной толпы, как Голиаф между пигмеями, часто даже кивком головы не отвечая чуть не на земные поклоны.

Его, пресыщенного и наградами, и почестями, не радовали эти торжества встречи, эти знаки поклонения, эти доказательства его могущества и власти.

Совершенные им дела он не считал своими — он их исключительно приписывал Богу.

Князь, как мы уже имели случай заметить, был очень набожен и не приступал ни к какому делу без молитвы. Любимым предметом его беседы было богословие, которое он изучил очень основательно.

Великолепные храмы, построенные им на юге России, и богатые вклады, пожертвованные разным монастырям, до сих пор служат памятниками его набожности.

Относя все свои успехи и удачи к Промыслу Божию, он видел в них лишь проявление особенной к себе милости и благоволения Господа.

Еще недавно, когда в бытность князя в Но-

вогеоргиевске, было получено известие о первой морской победе принца Нассау-Зигена над турками.

— Это произошло по воле Божией, — сказал Григорий Александрович окружающим. — Посмотрите на эту церковь, я соорудил ее во имя святого Георгия, моего покровителя, и сражение под Кинбурном случилось на другой день его праздника.

Вскоре принц Нассау прислал донесение еще о двух новых победах своих.

— Не правду ли я говорил, — радостно воскликнул князь, — что Господь меня не оставляет. Вот еще доказательство тому. Я избалованное дитя небес.

Сообщая Суворову об удачных морских действиях принца Нассау, Григорий Александрович писал:

«Мой друг сердечный, любезный друг! Лодки бьют корабля, пушки заграждают течение реки. Христос посреди нас. Боже! Дай найти тебя в Очакове!»

Во время осады Очакова князь однажды сказал принцу де Линю:

— Не хотите ли посмотреть пробу новых

мортир. Я приказал приехать за мной шлюпке, чтобы отвезти на корабль, где будут производиться опыты.

Де Линь согласился и они отправились на Лиман, но, к удивлению, не нашли там ни одной лодки.

Приказание князя почему-то не было исполнено.

Делать нечего, пришлось оставаться на берегу и смотреть издали на опыты.

Они удались прекрасно.

В эту минуту появилось несколько неприятельских судов.

На корабле поспешно начали готовиться к обороне, но второпях забыли о порохе, насыпанном на палубе и покрытом только парусом.

При первых же выстрелах порох вспыхнул и корабль вместе с экипажем взлетел на воздух, на глазах Потемкина и де Линя.

— То же самое впоследствии следовало бы и с нами, — уверенно, с набожным видом, сказал он принцу, — если бы Небо не оказывало мне особенной милости и не пеклось денно и ночью о моем сохранении.

Таким безусловно и глубоко верующим человеком был князь Григорий Александрович.

В столицу Потемкин прибыл вечером 4 февраля 1789 года. Дорога от Царского Села до Петербурга была роскошно иллюминирована. Иллюминация, в ожидании князя, горела по вечерам целую неделю. Мраморные ворота были украшены, арматурами и стихами из оды Петрова «На покорение Очакова», выбранными самою императрицей.

«Ты с плеском внидешь в храм Софии!»

Екатерина была совершенно уверена в дальнейших успехах Потемкина.

— Он будет в нынешнем году в Царьграде! — сказала она Храповицкому после получения известия о падении Очакова.

Несметные толпы ликующего народа сопровождали торжественный поезд победителя до самого Петербурга.

Григорий Александрович остановился в Эрмитаже.

Скажем несколько слов об этом выдающемся из памятников Екатерининского вре-

мени.

Мысль создать Эрмитаж явилась у государыни совершенно случайно.

В 1766 году, проходя через кладовую Зимнего дворца, в комнате верхнего этажа императрица нечаянно обратила внимание на большую картину, изображающую «Снятие со креста».

Картина эта, после кончины императрицы Елизаветы, была перенесена сюда из ее комнаты.

Екатерина долго любовалась ею и здесь у нее родилась мысль завести у себя картинную галерею.

Вскоре она повелела собрать все лучшие картины, находившиеся в других дворцах, а также приказала своим министрам и агентам при иностранных дворах скупать за границей хорошие картины и присылать к ней.

Таким образом были приобретены, в течение нескольких лет, известные богатые картинные коллекции: принца Конде, графов Брюля и Бодуэна, берлинского купца Гоцковского, лорда Гаугтона и еще много других.

Кроме покупок, императрица заказала

лучшим художникам снять копию с ложи Рафаэля.

К собранию картин императрица присоединила коллекцию античных мраморов, приобретенных в Риме, купила также все мраморные статуи у известного в то время мецената Шувалова; затем государыня приобрела у принца Орлеанского богатейшую коллекцию разных камней, античных гемм и стала покупать отрываемые в раскопках древности: монеты, кубки, оружие и пр.

Положив основание художественной части Эрмитажа, государыня избрала его местом отдохновения в часы, свободные от государственных занятий.

Здесь она делила свой досуг в беседе с Дидро, Гриммом, Сепором, принцем де Линь, Потемкиным, Шуваловым, Строгановым и многими другими остроумнейшими людьми своего времени.

Эрмитажем собственно называлась уединенная комната, где теперь хранятся эскизы и рисунки Рафаэля и других великих художников.

Она-то и дала имя всему зданию.

Из этой комнаты был выход в так называемую «Алмазную комнату», в которой, по приказанию императрицы, были собраны разные редкости из финифти и филиграна, агата, яшмы и других драгоценных камней.

Тут поместили все домашние уборы русских царей и бывшие у них в употреблении вещи: часы, табакерки, кувшины, зеркала, бокалы, ножи, вилки, цепочки, солонки, чайные приборы, перья, букеты.

Здесь хранились, между прочим, филиграновые туалеты царевны Софьи Алексеевны и царицы Евдокии Лукьяновны; хрустальный кубок императрицы Анны Иоанновны; серебряная пудреница Елизаветы Петровны, золотая финифтяная чарочка царя Михаила Федоровича; часы, служившие шагомером царю Алексею Михайловичу, модель скромного домика, в котором обитал Петр Великий в Саардаме; кукла, одетая по-голландски — копия с хозяйки этого домика; изображения Полтавской битвы и морского сражения при Гангуте, высеченные резцом Петра; табакерки, игольник и наперсток работы Екатерины.

Впоследствии эти достопримечательности

были расставлены по галереям Эрмитажа.

Первою из этих галерей считалась та, которая примыкала к южной части висячего сада.

Все три галереи были со сводами и имели около трех сажен ширины и четыре вышины.

Окна выходили только в сад.

Из первой галереи выстроен в своде переход через переулок в придворную церковь Зимнего дворца.

Вторая галерея, западная, примыкала к застройке флигеля, через который государыня из внутренних покоев ходила в Эрмитаж.

По обеим сторонам дверей находились вазы из белого прозрачного мрамора с барельефами, на подножках цветного мрамора, в четыре фута вышины.

Подле них стояли два женских портрета в восточных нарядах, в подвижных рамах.

Они были сделаны на императорской шпалерной фабрике.

В третьей, восточной, галерее были еще такие же две вазы.

В последней комнате все стены и промежутки между окон были покрыты картинами.

Окруженный с трех сторон галереями, а с северной залом Эрмитажа, висячий сад имел вид продолговатого четырехугольника, около двадцати пяти сажен длины и двенадцати сажен ширины.

Своды были покрыты землею на три фута, так что сад имел такую же вышину, как пол в галереях.

Сад был покрыт дерном, а между роскошными рядами прекрасных березок шли дорожки, усеянные песком.

В конце каждой из них стояли из белого мрамора, работы Фальконета, на подножьях из дикого камня.

В северной части сада была устроена высокая оранжерея, с галереей вверху.

В этом зимнем саду содержалось множество попугаев и редких птиц, обезьян, морских свинок, кроликов и других заморских и наших зверьков.

От галереи, с восточной стороны, шли комнаты, в одной из которых стоял бюст Вольтера в натуральную величину из красноватого мрамора, на столбе из дикого камня.

В прилегающих к этим и другим комнатам

стояло еще несколько бюстов Вольтера: один из фарфора, другой из бронзы, сделанные с оригинала Гудоном.

Все эти комнаты были украшены бронзовыми группами из жизни древней Греции и Рима.

Подле угольной комнаты к оранжерее находился зал, вместо стены с одной стороны были громадные окна в сад; рядом с залом была столовая комната.

Пол здесь состоял из двух квадратов, которые вынимались и из них поднимались и опускались посредством особого механизма два накрытых стола на шесть приборов.

Императрица здесь обедала без присутствия слуг.

В этой комнате стояли два бюста работы Шубина: графа Румянцева и графа Шереметьева.

Из этой комнаты шла арка ко второму дворцу Эрмитажа.

В первой, овальной зале этого дворца со сводами и высокою галереею, поддерживаемую тринадцатью столбами, никаких украшений не было.

Висели только два рисунка с изображением цветов, писанные великою княгиней Мариею Федоровною, и несколько географических карт.

В небольшой угловой комнате за этим залом сохранялся токарный станок Петра Великого и разные выточенные им работы из стеновой кости.

Рядом, в овальной комнате, стоял большой бильярд и маленькая «форуна».

Стены этой комнаты были увешаны картинами.

В небольшой комнате, «диванной», рядом с бильярдной, стоял драгоценный столик из разноцветных камней, а в углах бюсты адмиралов: графа А. Г. Орлова и В. Я. Чичагова.

В соседней комнате стояли две драгоценные вазы: одна из стекла аметистового цвета, а другая фарфоровая с тонкою живописью.

Тут же было одно из первых и древнейших фортепьян с флейтами.

В комнате рядом помещались две мраморные группы и большой фарфоровый сосуд на круглом пьедестале, в четыре фута вышины, из голубого состава, работы Кенига.

В следующем, полукругом зале находилось изображение римских императоров Иосифа и Леопольда и бюст князя Потемкина-Таврического.

Уборная императрицы, кроме обыкновенной мебели, имела следующие редкости: играющие часы работы Рентгена, бюсты Цицерона и Вольтера, античное изображение Дианы с собакой из слоновой кости, античный стол, горка из уральских драгоценных камней с каскадами из аквамарин.

В следующем, большом зале висело шесть хрустальных люстр и были расположены разные китайские редкости.

Первая комната, на восточной стороне, по каналу, вела к лестнице главного входа в Эрмитаж, сделанной из одноцветного камня; напротив нее был переход через канал в придворный театр.

В комнате перед проходом построен был греческий храм, в котором стояло изображение из мрамора «Амур и Психея».

Далее, во всю длину по каналу, шли «ложи Рафаэля», расписанные *al fresco*.

Затем следовали императорская картин-

ная галерея, кабинеты минералогические и скульптурных античных мраморов.

Таков был Эрмитаж при его основательнице, императрице Екатерине.

Потемкину было отведено помещение во втором дворце.

Императрица, желая особенно почтить его, предупредила его представление и сама первая посетила его.

Своеручно возложила она на князя орден святого Александра Невского, прикрепленный к драгоценному солитеру, и подарила сто тысяч рублей.

Через несколько дней, при утверждении доклада о наградах за очаковский штурм, государыня приказала выбить медаль с изображением князя, и пожаловала ему, «в доказательство своей справедливости к благоразумному предводительствованию им екатеринославской армией», фельдмаршальский жезл, украшенный лаврами и алмазами, и золотую шпагу, тоже с алмазами и с надписью: «командующему екатеринославскою сухопутною и морскою силою, успехами увенчанному».

Шпага была поднесена Григорию Алексан-

дровичу на большом золотом блюде, имевшем надпись: «командующему екатеринославскою сухопутною и морскою силою и строителю военных судов».

При дворе и у вельмож начались балы и праздники.

V

СМОТРИТЕЛЬ ПАМЯТНИКА

Снова разной формы и цвета экипажи стали запруживать каждый день, в приемные часы светлейшего, Миллионную улицу.

Снова массивные двери дворца то и дело отворялись, впуская всякого рода и звания людей, имевших надобность в властном вельможе.

А надобность эту имели очень многие.

Иные ехали благодарить за оказанное покровительство, другие искали заступничества сильной руки Потемкина, те надеялись получить теплое местечко, а те шли на горячую головомойку.

Большинство же торчало в его приемной лишь для того, чтобы обратить на себя вни-

мание случайного человека, выказать ему лицемерное почтение, принести дань далеко неискреннего уважения, преклониться кумиру со злобной завистью.

Григорий Александрович хорошо знал настроение большинства этой низкопоклонничающей знати, которая еще так недавно старалась обнести его перед государыней всевозможною клеветою, а теперь ползала перед ним в прах и тем же подлым языком готова была лизать его ноги, а потому и не очень церемонился со своими гостями, заставляя их по целым часам дожидаться в его приемной и по неделям ловить его взгляд.

В один из таких дней, в самый разгар княжеского приема, к роскошному подъезду дворца, робко озираясь, нерешительною походкою подошел дряхлый старик с косичкою, выглядывавшей из-под порыжевшей шляпы духовного фасона, в нагольном полушубке, сильно потертом, и с высокой палкой в руках, одетых в рукавицы. Обут старик был в валенки, обшитые кожей сильно пообившеюся.

В подъезде то и дело сновали разодетые сновники и военные генералы, а отворявший

дверь швейцар в расшитой золотом ливрее показался пришедшему важнее и строже всех этих приезжающих.

Старик остановился в сторонке и растерянным, боязливым взглядом стал смотреть на роскошные двери, охраняемые таким знатным господином, изредка своими подслеповатыми, слезящимися глазами решаясь взглянуть на последнего.

Седенькая, жиденькая бородка старичка мерно покачивалась, указывая на нерешительное раздумье ее обладателя.

С час времени простоял старик неподвижно, пока, наконец, не обратил на себя внимания важного на вид, но добродушного швейцара.

— Ты чего, дедушка, тут на ветру мерзнешь, ходь сюда, в подъезд, здесь не дует.

— Разве дозволено... — тихо, как бы про себя, сказал старик и робко подошел к подъезду.

— Ты кого ждешь, што ли, дедушка? — спросил швейцар.

— Поспросить думал во дворце, может знают, где живет Григорий Александрович, мо-

жет твоя милость знает...

— Какой Григорий Александрович?

— Потемкин.

— Его светлость?..

— Уж не знаю, милый человек, как его здесь величают... А по мне так Гриша.

— Гриша!.. Поди-ж ты какой... Первого, можно сказать, после матушки-царицы вельможу, а он — Гриша...

— Первого... не врешь?.. — вскинул удивленный взгляд на швейцара старик.

— Конечно же первого... Да ты, брат, откуда взялся?..

— Из Смоленской губернии, родименький, из села Чижова, дьячек я тамошний... вот кто...

— Как же тебе светлейший-то доводится, что он для тебя Гриша...

— Доводиться-то никак не доводится, а грамоте я его обучал мальчонком, за уши, бывало, дирал, за милую душу, хлестко дирал, ленив да строптив был, постреленок...

Старик улыбнулся беззубым ртом, весь отдавшись воспоминаниям прошлого;

— Вот оно что... Значит повидать своего

выученика приплелся, каков он стал поглядеть...

— Да вот разыскать бы его, посмотреть, может куда-нибудь меня, старика, пристроит...

— Пристроит, коли захочет, как не пристроить, барскую мамзель, гувернантку, бают к гвардейскому полку приписал, и жалованье положил... он у нас чудесник...

— А проживать-то где он изволит? — спросил старик.

— Как где, да здесь...

— Во дворце?.. — удивился старик.

— А то где же ему проживать, говорю, вельможа первеющий.

— Первеющий...

— Коли повидать желательнo, в самый раз, ходь, дедушка, кверху, в приемную...

— Ты, внучек, коли в дедушки меня записал, зубоскалить-то брось... Над стариком смеяться грешно... Ишь, что выдумал, ходь вверх, в приемную... Так я тебе и поверил...

Много времени и слов пришлось истратить швейцару, пока он убедил старика-дьячка, что не смеется над ним, и что, поднявшись наверх, в приемную, он может пови-

дать своего Гришу.

Для вящей убедительности он даже позвал лакея, который подтвердил его слова и проводил старика в приемную.

Волшебная обстановка, ленты, звезды, толпы придворных, преклонявших перед прежним деревенским школьником, ошеломили окончательно старого дьячка и он стоял, ни жив, ни мертв, между благоговейным страхом, смутною надеждой и мгновеньями безысходным отчаянием, покуда не упал на него рассеянный взгляд могучего вельможи.

Григорий Александрович узнал своего бывшего учителя, несмотря на долгий промежуток лет, разъединивших их в разные стороны, и, к удивлению придворных, бесцеремонно им раздвинутых, подошел к старику и приветливо взял его за руку.

— Здравствуй, старина!

— Какой же молодец стал ты, Гриша! — прошептал растерявшийся дьячок, окончательно обезумевший от лет, от неожиданного приема, от роскошной, никогда и во сне им не виданной обстановки. — Какой же ты молодец стал! — повторил он.

— Зачем ты прибрел сюда, старина? — ласково спросил его князь.

— Да вот пятьдесят лет, как ты знаешь, все Господу Богу служил, да выгнали за неспособностью. Говорят, дряхл, глух, глуп стал, так матушке-царице хочу чем-нибудь еще послужить, чтоб недаром на последях землю топтать, — не поможешь ли у ней чем-нибудь?..

— Поможем, поможем, старина, ты теперь у меня отдохни, тебя накормят, напоят и спать уложат, а завтра потолкуем, куда тебя приспособить: утро вечера, сам знаешь, мудренее.

Григорий Александрович отдал адъютанту соответствующие приказания.

— Да ты, Гриша, на голос мой не надейся, теперь я, голубчик, уж того — ау, — заметил дьячок.

— Слышу! — подтвердил, улыбаясь, князь.

— И видеть-то того — плохо вижу, уж раз сказал, что обманывать!..

— Разумеется!.. — согласился Потемкин.

— А даром хлеб есть не хочу, вперед тебе говорю, ваша светлость...

— Хорошо, хорошо, успокойся и ступай...

Дьячка увел адъютант во внутренние апартаменты.

Прием вскоре окончился.

На другой день, рано утром, когда еще князь был в постели, дьячок был позван к нему в спальню.

— Ты говорил вчера, дедушка, что ты хил, и глух, и глуп стал? — спросил Григорий Александрович.

— И то, и другое, и третье, как перед Богом сказать справедливо...

— Так куда же тебя примкнуть?

— Да хоть бы в скороходы или в придворную арапию, ваша светлость.

— Нет, постой! Нашел тебе должность! Знаешь ты Исакиескую площадь? — вскочил князь с кровати.

— Еще бы! Через нее к тебе тащился из гавани.

— Видел Фальконетов монумент императора Петра Великого?

— Еще бы! Повыше тебя будет!

— Ну, так иди же теперь, посмотри, благополучно ли он стоит и тотчас мне донеси.

Дьячок пошел.

Открытие памятника Петру Великому состоялось за семь лет до описываемого нами времени, а именно 7 августа 1782 года, в присутствии государыни, прибывшей на шлюпке, при выходе из которой была встречена всем сенатом, во главе с генерал-прокурором А. А. Вяземским, и сопровождаемая отрядом кавалергардского полка отправилась в сенат, откуда и явилась на балкон в короне и порфире.

Со слезами на глазах императрица преклонила голову и тотчас спала завеса с памятника и воздух огласился криками войска и народа и пушечными выстрелами.

Камень, служащий подножием колоссальной статуи Петра Великого, взят близ деревни Лахты, в 12 верстах от Петербурга, по указанию старика-крестьянина Семена Вишнякова.

Камень был известен среди окрестных жителей под именем «камня-грома».

По словам Вишнякова, на него неоднократно всходил император для обозрения окрестностей.

Камень этот лежал в земле на 15 футов глу-

бины и зарос со всех сторон мхами на два дюйма толщины.

Произведенная громовым ударом в нем расщелина была шириною в полтора фута и почти вся наполнена черноземом, из которого выросло несколько довольно высоких берез.

Вес этого камня был более четырех миллионов футов.

Государыня приказала объявить, что кто найдет удобнейший способ перевести этот камень в Петербург, тот получит 7000 рублей.

Способ этот придумал простой кузнец, а князь Корбург, он же граф Цефалони, купил его у него за ничтожную сумму.

В октябре 1766 года было приступлено к работам для поднятия камня.

От самого места, где лежал камень, дорогу очистили от леса на десять сажень в ширину.

Весь путь был утрамбован.

Везли камень четыреста человек, на медных санях, катившихся на медных шарах.

Как скоро камень достиг берега Невы, его спустили на построенную подле реки плотину и затем на специально приготовленное

судно.

22 сентября 1767 года, день коронации Екатерины, камень был торжественно провезен мимо Зимнего дворца, и на другой день судно причалило благополучно к берегу, отстоящему на 21 сажень от назначенного места для памятника.

В июне 1769 года, прибывший из заграницы архитектор Фальконет окончил гипсовую модель памятника.

Голову всадника сделала приехавшая француженка девица Коллот.

Для того, чтобы вернее изучить мах лошади, перед окнами дома Фальконета было устроено, искусственное возвышение, вроде подножия памятника, на которое по нескольку раз в день выезжал вскач искусный берейтор, попеременно на лучших двух лошадях царской конюшни: «Бриллиант» и «Каприсье».

5 августа 1775 года начата была отливка памятника и окончена с отделкой в 1777 году.

Модель змеи делал ваятель академии художеств Гордеев.

Такова краткая история памятника и этой

«нерукотворной Россовой горы», которая, по образному выражению поэта, «пришла в град Петров чрез невские пучины и пала под стопы Великого Петра».

О том, благополучно ли стоит этот памятник и послал Григорий Александрович справиться своего бывшего учителя, старого дьячка.

Дьячок вскоре вернулся с докладом.

— Ну, что? — спросил Потемкин, все еще лежа в постели.

— Стоит, ваша светлость.

— Крепко?

— Куда как крепко, ваша светлость.

— Ну и очень хорошо! А ты за этим каждое утро наблюдай, да аккуратно мне доноси. Жалованье же тебе будет производиться из моих доходов. Теперь ступай.

Обрадованный получением места, дьячок отвесил чуть не земной поклон и вышел.

Григорий Александрович позвал Василия Степановича Попова и сделал распоряжение относительно аккуратной выдачи жалованья «смотрителю памятника Петра Великого».

Дьячок до самой смерти исполнял эту обя-

занность и умер благословляя своего «Гришу».

VI ПОПУЩЕНИЕ

В одном из пустынных, в описываемое нами время, переулков, прилегающих к Большому проспекту Васильевского острова, ближе к местности, называемой «Гаванью», стоял довольно приличный, хотя и не новый, одноэтажный деревянный домик, в пять окон по фасаду, окрашенный в темно-серую краску, с зелеными ставнями, на которых были вырезаны отверстия в виде сердец.

К дому примыкал двор, заросший травой, с надворными постройками, и небольшой садик, окруженный деревянной решеткой, окрашенной в ту же серую краску, но значительно облупившуюся.

Над калиткой, почти всегда заложеной на цепь, около наглухо запертых деревянных ворот, была прибита железная доска, надпись на которой хотя была полустерта от дождя и снега, но ее все еще можно было прочитать,

была следующая:

«Сей дом принадлежит жене губернского секретаря Анне Филатьевне Галочкиной».

Его владелицей была знакомая нам бывшая горничная княгини Святозаровой и сообщница покойного Степана Сидорова в деле подмены ребенка княгини — Аннушка.

Был поздний по тому времени зимний вечер 1788 года — седьмой час в исходе.

Ставни всех пяти окон были закрыты и в сердцевидных их отверстиях не видно было огня в комнатах — казалось в доме все уже спали.

Между тем, это было не так.

Войдя, по праву бытописателя, в одну из задних комнат этого домика, мы застанем там хозяйку Анну Филатьевну, сидящую за чайным столом со старушкой, в черном ситцевом платье и таком же платке на голове.

Чайный стол накрыт цветной скатертью. Кипящий на нем больших размеров самовар, посуда и стоящие на тарелках печенья и разные сласти и освещавшая комнату восковая свеча в металлическом подсвечнике указывали на относительное довольство обитателей

домика.

Сама Анна Филатьевна с годами изменилась до неузнаваемости — это была уже не та вертлявая, красивая девушка, которую мы видели в имении княгини Святозаровой, в Смоленской губернии, и даже не та самодовольная дама умеренной полноты, которую мы встречали в кондитерской Мазараки — это была полная, обрюзгшая женщина, с грустным взглядом заплывших глаз и с поседевшими, когда-то черными, волосами.

Между редких бровей три глубоких морщины придавали ее почти круглому лицу какое-то невыразимо печальное выражение.

Одета она в темное домашнее платье.

Разговор со старушкой, с год как поселившейся у ней, странницей Анфисой, оставленной Анной Филатьевной для домашних услуг, «на время», «погостить», как утверждала сама Анфиса, все собиравшаяся продолжать свое странствование, но со дня на день его откладывая, вертелся о суете мирской.

В комнате было тихо и мрачно.

Воздух был пропитан запахом лекарств и давал понять всякому проходящему, что в до-

ме лежит трудно-больной и заставлял каждого и тише ступать по полу, и тише говорить.

Муж Анны Филатьевны, Виктор Сергеевич Галочкин, лежал на смертном одре.

— Вы говорите, Анна Филатьевна, болен — оно точно божеское попущение. Им, Создателем, каждому, то есть, человеку в болезнях быть определено; а плакать и роптать грех. Его воля — в мир возвратить, али к Себе отозвать, — говорила певучим шепотом Анфиса.

— Да я, матушка, и не ропщу, а со слезой что поделаешь, не удержу; ведь почти двадцать пять годов с ним в законе состоим, не чужой!

— Вестимо, не чужой, матушка, что и говорить.

— То-то и оно-то, может за эти годы какие от него обиды и побои видала, а муку его мученическую глядеть не в мочь; и как без него одна останусь и ума не приложу. Все-таки он, как ни на есть, а муж — заступник.

Анна Филатьевна заплакала.

— Это вы, матушка, правильно: муж и жена — плоть одна, и в писании сказано; а я к

тому говорю, что болезнь это от Бога, а есть такие попущения, что хуже болезни. Это уж он, враг человеческий, посылает. Теперича, к примеру, хозяин наш, Виктор Сергеевич, по христианскому кончину приятъ приготовился; ежели встанет — слава Создателю, и ежели отыдет — с душою чистою...

— И что ты, Анфиса, не накличь.

— Что вы, матушка Анна Филатьевна, зачем накликать? Наше место свято. Я вот вам про солдатика одного расскажу: от смертной болезни Божией милостью оправился, а противу беса, прости Господи, не устоял, — сгиб и души своей не пожалел. Силен он — враг-то человеческий.

— Расскажи, матушка, расскажи, авось забудусь я. За разговором-то мне и полегчает...

— Было это, родимая моя, годов назад пятнадцать; в эту пору я только овдовела. Деток, двух сынков, Он, Создатель, раньше к Себе отозвал; осталась я аки перст и задумала это для Господа потрудиться — по сиделкам за больными пошла — княгинюшка тут одна благодетельница в больницу меня определила. Недельки с две я в больнице пробыла;

привозят к нам поздно ночью нищего-солдата, на улице подобрали, и положили его в мою палату. Известное дело, дежурный дохтур осмотрел, лекарства прописал, по утру главный, Карл Карлович, царство ему небесное, добрый человек был, палаты обошел, с новым больным занялся. Порядок известный. Лежит солдатик этот неделю, другую, третью, лекарством его всяким пичкают, а не легчает. Дохтура с ним бились, бились, и порешили на том, что не встанет. Карл Карлович при нем это громко сказал и всякую диету для него велел прекратить. «Давайте ему все, что он ни пожелает», — приказ мне отдал. Ушли это они из палаты-то, а солдатик меня к себе подзывает: «Нельзя ли, — говорит, — мне медку липового?» Наше дело подневольное: Карл Карлович давать все приказал, ну я и послала. Принесли это ему медку на тарелке — я тем временем с другими больными занялась. Подхожу потом к нему, а он спит, и тарелка уже порожняя. И что бы вы, матушка, думали? В испарину его с эфтого самого меда ударило. Поутру дохтора диву дались: наполовину болезнь как рукой сняло.

— Ишь ты, мед какой полезительный! — вставила слово Анна Филатьевна.

— Не от меда, матушка, а такое, значит, уже Божье определение. Донесли это, значит, Карлу Карловичу, он сейчас мне свой приказ отменил, на диету посадили снова, лечить стали. Солдатик поправляется, ходить уже стал, но грустный такой, задумчивый.

— С чего же бы это?

— Я, матушка, и сама дивовалась; больные-то все перед выпиской веселые такие, а этот как в воду опущенный. Выбрала я минуточку и спросила его об этом. «Нечего, говорит мне, радоваться, капитал съел».

— Это, то есть, как же?

— Да так; рассказал он мне, что как доктора-то его к смерти приговорили, он это услышал, и грусть на него в те поры напала, кому его капитал достанется. А было у него в ладонке, на кресте, пятьсот рублей — все четвертными бумажками — зашито. И порешил он их съесть; мед-то ему дали, он их изорвал, смешал с ним, да и слопал, прости Господи!

— Ишь, грех какой! — удивилась Галочкина.

— Грех, матушка, грех, вражеское попущение!

— Ну, а ты ему что же?

— Я, вестимо, утешать начала: Бог-де дал, Бог и взял. Куда тебе! Только пуще затуманивается. Ну, я и оставила, авось, думаю, так обойдется: погрустит, да и перестанет.

— Что же перестал?

— Какой, родная, в эту же ночь в коридоре на крюке удавился. Вот он, бес-то, горами ворочает.

— Грехи... Слаб человек! Слаб! — заахала Анна Филатьевна.

— Уж именно, матушка, что слаб... Как раз ему, бесу-то, прости Господи, поддаться, он уже насядет, да и насядет... Я это, солдатику в утешение говорила: «Бог-де дал, Бог и взял», ан на поверку-то вышло, дал-то ему деньги не Бог, а он же, враг человеческий... Петлю ему на шею этими деньгами накиннул... да и тянул всю жисть, пока не дотянул до геенны огненной...

— До геенны... — побледнела Галочкина.

— А вестимо, матушка, до геенны... Кто руки на себя наложит, уже ведь и греха хуже

нету, непрощаемый, и молиться за них заказано, потому, все равно, не замолишь, смертный грех, матушка...

— Откуда же у него эти деньги взялись? — спросила Анна Филатьевна.

— Земляк его, матушка, опосля в больницу приходил, порассказал... Сироту, младенца, покойный, вишь, обидел... обобрал то есть... Господами был его жене на пропитание отдан, не в законе эти деньги прикарманил как в побывку ходил, от жены отобрал, а ребенок-то захирел, да и помер...

Анна Филатьевна сидела бледнее стоявшей перед ней белой чайной чашки и молчала.

Анна Филатьевна встала и шатаясь прошла в соседнюю комнату, где лежал больной Виктор Сергеевич.

Через минуту из этой комнаты раздался неистовый крик и шум от падения на пол чего-то тяжелого.

Анфиса бросилась туда и ее глазам представилась следующая картина: на постели, с закатившимися глазами и кровавой пеной у рта, покоился труп Галочкина; на полу, навз-

ничь, лежала без чувств Анна Филатьевна.

VII

БЫЛА ЛИ ОНА СЧАСТЛИВА?

Обморок с Анной Филатьевной был очень продолжителен, или скорее он перешел в болезненный, тяжелый сон.

Она совершенно пришла в себя только поздним утром другого дня.

Блуждающим взглядом обвела она вокруг себя.

Она лежала раздетая на двухспальной кровати, занимавшей добрую половину небольшой комнаты, служившей спальней супругам Галочкиным.

Кроме кровати, в спальне стояли комод, стол, а в углу киот-угольник с множеством образов в драгоценных ризах, перед которыми теплилась спускавшаяся с потолка, на трех металлических цепочках, металлическая же с красным стеклом лампада.

Анна Филатьевна уже месяца с два как спала одна в спальне, так как больного Виктора Сергеевича перевели в более просторную

комнату, рядом со столовой, где и поставили ему отдельную кровать.

Поэтому, проснувшись одна, Анна Филатьевна не удивилась. Удивило ее только странное, монотонное чтение, доносившееся из соседних комнат.

Анна Филатьевна некоторое время внимательно вслушивалась. Это читали псалтырь. Мигом она вспомнила все происшедшее накануне.

Анна Филатьевна думала. Перед ней проносилась вся ее жизнь со дня ее свадьбы с Виктором Сергеевичем, с тем самым Виктором Сергеевичем, который теперь лежит там, под образами, недвижимый, бездыханный...

Она сделалась чиновницей-барыней. Она купила это положение на деньги, добытые преступлением, преступлением подмены ребенка, обидою сироты...

Анна Филатьевна вспомнила вчерашний рассказ Анфисы.

Она невольно вздрогнула под теплым, ваточным одеялом, покрытым сшитыми уголками из разных шелковых материй.

Одеяло было пестрое, красивое.

— Когда и как, а все скажется... Грех это... — силилась она припомнить слова старухи.

— Скажется? А может быть уже и сказано? — задала она себе вопрос.

В самом деле, была ли она счастлива?

Анне Филатьевне в первый раз в жизни пришлось поставить себе ребром этот вопрос.

Она затруднялась ответом даже самой себе.

Со многими людьми может произойти то же самое, если не с большинством.

Как много людей живут без всяких целей, интересов, чисто растительною жизнью, для которых понятия о счастье узки, и, между тем, так разнообразны, что вопрос, поставленный категорически: «Счастливы ли они?» — поставит их невольно в тупик.

— С одной стороны, пожалуй, и да, а с другой, оно конечно... Живем ничего, ожидаем лучшего...

Вот ответ, который вы получите от них, после некоторого раздумья.

Да и что такое счастье?

Понятие относительное, но все же... чело-

век может быть и даже должен быть счастлив, хотя мгновеньями.

Если человеку, вообще, не суждено сказать на земле: я счастлив, то ему, по крайней мере, дается возможность сказать: я был счастлив. И это уже большое утешение.

Была ли хоть так счастлива Анна Филатьевна?

С одной стороны, пожалуй, и да... а с другой, оно, конечно...

Эта именно, или вроде этой фраза сложилась в уме лежавшей с закрытыми глазами Галочкиной, после долгого раздумья над вопросом: была ли она счастлива?

И действительно, с одной стороны ее жизнь катилась довольно ровно.

Первые годы муж служил. На часть ее денег они купили себе тогда домик. Виктор Сергеевич, впрочем, запивал и во хмелю был крут; Анне Филатьевне приходилось выносить довольно значительные потасовки... Анна Филатьевна терпела, потому трезвый он был хороший человек... Первого ребенка она выкинула, свалилась с лестницы в погреб и выкинула. После того было еще четверо де-

тей — три мальчика и одна девочка, и все они умирали, не дожив до году, только последняя девочка жила до семи лет... жила бы и до сих пор, здоровая была такая, да ее забодала корова. Больше детей у нее не было.

«Дети — Божье благословение!.. — вспоминалось Галочкиной, — значит на их доме благословения нет...»

«Скажется, как и когда, а скажется...» — снова лезли ей в голову слова Анфисы.

Она вернулась к своим воспоминаниям.

Вскоре после смерти девочки муж стал прихварывать и вышел в отставку... На службе он скопил деньжонок, так что вместе с оставшеюся у нее частью капитала образовалась довольно солидная сумма.

Виктор Сергеевич стал отдавать деньги в рост.

Дела пошли ходко.

Все окрестное неимущее население Васильевского острова полезло за деньгами к «Галке», как попросту называли Галочкина.

Вслед за мужем и у Анны Филатьевны развилась страсть к стяжанию, к скопидомству, к накоплению богатств.

В этом смысле они были удовлетворены.
Доходы с каждым годом росли.

Две комнаты дома, отведенные под кладовые, были полны всякого рода скарбом, принесенным в качестве заклада; тут были и меховые шубы, и высокие смазные сапоги, каждая вещь была под номером.

Книги вел сам Виктор Сергеевич.

В комод, стоявшем в той же кладовой, пять ящичков были наполнены золотыми и серебряными вещами, тоже занумерованными.

Проценты брались большие.

Бедность ведь и терпелива, и податлива.

Дом Галочкиных был полной чашей.

Они сладко ели и мягко спали.

«Но в этом ли счастье?» — задумалась Анна Филатьевна.

«Нет, не в этом!» — решила она мысленно.

Виктор Сергеевич изредка продолжал запивать и расхварывался все сильнее. Наконец слег.

«Теперь он умер...» — вспомнилось ей вчерашнее.

Монотонное чтение псалтыря снова явно доносилось до ее ушей из соседних

комнат.

Она теперь одна, во всеми накопленными богатствами...

К чему они ей?

Ведь и у солдатика, о котором рассказывала Анфиса, было богатство — пятьсот рублей.

Его деньги, как и ее, были нажиты не трудами праведными, а это ведь...

«Скажется, как и когда, а скажется», — снова прозвучала в ее ушах фраза Анфисы.

Он обидел младенца-сироту, а она...

Анна Филатьевна вспомнила со всеми ужасающими душу подробностями появление в Несвицком Степана Сидорова, искушение, которому он подверг ее... Страшную ночь родов княгини Зинаиды Сергеевны... Подмена ребенка...

Руки ее похолодели.

Ей показалось, что она и теперь держит в руках переданный трупик девочки.

Это ощущение холода мертвого тела как-то страшно соединилось с ощущением, испытанным ею вчера, при прикосновении рукой ко лбу мертвого мужа.

Она вся задрожала и как-то съежилась под

пестрым одеялом.

«Легче будет ему, да обесится жернов осельный на вые его и потонет в пучине морской, — припомнились ей вдруг слова Анфисы. — вот что ожидает того, кто обидит единого из малых сих».

А она обидела.

Накинет бес петлю... Тянет, тянет, да и дотянет до геенны... А у нее разве на шее не такая же петля?..

Вчера умер муж, завтра может умереть и она.

Все под Богом ходим!

А каково предстать на суде Всевышнего, так, без покаяния... Не даст Господь покаяться, как вдруг призовет.

Анна Филатьевна вспомнила, что Виктор Сергеевич умер без покаяния.

Она не раз говорила ему намеками, стороной, чтобы он исповедался, да приобщился... Куда тебе... сердился... Ты что меня раньше времени хоронишь... Она, бывало, и замолчит... А вот теперь вдруг и нет его...

Не допустил Господь до покаяния.

Тоже ведь бедняков да сирот обижал —

«малых сих».

Там, в кладовой, на стенах, в узлах и в комоде все слезы бедняков да сирот хранятся... Каждая вещь может кровавым потом нажита да горючими слезами облита, прежде чем сюда принесена! Так-то! Все за это самое...

Такие отрывочные мысли бродили в голове Анны Филатьевны.

Мерное чтение псалтыря при каждом повышении голоса читальщика доносилось, между тем, явственно до ее ушей.

«Что же делать? Что же делать?» — мысленно, со страхом задавала она себе вопросы.

Она открыла глаза и обвела вокруг себя беспомощным взглядом.

Этот взгляд остановился на киоте с образами.

Кроткие лики Спасителя, Божьей Матери и святых угодников глядели на нее, освещенные красноватым отблеском чуть теплившейся лампы.

Вдруг Анну Филатьевну осенила мысль.

Она вскочила с постели и, как была, в одной рубашке, босая упала ниц на голый пол перед киотой.

Она молилась.

Сначала молитвенные помыслы перебивали, как это всегда бывает, другие мирские мысли, но потом, когда силою воли она принудила себя сосредоточиться, ей почудилось, что она не молится, а беседует с добрыми друзьями, готовыми прийти к ней на помощь, посоветовать, выручить из беды, разделить тяжесть горя.

Тяжесть, лежавшая на ее груди, стала, как будто, подниматься кверху, вот подошла к самому горлу.

Анна Филатьевна залилась слезами.

Это были великие слезы примирения с Богом, примирения со своей собственной совестью.

Долго еще горячо и усердно молилась Анна Филатьевна.

Наконец, она встала с колен и присела на край кровати.

Лицо ее за ночь, как будто, похудело и казалось каким-то просветленным.

Скрипнула дверь, полуотворилась и в ней показалась голова Анфисы.

— Встали, матушка родимая, одевайтесь да

выходите, болезная, гробовщик пришел.

— Сейчас! — отозвалась Анна Филатьевна и стала тревожно одеваться.

Через четверть часа она уже окунулась в омут жизненной сутолоки.

VIII ИСПОВЕДЬ

Совершенно оправившаяся Анна Филатьевна твердою походкой вошла в зал, где в переднем углу лежал покойный Виктор Сергеевич.

Он почти не изменился, только черты исхудавшего за время болезни лица еще более обострились.

Одет он был в его старый вице-мундир, три свечи горели по сторонам и у изголовья покойника.

Анна Филатьевна опустилась на колени и с полчаса пролежала ниц лицом у самого стола, на котором лежало тело ее мужа.

Она не плакала.

Встав, она начала отдавать приказания и делать нужные распоряжения.

К вечеру был принесен гроб и за вечерней панихидой в него положили тело.

Все соседи, близкие и дальние, перебивали в доме, чтобы поклониться покойному.

Большинство пришедших движимы были, впрочем, далеко не желанием отдать последний долг покойному, а любопытством, что происходит в том доме, ворота которого были почти постоянно на запоре, и в который только ходили по нужде, за деньгами.

Весть, что умер «Галка-ростовщик», с быстротою молнии облетела весь Васильевский остров и вся беднота невольно встревожилась.

— А вдруг Галчиха, — так звали Анну Филатьевну клиенты ее мужа, — вещи-то не отдаст, скажет муж брал, а я знать не знаю, ведаю не ведаю.

И они побежали смотреть, что делает Галчиха, чтобы вывести из ее наружности, настроения духа, как думает поступить.

Такт, присущий последнему нищему, не позволял говорить о делах в присутствии покойника.

Анна Филатьевна ходила по комнатам,

распоряжалась, стояла на панихидах с сухими глазами, покойная, почти довольная.

Так, по крайней мере, показалось некоторым.

— Ишь, кремень-баба, слезы не проронит! — шептались в толпе, окружавшей гроб.

— Пропали наши манатки, пропали...

— У меня самовар... пять рублей стоил... полтинник дал... за полтинник пропадет, хороший самовар...

— А у меня, родимые, салоп чернобурый, канаусом крытый, старый, оно говорить нечего, маменькин... — бормотала ветхая старушка, — а еще хороший, теплый-растеплый... Три рубля отвалил покойный, не тем будь помянут, царство ему небесное... Пропадет...

— Вестимо пропадет... — утвердительно, тоже шепотом, решил чиновник в вице-мундире и пальто нараспашку. — У меня табакерка жалованная, отцовская, сто рублей ей цена... за пятнадцать... Ну, да я потягаюсь, до царицы дойду.

— Мужчинам, вам хорошо, управу как раз найдете, — томно закатив глаза, тихим шепотом говорила молодящаяся дама с раскрашен-

ным лицом и с подведенными глазами и бровями. — У меня браслет, покойный муж еще в женихах подарил, сувенир... С жемчугом... Как твои зубки, говорил покойный, — ослабилась дама беззубым ртом. — За три рубля... Пропадет...

— Пропадет... — снова изрекал чиновник.

— Ах, mon dieu... — восклицала дама.

— Сапоги смазанные, намедни только и заложил за три гривны... Сама принимала, может отдаст... — заявлял какой-то оборванец. — Ужели пропадут... Сапоги первеющие... Пропадут...

— Пропадут... — эхом шептал себе под нос чиновник.

Таково, вместо молитвенного, было настроение окружающих гроб покойного Виктора Сергеевича.

Как ни тихи были эти разговоры, но они достигали порой до ушей вдовы.

Анна Филатьевна на них только как-то загадочно улыбалась.

Ее улыбка, замеченная многими, еще более утверждала их к роковой догадке, что она не отдаст заложенные вещи.

Большинство склонялось к мнению чиновника, все продолжавшего повторять, как заключение на раздававшееся кругом сетование:

— Не отдаст!..

— Придется тягаться... — решили многие.

— Что тягаться... Ведь номерок и то своей рукой записал... Где-ж доказать... Квартальный им свой человек... Ишь перед вдовой рассыпается... Чувствует, что перепадет... Иродово племя...

Местный квартальный надзиратель, додившийся Анне Филатьевне кумом по последней дочери, действительно разговаривал с ней в это время, называя ее кумушкой.

Это не ускользнуло от слуха окружающих.

— Квартальный-то ейный кум.

Эта фраза, сказанная кем-то, начала переходить из уст в уста.

— Пиши пропало... решило большинство.

— До царицы-дойду... потому жалованная... — ворчал чиновник.

Панихида окончилась.

Это была последняя панихида перед днем похорон.

Отпевание тела состоялось на другой день, в церкви Смоленского кладбища.

Анна Филатьевна купила могилу на одном из лучших мест кладбища, возле церкви.

На вынос собралось также много народа, был и чиновник, хотевший дойти до царицы, и крашенная дама, и оборванец, заложивший сапоги.

Были и приглашенные — знакомые соседи, с местным квартальным во главе.

По окончании печального обряда, вдова стала оделять нищих...

Милостыня, сверх ожидания, была очень щедрая...

— На помин-то души муженька расщедрилась... да только вряд ли замолят... скарעד был покойничек, не тем будь помянут, царство ему небесное, — вставляли лишь некоторые ядовитое замечание, узнав об обильной милостыне, розданной Анной Филатьевной.

После погребения приглашенные поехали назад в дом, где был им предложен поминальный обед.

Анна Филатьевна вышла с кладбища под руку с квартальным-надзирателем.

— Задобрит, шабаш... пропадут... — шептали снова в толпе, при виде этой пары.

— До царицы дойду... — ворчал чиновник. Наконец, кладбище опустело.

Виновник всей этой тревоги остался один, под свеженасыпанном холмом.

После поминального обеда, продолжавшегося до вечера, наконец, все провожавшие разошлись.

Анна Филатьевна осталась вдвоем с Анфисой.

Последняя занялась уборкой посуды и только управившись заметила, что Галочкина сидит у окна, не переменяя позы, в глубокой задумчивости.

— Анна Филатьевна, матушка, Анна Филатьевна... — окликнула ее старушка.

Та не отвечала.

Анфиса подошла ближе и дотронулась до плеча сидевшей.

— Анна Филатьевна...

— А!.. Что?.. — точно очнувшись от сна, произнесла Галочкина.

— С чего это вы так задумались... Все время молодец-молодцом были... на людях... когда

не грех бы и покручиниться, а тут вдруг затуманились, ровно в столбняке сидите...

— Ох, Анфисушка, столько дум, что и не передумаешь...

— О чем, матушка, думать-то... Покойного не вернешь... Надо и без него жизнь доживать...

— Доживать... Страшно...

— И чего, матушка, страшиться...

— Смерти, тоже также, без покаяния...

— Да разве покойный-то... Как же вы, матушка, мне сказывали, что исповедался и он тайн святых принял...

— Ох, Анфисушка, голубушка, обманула я тебя, грешная, ты в Невскую лавру помолиться пошла, к вечеру вернулась, я тебе и сказала, чтобы ты к нему не пошла его уговаривать.

— Ахти, грех какой.

— Сколько разов я сама его Христом Богом просила: «Исповедайся ты да приобщись», — слышать не хотел... — «Что ты меня спозаранку в гроб кладешь... еще поправлюсь... на спажинках отговею, сам, на ногах отговею...» Серчает, бывало, страсть...

— Ахти, грех какой, ахти, грех какой... — продолжала качать головой Анфиса.

— Грех, грех...

Наступило молчание.

Сумерки стали сгущаться. В комнате была полутьма.

— Что же, матушка, очень-то убиваться о том, нищую-то братию ты сегодня как следует быть оделила — замолят за его грешную душеньку... Милостыня — тоже великое дело. Вклад сделай в церковь-то кладбищенскую... сорокоуст закажи... В Лавру тоже... помолятся отцы святые... — первая заговорила Анфиса.

— Все сделаю, Анфисушка, все сделаю... — со слезами в голосе отвечала Анна Филатьевна.

— Что, касаточка?

— Я вот, матушка, по весне по святым местам пойду, может со мной какие жертвы угодникам Божиим пошлешь.

— Вот что я, Анфисушка, надумала, — вдруг вскинула на нее глаза Анна Филатьевна. — С тобой по святым местам походить...

— Оно что же, для души, ах, как полезно...

— Еще Господь Иисус Христос сказал: «Легче верблюду пройти сквозь игольные ущи, чем богатому войти в царствие Божие».

— Я дом продам, Анфисушка, на что мне дом...

— Продашь?.. — удивилась старуха.

— Продам, Анфисушка, продам — и все деньги бедным раздам... Христовым именем с тобой пойду по святым местам.

— И что ты, Анна Филатьевна, что-то несуразное толкуешь... Прости меня, Господи.

Старуха перекрестилась.

— Ничего нет тут, Анфисушка, несуразного... Это я еще на другой день смерти Виктора Сергеевича решила... Так и будет, ведь я нынче нищей-то братии пятьсот рублей раздала...

— Пятьсот! Да в уме ли ты, матушка, такую-то уйму денег...

— Куда они мне, все раздам...

— Да с чего же ты это?

— А помнишь, Анфисушка, намедни, как мужу-то умереть, ты мне рассказала про нищего солдата.

— Помню, расстроила только тебя...

— Не расстроила, а совесть у меня зазрела

в те поры... Страшно стало...

— Не пойму я что-то! Что же тебе-то страшно?

— А вот сейчас и поймешь, Анфисушка! Припомни, ты сказала, что нечистый этими деньгами на него петлю накинул, да и тянул, и дотянул до геенны огненной...

— Сказала.

— А мои-то деньги тоже мне на шею нечистым, прости Господи, петлей накинуты.

— Господи Иисусе Христе... С нами крестная сила... — лепетала Анфиса, истово осеняя себя крестным знамением.

— Слушай, Анфисушка, ты женщина праведная...

— И, какая праведная, матушка...

— Слушай и не перебивай, я тебе, как на духу, во всем откроюсь, тогда ты сама скажешь, что мне остаток своих дней не о мирском, а о небесном думать надо...

Тихим шепотом, со всеми мельчайшими подробностями, рассказала Анна Филатьевна Анфисе всю свою жизнь у княгини Святозаровой, отъезд в Несвицкое, подкуп ее покойным Степаном Федоровичем, подмене ребенка, ко-

торый был отправлен к соседке Потемкиной.

— Вот на какие деньги, Анфисушка, разжились мы с Виктором Сергеевичем... Он, покойничек, царство ему небесное, об этом, в могилу сошел, не узнав... Ни духу я не признавалась, ты одна знаешь, суди меня... Разве деньги эти не петля дьявольская... Господи, прости меня, грешную...

Старушка, несколько раз крестившаяся во время рассказа Анны Филатьевны, молчала.

— Вот какова я, окаянная... Грех совершила незамолимый, смертный, младенца обидела... В геенну себе путь уготовила...

Анна Филатьевна залилась горькими слезами. Анфиса вышла из своего оцепенелого состояния.

— Коли искреннее раскаяние чувствуешь... Бог простит... Он милостив... «Не до конца прогневается, ниже век враждует». В писании сказано... Не мне отговаривать тебя от твоего подвига... Сам Господь, быть может, вразумел тебя... Только вот что... княгинюшке своей ты все это Расскажи, может она сыночка своего и найдет...

— Ох, иди-то мне к ней боязно... — сквозь

слезы прошептала Анна Филатьевна.

— Что тут боязно, передо мной покаялась, и перед ней покайся... К Богу-то тоже идти надо с душою чистою...

— Ох, боязно...

— Со мной пойдем, чего не сможешь... я доскажу...

— Пойдем, Анфисушка, пойдем... Только вот с этими закладами справиться, с завтрашнего дня, чай, ходить начнут узнавать, что и как...

— Как же с ними ты сделаешь?..

— Раздам, все раздам... дарма, за помин души раба Виктора.

— Пойдем-ка спать теперь, касаточка, утро вечера мудренее. Помолимся, да и на боковую...

Анна Филатьевна с Анфисой отправились в спальню.

Долго молились они перед образами и обе плакали...

Кончив молитву, старушка перекрестила Анну Филатьевну и пошла на кухню.

Она сразу заснула.

Анна Филатьевна не могла от пережитого

волнения долго сомкнуть глаз и задремала только под утро.

IX

НЕОЖИДАННАЯ БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА

Был седьмой час утра, когда в парадной двери дома Галочкиной раздался первый звонок.

Анна Филатьевна еще спала.

Первым посетителем оказался тот чиновник, который на панихидах и накануне на похоронах пророчил всем, что заложенные У «Галки» вещи пропадут и грозился дойти до самой царицы.

Ему отворила Анфиса. Она встала рано и была очень сосредоточена. Ее на самом деле поразила исповедь ее хозяйки и благодетельницы.

Проснувшись и помолившись Богу, она раздумалась о людских прегрешениях.

— Вот, кажется, живут люди... дом — полная чаша, истинно Божеское благословение на нем почет, а поди ж ты, что на поверку-то

выходит... Что внутри-то гнездится... Так и яблоко, или другой плод какой, с виду такой свежий, красивый, а внутри... червь... Так-то...

Эти философские рассуждения старушки прервал раздавшийся звонок.

Анфиса поплелась к двери...

— Пошли... поехали... Прости, Господи!.. — ворчала она.

Чиновник вошел с видимо напускною важностью.

— Хозяйка дома?

— Спит еще...

— Спит. Мужа вчера похоронила, а спит.

— Да что же ты ей, батюшка, не спать прикажешь, столько дней намаявшись и всю ночь глаз может не сомкнувши... — рассердилась Анфиса.

— Ночь, говоришь, не спала?

— Вестимо не спала, этакое горе.

— Ну, им, богатеям, такое горе с полгоря...

— Деньжищ, чай, покойный уйму оставил?

— А ты, ваше благородие, считал...

— И считать нечего... знаем... слухом, чай, земля полнится...

— Не всякому слуху верь, ваше благородие, да если и впрямь денег много... разве с нами-то, окаянными, горя люди не видят... еще большее...

— Да ты, кажись, тетка, начетчица, с тобой не столкуешь. Мне бы хозяйку повидать...

— Вот проснется... выйдет...

— Проснется... выйдет... Мне тоже не досуг, на службу царскую надобно...

— Так и иди на службу, а уж не обессудь, будить не стану; пусть поспит, болезная...

— С чего это ты к ней больно жалостлива, али вчерась щедро одарила?

— Это тебе, ваше благородие, ни к чему. А будить для тебя не стану, вот весь и сказ... — окончательно озлилась старуха.

Чиновник, видя непреклонность служанки, смирился.

— Что ж, и не буди, коли на самом деле она всю ночь не спала... я подожду.

У него мелькнула мысль, что если «Галчиху» разбудят, она встанет злая и, пожалуй, что табакерка его и впрямь пропадет.

Надежда дойти до царицы, при близком знакомстве хозяйки дома с местным квар-

тальным, представилась ему вдруг делом довольно затруднительным.

— Что ж, посиди, я не гоню... — смилоствовала и Анфиса.

Чиновник сел на один из стульев, стоявших по стенам залы. Анфиса тоже присела.

— Я, собственно, насчет одной вещи.

— Заложена?

— Заложена.

— Отдаст...

— Не врешь?.. Потому у меня теперь денег нет, подождать попросить пришел недельки с две до жалованья... — заметил чиновник.

— Отдаст... так отдаст...

— Как, так?

— Так, без денег...

— Да ты, тетка, в уме ли?

— Да что же ты, ваше благородие, диву дался... точно отдать нельзя.

— Без денег?

— Ну, вестимо, без денег... На помин души покойника, все раздаст, что заложено было... Вечор мне так сказала, так и сделает...

— Не врешь?

— Пес врет, ваше благородие.

— Ну, дела, дивные дела... От Бога, видно, ей так внушено было...

— Вестимо не от беса, прости Господи!

Старуха перекрестилась.

— Так ты, тетушка, вот что, ее не буди...

Пусть спит... — сказал чиновник.

— Да я и не буду...

— Я и говорю, не буди... Добреющая, видно, у ней душа... Не ожидал, признаюсь, не ожидал... — потирал руки чиновник. — Без денег и без процентов...

— Дивные дела... А уж за душеньку покойного мы замолим.

— Вестимо, молиться надо... Пусть спит, голубушка, пусть спит... — говорил чиновник.

— Ты вот что, ваше благородие, здесь побудь, а я пойду на кухню, самовар наставлю, а ежели кто позвонится, уж не поставь себе во труд, отвори...

— Иди, иди, дивные дела! — продолжал повторять чиновник, ходя по зале.

Через несколько времени раздался звонок. В дверь влетела раскрашенная дама.

— Вы уже здесь! Как я рада! — воскликнула она, при виде отворившего ей чиновника.

ка. — Видели! Отдает?

— Тсс...

— А что?

— Спит...

— Кто?

— Анна Филатьевна...

— Галчиха?

— Тссс...

— Вот новости... Спит...

— И чего вы кричите, сударыня, пусть спит, благодетельница, мы и подождать можем... Мне ихняя старушка сказала, что всю ночь не спала.

— Благодетельница, вы говорите... mon dieu!..

— Конечно, благодетельница, когда решила все заложенные вещи даром раздать...

— Ужели?..

— Да, сударыня, именно так мне сказала старушка... На помин, значит, как бы души покойника...

— Сувенир?

— Да, так на манер сувенира.

— И вы поверили?.. Я ни в жисть не поверю...

— Не верьте, вот встанет, поверите... Старушка Божья врать не станет.

— Mon dieu, это было бы хорошо... Мой браслет... Сувенир мужа с жемчугом... «Как твои зубки», сказал покойный, подавая мне его...

Барыня улыбнулась своим беззубым ртом. Снова раздался звонок.

Чиновник отворил, но оставил дверь полуоткрытой.

В комнаты стали набиваться разные люди, в числе которых были и старушка, заложившая маменькин салоп, и оборванец, заложивший сапоги.

Все сообщили друг другу известие, что вдова решила раздать заклады даром...

— «Ура!» — вдруг закричал во все горло оборванец.

— Тсс... — раздалось со всех сторон.

В залу вбежала Анфиса и напустилась на парня, указанного всеми, как на виновника крика.

Старушка подошла к нему совсем близко.

— Ты чего это орешь, в кабаке нечто ты?

— Виноват, бабушка, с радости...

Анфису заставили повторить слышанное ею от Анны Филатьевны решение раздать даром заложенные вещи.

— Спит? — спросили некоторые.

— Встала, чай пьет! — отвечала старушка и снова удалилась во внутренние комнаты.

— Пусть кушает... Мы подождем! — слышались замечания. Наконец, Анна Филатьевна вышла.

Вся толпа шарахнулась на нее.

— А вы не все вдруг... По одному, — распорядилась вышедшая с ней вместе Анфиса.

Порядок водворился.

Анна Филатьевна со спокойным, несколько грустным лицом отбирала по несколько номерков и направлялась с ними в кладовую, откуда выносила с помощью Анфисы вещи и отдавала владельцам.

— Помяните в своих молитвах, да упокоит Господь душу новопреставленного раба Виктора... — говорила старушка каждому, получающему заклад.

— Будем поминать, будем благодетельница...

— Упокой его душу в селениях правед-

ных! — говорили, кланяясь, владельцы вещей.

— Уж и помяну я покойного! — вскрикнул радостно оборванец, получив обратно свои смазные сапоги.

Все уходили с радостными, веселыми лицами из того дома, куда еще недавно загоняли людей только нужда и безысходное горе.

Ушедших сменяли другие, уже знавшие о решении Галчихи раздавать даром заклады.

Весть об этом почти моментально облетела Васильевский остров и до позднего вечера бедняки все приходили в дом Галочкиной и, уходя оттуда, расточали ей свои благословения и пожелания всего лучшего в мире.

На другой день все повторилось. И так целую неделю.

Наконец, все вещи были розданы.

Эти радостные лица бедных людей, эти благодарности, полные искреннего чувства, эти благословения, идущие прямо от сердца, произвели необычайное впечатление на Анну Филатьевну.

В эти дни она была счастлива.

«Вот в чем счастье! — думала она. — Мало

быть довольной самой, надо еще быть окруженной довольными людьми...»

Улыбки этих бедняков отражались тоже улыбкою на лице Галочкиной, как в зеркале.

Анфиса ходила вся сияющая, счастливая и шептала молитвы:

«Господи Иисусе Христе, прости ее грешную, Господи Иисусе Христе, пошли ей силы на иску...»

Когда последний бедняк с последним закладом вышел из дома, Анфиса заперла за ним дверь и вернулась в залу.

Анна Филатьевна бросилась ей на шею.

— Спасибо, родная, спасибо, родимая, спасибо, милая... — шептала она, покрывая лицо старухи нежными поцелуями.

Анфиса почувствовала, что на ее лицо и шею капают горячие слезы ее хозяйки.

— Что ты, матушка, что ты, голубчик, — бормотала старушка. — Меня-то тебе благодарить с какой стати?

— Тебя, Анфисушка, только тебя одну и благодарить мне надо... Не будь тебя, коснела бы я в этом скарестстве, не видела бы вокруг себя лиц радостных... Не была бы, хоть на ми-

нугу, да счастлива...

— Все Бог, матушка, один Бог...

— Бог и послал тебя мне, Анфисушка... Не расскажи ты мне про этого несчастного солдата, может ничего такого, что теперь случилось, и не было, а теперь у меня с души точно тяжесть какая скатилась, а как исповедаюсь с тобой вместе перед княгинюшкой, паду ей в ноги, ангельской душеньке, да простит она меня, окаянную, и совсем легко будет... Силы будут остатные дни послужить Господу...

— Когда же пойдем мы к ее сиятельству?..

— А вот дай, Анфисушка, дела все справить, от денег-то бесовских совсем отвязаться, дом продать... Тогда уж и пойду, перед странствием...

— Не долгонько ли это будет откладывать-ся?

— Недолго, Анфисушка, недолго... За ценой на дом ведь не погонюсь, мигом покупатель явится... Филат Егорович уже обещал мне это быстро оборудовать...

Филатом Егоровичем звали местного квартального.

— Оно, конечно, за дешевую цену дом со всей движимостью, кому не надо и тот купит, — заметила Анфиса.

— Купят, голубушка, купят... А завтра чем свет на кладбище пойдем да в Лавру, в другие церкви вклады сделаем, на вечный помин души покойничка... А что от дома выручим, с собой возьмем, по святым местам разнесем, в обители святые пожертвуем, но чтобы на себя из этих денег не истратить ни синь пороха.

— Вестимо, зачем на себя тратить... Ну, их, и деньги-то эти... Всю Рассею матушку из конца в конец обойдем, Христовым именем, и сыты будем, и счастливы...

Так и порешили обе женщины.

Х

СЛЕЗА ПОТЕМКИНА

Жизнь княгини Зинаиды Сергеевны Святозаровой текла тихо и однообразно.

Она, как мы знаем, после смерти мужа совершенно удалилась от двора и посвятила себя сыну и Богу.

Последнее выразалось в широкой благотворительности княгини, благотворительности, заставившей говорить о себе даже черствый Петербург.

Все нуждающиеся, все несчастные, больные, убогие находили в княгине Зинаиде Сергеевне Святозаровой их ангела-хранителя, она осушала слезы сирот, облегчала страдания недужных и порой останавливала руку самоубийцы от приведения в исполнение рокового решения.

Имея свое независимое громадное состояние, получив законную часть из состояния мужа, она, кроме того, через несколько лет после его смерти унаследовала колоссальное богатство своей тетки графини Анны Иванов-

ны Нелидовой, умершей в Москве, среди той же обстановки, в которой мы застали графиню в начале нашего правдивого повествования, не изменив до самой смерти своих привычек и, казалось, нимало не огорченной таинственным исчезновением графини Клавдии Афанасьевны Переметьевой.

Старуха никогда не хотела слышать о завещании и умерла без него.

Ближайшей родственницей и единственной наследницей после нее оказалась княгиня Зинаида Сергеевна Святозарова, так как единственная, оставшаяся в живых дочь графини уже более двадцати лет находилась в неизвестном отсутствии.

Деньги «московской чудачки» попали в хорошие руки.

Даже небольшая часть с процентов с огромного капитала могла обеспечить не десятки, а сотни семейств бедняков.

Княгиня по смерти мужа уменьшила громадную дворню почти наполовину и один из надворных флигелей отвела для богадельни на двадцать старушек, благословлявших, вместе со всеми бедняками столицы, имя анге-

ла-княгинюшки Зинаиды Сергеевны.

Сама княгиня помещалась в верхнем этаже двухэтажного княжеского дома, апартаменты же нижнего этажа всецело были отданы в распоряжение молодого князька Василия Андреевича.

Последний, попав прямо из объятий маменьки в среду удалых товарищей-офицеров, как это всегда бывает с мальчиками, которых держат в хлопках, развернулся, что называется, во всю.

Ни один товарищеский кутеж не обходился без его участия, он был зачинщиком всевозможных шалостей и проделок тогдашней молодежи.

Ухарство заставляло его пить, часто против его желания, и его поведение доставляло много горьких минут любящей его матери.

Она нежно выговаривала ему порой.

Он давал ей обеты воздержания, ласкаясь как ребенок, и княгиня Зинаида Сергеевна таяла под лучами этой сыновьей ласки, таяла, как воск под лучами солнца.

Сынок же принимался снова за прежнее.
Так шли годы.

С Потемкиным Зинаида Сергеевна не встречалась, с Дарьей Васильевной, последние годы болевшей сильно ногами, виделась лишь несколько раз, сделав ей краткие визиты.

Из-за шалуна Васи, как она называла своего сына, ей, впрочем, пришлось один раз, уже по возвращении Григория Александровича из-под Очакова, явиться самой к нему просительницей.

Дело заключалось в следующем.

Несколько офицеров, с князем Святозаровым во главе, позволили себе сыграть какую-то злую шутку с одним из близких государыне лиц, почтенным графом Александром Андреевичем Безбородко.

Последний среди шалунов узнал одного Святозарова и объявил, что пожалуется на него самой государыне.

Дело могло принять дурной оборот для молодого князя.

Он во всем покаялся матери.

— Единственное спасение попросить светлейшего... Съезди, мама...

— К Потемкину! — вздрогнула княгиня.

— Ну, да, к нему... Он один может спасти и отворатить гнев государыни...

— Хорошо... я съезжу, — сказала Зинаида Сергеевна, после продолжительной паузы.

Много потребовалось ей силы воли, чтобы решиться на этот шаг.

На другой день она была в приемной светлейшего.

— Кого там принесло? — спросил Григорий Александрович адъютанта, сидя в кабинете и кивая в сторону приемной.

Адъютант начал говорить фамилии. Князь рассеянно слушал.

— Княгиня Святозарова, — произнес адъютант.

— Кто? — вскочил светлейший.

— Княгиня Зинаида Сергеевна Святозарова... — повторил адъютант.

— Ты не ошибся?.. — спросил Григорий Александрович. Голос его дрогнул.

— Никак нет-с, ваша светлость, я лично знаком с ее сиятельством, и сейчас только говорил с нею... Она приехала просить вашу светлость по поводу ее сына..

— Сына... какого сына?.. — уставил Потем-

кин на адъютанта свой единственный здоровый глаз.

Глаз этот выражал сильное душевное волнение.

— Князя Василия Андреевича... — просто отвечал адъютант, с недоумением наблюдая волнение вельможи.

Он не понимал, да и не мог понять причины. Григорий Александрович вздохнул свободнее.

— Проси, проси сюда... скорее... Как можно заставлять дожидаться ее сиятельство... — заторопился светлейший.

Адъютант кинул на него чуть заметный удивленный взгляд и поспешил исполнить приказание светлейшего.

Через несколько минут дверь отворилась и в кабинете Потемкина появилась княгиня Зинаида Сергеевна.

При виде этого, до сих пор дорого ему лица, этих светлых, почти таких же как прежде светлых, глаз, часто мелькавших перед ним и во сне, и наяву, Григорий Александрович еле удержался на ногах от охватившего его волнения, но силой воли поборол его.

— Княгиня! — двинулся он навстречу неожиданной гостье. — Чем я обязан удовольствию видеть вас у себя... Несмотря на то, что я очень рад, я начну с упрёка... Если я вам нужен, вам стоило только написать и я явился бы к вам.

— Вы слишком добры, ваша светлость, — сказала княгиня, опускаясь в подставленное ей князем кресло. — Як вам с просьбой.

— С приказанием, княгиня...

Зинаида Сергеевна окинула его вопросительно-недоумевающим взглядом.

— Ваша просьба — для меня приказание... — пояснил светлейший свою мысль. — Потемкин всегда в полном распоряжении бывшей княжны Несвицкой.

Княгиня вспыхнула, а затем вдруг побледнела.

— Не будем тревожить прошлого, ваша светлость.

Очередь побледнеть настала для Григория Александровича.

— Для меня оно всегда настоящее... Но в чем дело, княгиня?

Зинаида Сергеевна рассказала ему подроб-

но шалость молодого князя и грозящую ему беду.

— Одни вы можете спасти его... — заключила она.

Потемкин улыбнулся.

— Это просьба не из больших, княгиня... Прикажите вашему шалуну быть у меня завтра вечером, да скажите ему, чтобы он был со мной посмелее... Все уладится как нельзя лучше...

— Я не знаю как благодарить вас, ваша светлость.

— Вместо благодарности я прошу вас, княгиня, если я понадобится вам, прислать за мной просто, а не беспокоиться ездить ко мне, этим вы доставите мне большое удовольствие... Обещайте мне это?

— Хорошо, я обещаю вам... — протянула княгиня руку Григорию Александровичу.

Он наклонился поцеловать ее, по обычаю того времени.

Княгиня почувствовала, что ее руку чем-то обожгло.

Это была слеза Потемкина.

Она вышла из кабинета почти шатаясь, с

дрожащими на ресницах слезами.

Это были слезы волнения.

Василий Андреевич Святозаров явился в назначенное время к светлейшему.

Потемкин вышел из кабинета в обыкновенном своем наряде, не сказал никому ни слова и сел играть в карты.

В это время приехал приглашенный им граф Безбородко.

Григорий Александрович принял его как нельзя лучше, но продолжал игру.

Вдруг он подозвал к себе князя Святозарова.

— Скажи, брат, как мне тут сыграть? — спросил он его, показывая карты.

— Да мне какое дело, ваша светлость, играйте, как желаете, — отвечал согласно приказанию, Василий Андреевич.

— Ай, мой батюшка, и слова нельзя сказать тебе; уж и рассердился... — улыбнулся Потемкин.

Услыхав такой разговор, граф Безбородко раздумал жаловаться.

Молодой князь был в восторге от этой выходки светлейшего и со смехом рассказал ма-

тери этот эпизод.

Княгиня слушала рассеянно.

Она спасла сына, но потеряла душевный покой, который добыла страшной нравственной ломкой. Задушевная речь Потемкина, капнувшая на ее руку его горячая слеза вновь унесли княгиню в далекое, чудное прошлое.

Гриша Потемкин как живой стоял перед ней.

Княгине было за сорок, но она замечательно сохранилась и нравственно, и физически. Она чувствовала, что она снова любит в светлейшем князе ее незабвенного Гришу.

Григорию Александровичу это свидание не прошло даром.

Исполнив просьбу княгини, князь захандрил и хандра эта продолжалась долго и была сильней обыкновенной.

Но вернемся к молодому Святозарову.

Несмотря на ухарство, кутежи и шалости, единственно, что осталось в нем под влиянием воспитания в родительском доме, это благоговение перед женщиной.

Благоговение это доходило до того, что он боялся их.

Товарищи, зная за ним это свойство, поднимали его на смех, нарочно наталкивали его на модных куртизанок, но исправить в желательном для них смысле не могли.

Молодой князь дичился и убегал от оргий с женщинами. Это претило его чистой натуре.

Женщина и любовь для него были понятия нераздельные, одно из другого вытекающие.

Разделение этих понятий казалось ему отвратительным.

— Его надо познакомить с «гречанкой», — решил один из друзей князя, молодой граф Сандомирский, красивый мужчина, один из завязтых «дон-жуанов» того времени.

Читатель несомненно догадался, что под именем гречанки подразумевалась Калисфения Николаевна.

Граф Владислав Нарцисович, так звали Сандомирского, усиленно именно в это время ухаживал за нею.

Соперничества князя Святозарова он не боялся. Граф не боялся ничьего соперничества.

Знакомство состоялось в театре.

Красивый, стройный и несколько застенчивый и дикий, молодой офицер понравился

Калисфении Николаевне.

Она употребила все неотразимые чары своего кокетства, чтобы произвести впечатление на Василия Андреевича. Она достигла цели.

Князь Святозаров ушел из ложи красавицы в каком-то тумане. Он влюбился, влюбился в первый раз в жизни.

С летами Калисфения Николаевна Мазаракки унаследовала опытность и осторожность своей матери. Немногие из ее поклонников решались хвастаться победою.

Она выбирала из них самых скромных, и прежде чем подарить своею хотя и мимолетною взаимностью, играла с ними, как кошка играет с мышью, прежде чем ее съесть.

Она продолжала получать громадные суммы из конторы светлейшего князя Григория Александровича, который во время своего отсутствия на театре военных действий находился с ней даже в переписке.

Поклонники ее осыпали и подарками, и цветами, предупреждали ее желания, и она, таким образом, каталась, по народному выражению, как сыр в масле.

Жила она все в том же восточном домике на Васильевском острове.

Стоявшие к ее услугам в конюшне лошади и в каретном сарае экипажи уничтожали расстояние этого отдаленного места от центра города, каковым и тогда, как и теперь, была Дворцовая площадь, Морская и конец Невского проспекта, или, как тогда называли, «Невская перспектива», примыкающая к последней.

Ежедневно, в урочный час, карета Мазаракки появлялась в этих улицах, окруженная и пешими, и конными поклонниками.

В числе последних были отличные ездоки того времени, граф Сандомирский и князь Святозаров.

Последнего все сильнее и сильнее охватывало чувство первой любви.

Как известно, это чувство по преимуществу бывает платоническим.

Оно чуждо стремления к обладанию любимым существом, которое представляется любящему светлым, чистым образом, малейшая физическая близость к которому уничтожает его обаяние.

Нежный, прозрачный мрамор мечты не должен быть загрязнен малейшим прикосновением.

Это даже не любовь, это обожание, поклонение.

Для этого чувства совсем не надо, чтобы та или тот, к кому оно проявлялось, обладал всеми теми свойствами, которые приписывает ему влюбленный или влюбленная.

Оно находит силу в самом себе, и эту силу пылкого воображения, которая является для влюбленного созданной им действительностью, нельзя разрушить никакими доводами благоразумия.

Таким именно чувством к Калисфении Николаевне было охвачено все существо князя Василия Андреевича Святозарова.

Молодая женщина чутьем угадала духовное настроение своего поклонника и оно польстило ее самолюбию.

Какая из женщин откажется быть так любимой?

В Калисфении Николаевне проснулась, кроме того, временно заглушенные мечты юности, обновленные полузабытыми речами Ва-

силия Романовича Щегловского.

Она стала искать любви, которая есть все, что есть лучшее. Она поняла, что такова именно любовь князя Святозарова. Калисфения Николаевна искусно разожгла ее и с удовольствием видела, как брошенная ею искра разгорелась в пламя.

В этом пламени суждено было, кажется, погибнуть несчастному князю.

XI ПО ДУШЕ

От княгини Зинаиды Сергеевна не ускользнула перемена, происшедшая в ее сыне.

Веселый, беззаботный, он сделался вдруг серьезен и задумчив.

Постоянно врацавшийся в обществе, участник всевозможных пикников и кутежей, он вдруг стал по несколько вечеров подряд просиживать дома, поднимаясь наверх к матери.

Хотя последней это было очень приятно, но показалось подозрительным.

Чуткое сердце матери забило тревогу.

Тем более, что в этом домоседействе сына княгиня видела далеко не желание проводить вечера в ее обществе, а причина его лежала в какой-то тихой грусти, с некоторых пор охватившей все существо этого, так недавно жизнерадостного, молодого человека.

Бывая с матерью, князь Василий то задумчиво ходил из угла в угол по мягкому ковру ее гостиной, то сидел смотря куда-то вдаль, в видимую ему одному только точку, и нередко совершенно невпопад отвечал на вопросы княгини.

— Что с тобой, Vasile? — не раз восклицала Зинаида Сергеевна.

— Ничего, мама, так я задумался...

— О чем?

Князь Василий давал объяснение, но оно явно оказывалось деланным и ничуть не успокаивало встревоженную мать.

Она стала доискиваться причины такого странного настроения ее единственного сына.

Из некоторых отрывочных фраз, которыми сын перекидывался при ней с посещавшими его товарищами, княгиня догадалась, что эти

товарищи знают более внутреннюю жизнь ее сына.

К одному из них, а именно к графу Сандомирскому, она и решилась обратиться с расспросами.

В приемный день княгини он приехал с визитом ранее всех.

Они были вдвоем в гостиной.

Княгине показалось, что это был самый удобный момент для достижения намеченной ею цели.

— Много веселитесь, граф? — спросила она с напускною веселостью.

— Нельзя пожаловаться, нынешний сезон очень оживлен, особенно благодаря приезду светлейшего, который, кстати сказать, на днях снова уезжает...

— В армию?

— Да, он, видимо, серьезно задался мыслью выгнать турок из Европы и занять Константинополь.

— Мне кажется это мечтой...

— Для Потемкина сама мечта — действительность.

Граф Сандомирский после разнесшегося по

Петербургу известия, что Григорий Александрович поцеловал руку у польского короля, сделался его горячим поклонником.

— Вы думаете? — рассеянно спросила княгиня, досадуя, что разговор, начатый ею, принимает другое направление.

— Не думаю, а убежден... У него в несколько часов строят корабли, в несколько дней созидают дворцы, в несколько недель вырастают города, среди безлюдных степей. Это волшебник, княгиня. Это — гений! — восторженно говорил граф.

— Говорят... Я слышала... — заметила княгиня. — Но я потому спросила вас, веселитесь ли вы, — заспешила она, как бы боясь, что панегирист светлейшего князя снова переведет разговор на него, — что Basile чуть ли не по целым неделям вечерами не выходит из дома и... скучает.

Граф засмеялся.

Зинаида Сергеевна вперила в него беспокойно-удивленный взгляд.

— Basile это другое дело... Ему не до светских развлечений... — со смехом заметил Владислав Нарцисович.

— Почему?

— Разве вы не знаете... Он влюблен...

— Влюблен... В кого?

— Виноват, княгиня, но я не смею... Я со своей стороны, по дружбе моей к нему, делал все возможное, чтобы представить ему всю неприглядность такого выбора, но, вы знаете, влюбленные — это безумцы.

Княгиня побледнела.

— Граф... вы... не можете... или, как вы говорите... не смее... сказать, в кого влюблен мой сын... — дрожащим голосом, с расстановкой, сказала княгиня. — Кто же она?

— Княгиня... — начал было Сандомирский.

— Мы одни, граф... Вы говорите не в гостиной, не с княгиней Святозаровой, вы говорите с матерью о ее сыне... Прошу вас... умоляю... назовите мне ее...

В голосе Зинаиды Сергеевны слышались слезы.

— Извольте, княгиня, тем более, что это на самом деле серьезно, и быть может вы сумеете его образумить... Будете в этом смысле счастливее меня...

— Кто же она, кто?

— Гречанка... Потемкинская затворница... Жар-птица... Одна из его бесчисленных... но, кажется, самая любимая...

— Ах!..

Княгиня нервно вскрикнула и откинулась на спинку кресла. С ней сделалась легкая дурнота.

Флакон с солями, всегда находившийся на столике, у которого сидела княгиня, был любезно подан ей графом. Она поднесла ее к носу и усиленно вдохнула.

Несмотря на свою замкнутую жизнь, княгине было известно о существовании в Петербурге прекрасной гречанки.

Она считала ее просто кокоткой.

Известие, что ее сын, князь Святозаров, влюблен в эту женщину, с таким даже не двусмысленным положением в обществе, окончательно ошеломило Зинаиду Сергеевну.

— Это хуже самоубийства... Это позор! — мелькнуло в ее голове.

— Благодарю вас, граф, — необычайной силой воли заставила прийти в себя Княгиня, — вы мне открытием оказали большую услугу... Я постараюсь спасти его от этого рокового

увлечения.

— Дай Бог, чтобы вам удалось... Мне не удалось... — деланно грустным тоном сказал граф, и через несколько минут стал откланиваться.

Княгиня протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал.

— Совершенно неожиданно устроил хорошее дельце... Княгиня его приструнит... Перестанет он набивать голову этой дуре разными сентиментальностями и позволять себя ей водить за нос... Только мешает другим... Ни себе, ни людям... Лежит собака на сене, сама не ест и другим не дает... Так, кажется, говорит русская пословица...

Таковы были мысли спускавшегося с лестницы дома Святозаровых графа Сандомирского.

Его лицо выражало полное удовольствие.

Он сам усиленно ухаживал за Калисфенией Николаевной и считал ее затянувшийся платонический роман с Святозаровым главным препятствием для осуществления своих далеко не платонических целей.

Он надеялся, что княгиня прекратит этот

глупый роман ее сына с содержанкой князя Потемкина.

Тогда дорога к сердцу, или лучше сказать в будуар красавицы, будет для него открыта.

«Удастся ли княгине?..» — возник в его уме тревожный вопрос.

«Это, конечно, в ее же интересах... она сумеет...» — утешал он самого себя.

В подъезде он встретился с несколькими только что приехавшими визитерами.

Княгиня Зинаида Сергеевна вынесла стоически мытарства приемных часов.

Она старалась быть приветливой и любезной, старалась поддерживать разговор, когда думы ее были совсем не о том, о чем говорили с ней ее светские знакомые.

Наконец, гостиная опустела. Княгиня удалилась в свой кабинет.

«Что делать?» — восстал в ее уме роковой вопрос.

Она вспомнила о более чем любезном приеме, оказанном ей Григорием Александровичем Потемкиным, и о спасении им карьеры ее сына.

«Он, один он, и теперь может спасти его...

Он сумеет его образумить... Это волшебник... Это гений... — вспомнились ей слова графа Сандомирского. Поехать завтра к нему... Нет... Он взял с нее слово, что она напишет ему, когда он ей понадобится...» — мелькнула в ее голове мысль.

Княгиня села к письменному столу. Через несколько минут записка была написана.

Княгиня дернула сонетку. Вошел лакей.

— Это письмо сегодня же отправить во дворец... Его светлости князю Потемкину.

Лакей бережно взял письмо и, произнеся стереотипное: «слушаю-с, ваше сиятельство», удалился.

Княгиня снова оставалась одна и задумалась.

«Сын сказал ей, что и сегодня вечером он будет дома и зайдет к ней... — начала размышлять она. — Поговорить с ним... Нет... Нет, он даже не должен знать, что она получила сведения. Он будет допытываться от кого... Догадается... Это поведет к ссоре между ним и графом... Граф такой милый... Она и князю Григорию Александровичу скажет завтра, чтобы он действовал от себя... ведь она...

его...»

Сердце княгини почему-то вдруг болезненно сжалось.

Перед ней восстал образ белокурого юноши Григория Потемкина там, в далекой Москве и в далекие от настоящего годы.

Княгиня ходила в это время по кабинету и как-то инстинктивно приблизилась к зеркалу.

Отражение показало ей, что она еще очень моложава.

Несмотря на то, что ей уже было далеко за сорок лет, княгиня замечательно сохранилась. Свежий цвет лица и почти юношеский взгляд голубых глаз делали то, что ей можно было дать лет тридцать с небольшим.

Она порывисто отошла от зеркала.

Грустная полуулыбка, появившаяся на ее губах, говорила красноречиво, что она решила отрицательную какую-то льстившую ее женскому самолюбию мысль.

Она стала ожидать сына. Первый раз в жизни ей захотелось, чтобы он не пришел. Желание ее исполнилось.

Князь Василий провел вечер вне дома.

На другой день, часов около трех, великолепный, известный всему тогдашнему Петербургу экипаж светлейшего остановился у подъезда дома Святозаровых.

Князь был аккуратен и явился в назначенный княгиней час. Зинаида Сергеевна встретила его в зале. Они прошли в угловую маленькую гостиную, находившуюся рядом с будуаром княгини.

Княгиня спустила портьеру и жестом указала князю на одно из стоявших кресел. Григорий Александрович сел. Княгиня опустилась на противоположное кресло.

— Прежде всего, княгиня, благодарю вас за память и исполнение вами слова, написать мне, когда я вам понадобится... А затем, что вам угодно?

— Ваша светлость, мне так совестно...

— Прошу вас, без чинов, кажется, мы слишком старые знакомые.

Сбиваясь и даже краснея, начала княгиня рассказ о несчастной любви ее сына к гречанке, к Мазараки, как, путаясь, называла княгиня Калисфению Николаевну.

— Вы одни, князь, можете помочь мне его

образумить, так, чтобы он не знал, что это идет от меня... Поговорите с ним, пугните его вашей властью, делайте что хотите, только спасите его...

— Это уже не просьба, княгиня, тут обоюдный интерес... Он действует против меня... — заключил князь.

Княгиня вскинула на него испуганный взгляд.

— Успокойтесь, княгиня, я пошутил, — эта девочка, которую я когда-то от скуки заинтересовался, кружит, как мне известно, головы многим из нашей молодежи, но не так серьезно, как вы рассказываете, относительно князя Василия. Впрочем, он молод и, быть может, любит в первый раз.

Григорий Александрович вздохнул. Княгиня вся вспыхнула.

— Но выбор из неудачных, — продолжал светлейший.

Княгиня горько улыбнулась.

— Во всяком случае, я сумею излечить его от этой дури, простите за выражение, княгиня.

— Именно дури, c'est le mot... — улыбну-

лась Зинаида Сергеевна. — Значит вы обещаете, и я покойна...

Княгиня протянула Григорию Александровичу руку. Он поклонился и поцеловал ее.

Этот поцелуй был дольше, чем этого требовал светский этикет; но Зинаида Сергеевна не отнимала руки.

— Положитесь на меня... Он даст мне слово позабыть ее и сдержит, — сказал князь.

— Я заранее благодарю вас... Вы во второй раз спасете его, — взволнованно сказала княгиня.

— Успокойтесь, все будет хорошо... Я на днях увидаюсь с ним...

Князь встал и, снова поцеловав руку хозяйки, уехал. Действительно, через несколько дней князь был вызван к Потемкину.

Светлейший принял его запросто, в спальне.

— А, соперник! — встретил он вошедшего князя Василия, совершенно неожиданным для последнего возгласом.

Князь Святозаров вспыхнул и затем побледнел.

— Не годится князю Святозарову делать то,

что заставляет его краснеть...

Князь стоял, потупив глаза.

Это странное начало разговора положительно поставило его в тупик.

Он долго не мог понять, серьезно ли говорит светлейший или шутит.

— Я выручил тебя в трудную минуту и избавил от козней, которые тебе готовил Безбородко, а ты, вместо благодарности, вздумал отбивать у меня любовницу...

— Ваша светлость...

— Что, ваша светлость, разве я не прав! От меня ничего не укроется... Жениться, кажется, князю Святозарову на любовнице Потемкина не приходится... А ведь я и женю... Это убьет твою мать. Слышишь... женю... Это светский скандал... Похуже, чем дело Безбородко...

Князь молчал.

Да и что он мог возразить. Потемкин был прав. Он ведь знал, что Калисфения его содержанка. Ухаживая за ней, он совершал кражу.

— Ты сядь, чего ты стоишь... В ногах правды нет... — вдруг крикнул светлейший, лежащий на постели, и указал рукой на стояв-

шее около него кресло.

Князь Василий Андреевич машинально опустился на него.

— А ты не робей уж так, я, ведь, шучу. Я также, брат, не прочь поухаживать и за замужными, но если муж мне друг да еще оказал мне услугу... никогда... И тебе не советую... нехорошо... Честь прежде всего... а потом... женщина...

— Простите, ваша светлость, — пробормотал князь Василий.

— Чего простить, я не сержусь. Сказал по душе... Моя — не трожь... и весь сказ...

— Не буду...

— Честное слово?..

— Честное слово!

— Ну, вот и шабаш... давай руку... верю... А то, ведь, женил бы... что хорошего.

Рука Святозарова утонула в широкой длани светлейшего.

— Приезжай сегодня ко мне вечером... Я тебе не таких красавиц покажу, как та, черномазая, лучше...

Князь Василий понял, что аудиенция кончилась и откланялся. Он окончательно при-

шел в себя только в своем кабинете.

XII

РАСКАЯНИЕ

Прошло около двух недель.

Зинаида Сергеевна Святозарова сравнительно успокоилась за своего сына. Урок, данный ему Потемкиным — какой именно, княгиня не знала — видимо, пошел впрок.

Она реже видела его задумчивым, он снова вернулся в товарищеский круг и завертелся по-прежнему в столичном омуте.

Это радовало княгиню. Из двух зол надо было выбирать меньшее.

«Слава Богу, он позабыл ее! Вот было бы несчастье... Позор... Светский скандал», — мысленно говорила себе Зинаида Сергеевна.

Была ли она права совершенно, покажет будущее. Пока что, повторяем, она успокоилась и отдалась снова исключительно благотворительности.

Жизнь ее, словом, вошла в свою обычную колею. Княгиня в этот период своей жизни вставала и ложилась рано. Был десятый час

утра, когда ей доложили, что ее желают видеть две странницы.

Доклад этот сам по себе не представлял ничего особенного, так как по утрам к княгине ходила масса разного рода и звания людей, кто за пособием, кто поблагодарить за оказанное благодеяние, кто с вынужтой «за здравие ангела княгинюшки» просфорой, а кто с образком, освященным в дальних монастырях у мощей святых угодников Божиих.

Княгиня приказала провести вошедших в приемную и попросить обождать.

Зинаида Сергеевна сидела в своем уютном кабинете и была занята просмотром суточного рапорта смотрительницы ее богадельни, чем она занималась внимательно каждое утро.

Княгиня не ограничивалась отведением помещения для нашедших в ее богадельне приют старушек и доставлением им полного содержания, она внимательно следила за их жизнью, за их нуждами и старались предупредить последние, дабы они ни духовно, ни физически ни в чем не терпели недостатка.

Старушки при попечении княгини жили,

по народному выражению, «как у Христа за пазухой».

Покончив с рапортом и сделав надлежащие пометки, она занялась корреспонденцией, которая каждое утро составляла довольно объемистую пачку.

Она сплошь состояла из просительных и благодарственных писем.

В иных эти оба содержания смешивались.

Надо заметить, что к одному из окон, выходящих на двор княжеского дома, был приделан большой деревянный ящик с разрезом для опускания писем и прошений.

Туда бедняки имели право с утра до вечера опускать их, хорошо зная, что наутро ангел-княгинюшка собственноручно их распечатает, развернет, прочтет и, наконец, положит милостивое решение.

При ящике состоял один из слуг, на обязанности которого лежало ранним утром выбирать накопившуюся за сутки корреспонденцию и всю целиком класть на стол в кабинете княгини.

Княгиня, действительно, сама распечатывала письма, внимательно читала их и клала

на каждое собственноручную резолюцию.

Особенно назначенный конторщик приводил эти резолюции в исполнение.

На этот раз писем было, сравнительно, немного и княгиня в какой-нибудь час покончила с ними и позвонила.

Вошел дожидавшийся в соседней комнате конторщик и почтительно принял из рук Зинаиды Сергеевны просмотренную ею корреспонденцию.

Княгиня вышла в приемную.

Увидев входящую Зинаиду Сергеевну, две женщины, одетые по-дорожному, с котомками за плечами, встали со стульев, сидя на которых, видимо, до этого времени, мирно беседовали, отвесили низкие поясные поклоны.

Княгиня пристальным взглядом, обыкновенно, изучала проходящих к ней лиц, и первые ее впечатления никогда ее не обманывали.

— Обведет это тебя глазками, точно всю душу высмотрит! — говорили о ней обращавшиеся к ней бедняки. — И соврал бы ей, грешным делом, да язык не поворачивается; чувствуешь, сердцем чувствуешь, что ей ангелу, ведомо, с

горем ты тяжелым пришел, али с нуждишкой выдуманной, от безделья да праздношатайства.

Одна из женщин была старуха, другая помоложе. Лицо последней показалось знакомо Зинаиде Сергеевне.

— Аннушка... ты? — произнесла княгиня посте некоторого размышления.

— Я, матушка, ваше сиятельство, я самая... — дрожащим голосом отвечала Анна Филатьевна.

— Что с тобой, ты так изменилась... тебя узнать нельзя... и этот наряд... Что это значит?.. — забросала ее вопросами княгиня.

Галочкина, действительно, страшно изменилась, особенно за время, которое ее не видала княгиня Святозарова, а она не видала ее более года, да и ранее Аннушка лишь изредка посещала свою бывшую госпожу, которой она была так много обязана, и которой она отплатила такой черной неблагодарностью.

Анне Филатьевне было, по ее собственному выражению, «нож вострый» ходить к княгине, особенно после, вероятно не забытого читателями, разговора со Степаном Сидоро-

вичем в кондитерской Мазараки.

Этот разговор навел ее на грустные мысли, он разбудил ее задремавшую совесть. Анна Филатьевна все реже и реже стала появляться в княжеском доме.

Изменилась Анна Филатьевна даже за тот сравнительно короткий промежуток времени, который промчался с тех пор, как она раздала последние заложенные у ее мужа вещи и решила продать дом, а затем уже и пуститься в странствование по святым местам.

Она страшно похудела и совершенно поседела.

Кожа на лице повисла морщинами и с него исчезло прежнее самодовольное выражение сытости.

Глаза, уже далеко не заплывшие, а скорее на выкате, сделались больше и в них появилось какое-то щемящее душу отражение безысходного горя и перенесенного, или лучше сказать, переносимого страдания.

— Хозяина они, матушка, ваше сиятельство, только надысь похоронили... — отвечала Анфиса, видя, что дрожащая, как осиновый лист, Анна Филатьевна не в силах более про-

изнести ни слова.

— Муж у ней умер?.. — с соболезнованием переспросила княгиня.

— Так точно, ваше сиятельство, от болезни, месяца с два грудью промаялся... и недавно Богу душу и отдал... — отвечали Анфиса.

— Чахоткой?

— Так точно, ваше сиятельство.

— С чего же ты, Аннушка, уж так убиваешься, все под Богом ходим, в животе и смерти Бог волен, я ведь вот тоже мужа потеряла, еще страшней было, да не прогневала Господа ропотом... — обратилась Зинаида Сергеевна снова к Анне Филатьевне.

Та молчала.

— И куда же ты это собралась... Ведь у тебя дом, хозяйство...

— Продала она, матушка, ваше сиятельство, и дом, и все про дала...

— Продала, зачем?

— Так ей от Господа свыше указание было... — таинственно заметила Анфиса.

Княгиня окинула ее подозрительным взглядом.

— Какое указание?.. Куда же она дела день-

ги?..

— По церквам да по монастырям раздала на помин души покойничка... Виктор Сергеевич, царство ему небесное, не тем будь помянут, закладами занимался, так все залоги даром раздала... Деньги же, что за дом выручила, с собой несем... по святым местам да по дальним монастырям раздадим... — продолжала неспешно старуха.

Зинаида Сергеевна поняла, что говорившая чужда в этом деле корыстных целей.

У княгини, прежде всего, мелькнула эта мысль. Она навидалась разного рода страниц. Мысленно укорила она себя за нехорошую мысль о ближнем, и видя, что Аннушка стоит перед ней с остановившимся взглядом, видимо, ничего не понимая из совершающегося вокруг нее, уже более мягко обратилась к Анфисе.

— Так неужели, матушка, она так безумно любила своего мужа?

Старуха еще не успела ответить, как Анна Филатьевна, совершенно неожиданно, как сноп, ничком повалилась к ногам Зинаиды Сергеевны. Княгиня сперва испуганно отсту-

пила, а затем стремительно нагнулась, чтобы поднять лежавшую.

— Аннушка, Аннушка, что с тобой, что с тобой... — растерянно бормотала Зинаида Сергеевна, тормоша ее за плечо.

— Не замай ее... ваше сиятельство... пусть полежит, совесть ее не позволяет смотреть вам в очи, ваше сиятельство, вот она к ногам и припала, прощенья, значит, вымолить хочет.

— Почему же ей совесть не позволяет... в чем ей у меня просить прощенья? — выпрямилась княгиня, бросив удивленно-вопросительный взгляд на Анфису.

— Говорила она, что не сможет покаяться вашему сиятельству, и впрямь не смогла... Придется мне за нее поведать ее грех незамолимый против вас, княгинюшка.

Анна Филатьевна при этих словах старухи поднялась с пола, но продолжала стоять на коленях, опустив низко голову.

— Какой грех, говори, что такое? — нетерпеливо спросила княгиня.

— Жила она у вас в деревне, как вы на сносках были, ваше сиятельство, — медленно на-

чала Анфиса и вдруг остановилась...

— Ну, ну...

— Родили вы в те поры мальчика.

Зинаида Сергеевна вся превратилась в слух и даже наклонилась вперед всем корпусом.

Глаза ее были широко открыты.

— Камердинер покойного князя, супруга вашего, и подкупил ее, окаянную, подменить ребенка на мертвую девочку, что родила судомойка вашей соседки... Потемкиной...

Княгиня слабо вскрикнула. Ноги у нее подкосились и она медленно, сперва села на пол, а потом опрокинулась навзничь.

На этот крик вбежала прислуга и понесла бесчувственную княгиню в ее спальню.

Этот же крик привел в сознание и Анну Филатьевну. Она вскочила на ноги.

— Ишь, болезная, как ее сразу скрутило... — заметила Анфиса.

— Но надо ей рассказать все... все... Ведь мне Степан Сидорыч сказал, что он, ребенок этот, у Потемкиной.

— Другой раз зайти надо будет... к вечеру... пойдём-ка в Лавру, помолимся...

— Ее сиятельство просит вас обеих к себе в спальню... — вернула горничная уже было выходящих из приемной женщин.

— Пришла в себя, значит, голубушка...

— Ее сиятельство лежит в постели... — бросила на них суровый взгляд служанка.

Она, как и вся прислуга в доме, боготворила Зинаиду Сергеевну и считала этих неизвестных ей богомолков причиной дурноты княгини.

Горничная пошла вперед.

Анфиса и Анна Филатьевна послушно последовали вслед за ней.

Княгиня, уже раздетая, лежала в постели.

— Говори, Аннушка, говори... Что сделано, то не вернешь... Я много страдала, все вынесла... и это вынесу... Где он, где мой сын... Вот о ком написал мой муж перед смертью.

Голос Зинаиды Сергеевны прерывался.

Анна Филатьевна, облегченная исповедью за нее Анфисы, тоже прерывающимся голосом рассказала подробности происшествия в Несвицком, не умолчав и о том, что сынок княгини был отдан Степаном Сидоровичем Потемкиной.

— Простите меня, ваше сиятельство, простите окаянную, всю остатнюю жизнь буду замаливать грех свой перед Господом, только коли вы не простите, не простит и Он, милосердный.

— Бог простит ли тебя, а я прощаю...

Княгиня протянула ей руку.

Та припала к ней долгим поцелуем и облила ее всю горячими слезами.

— Не плачь... молись... за себя... и за меня... Это меня тоже Господь наказал за гордость.

Княгиня вспомнила свое поведение относительно мужа, после убийства им Костогорова.

Дрожь пробежала по ее членам.

— Вот она, матушка, ваше сиятельство, и надумала иудины-то деньги эти, с которых они и жить пошли, все раздать бедным да по святым местам, и самой для Бога потрудиться со мной вместе странствием... — вставила слово Анфиса.

— Простите, простите меня, окаянную! — плакала, припав к руке княгини, Аннушка.

— Прощаю, прощаю... Идите, помолитесь за меня...

Обе женщины вышли.

Зинаида Сергеевна некоторое время была в каком-то оцепенении.

— Она знает, где он... Знает наверное и ее сын... — высказала она вслух свою мысль и резко дернула за сонетку, висевшую у кровати.

— Одеваться! — сказала она вошедшей горничной. — Да сперва вели заложить карету.

Та удивленно посмотрела на барыню, но тотчас же отправилась исполнить приказание.

Через каких-нибудь четверть часа княгиня была уже в Аничковом дворце, но, увы, к Дарье Васильевне ее не допустили.

Старуха Потемкина была больна и лежала в постели.

Зинаида Сергеевна приказала ехать в Зимний дворец. Там ей сообщили, что его светлость накануне выехал из Петербурга в Новороссию.

Княгиня села в карету и зарыдала.

Лакей отдал приказание кучеру ехать домой.

Выплакавшись, она несколько успокои-

лась и стала соображать.

— Написать... он ответит... — решила она.

Тотчас же по приезде домой, она стала писать письмо Григорию Александровичу Потемкину.

Она решила отправить его с нарочным вдогонку за светлейшим князем.

XIII

СДАЧА БЕНДЕР

Пятого мая 1789 года Григорий Александрович Потемкин уехал из Петербурга к своей победоносной армии.

За это кратковременное пребывание его в столице, он ко всему приложил свою могучую и искусную руку.

Она отразилась на ходе дел со Швецией, Польшей и Пруссией.

Его влияние на императрицу и доверие последней к нему ярче всего выяснилось в том факте, что Потемкину были поручены обе армии: украинская и екатеринославская, и он явился, таким образом, полководцем всех военных сил на юге и юго-западе.

Предводитель украинской армии, граф Румянцев-Задунайский, считал себя несправедливо обиженным, удалился в свою малороссийскую деревню.

Григорий Александрович получил для продолжения кампании шесть миллионов рублей.

Постоянно усиливавшаяся неприязнь поляков, сочувствовавших Турции, и в силу этого отказавшихся доставлять провиант для украинской армии, принудила его избрать главным театром своих действий не Подолию, а Бессарабию; он решился наступать по кратчайшей и удобнейшей для него операционной линии и от Ольвиополя к Нижнему Днестру и задался целью овладеть Бендерами и Аккерманом.

Сообразно с этим планом, князь разделил вверенные ему войска, численность которых превосходила 150000 человек, на две части.

Одна, состоявшая из трех дивизий, под личным его предводительством, сосредоточилась у Ольвиополя; другая же, из двух дивизий и таврического корпуса, под начальством генерал-аншефа, князя Репнина, расположи-

лась на реке Прут.

Кроме того, дивизия Суворова была направлена к Бырладу, для поддержания сообщения с австрийцами, которые занимали небольшим отрядом принца Кобургского Молдавию и собирала свои армии в Кроации, Славонии и Баннате, намереваясь двинуться к Белграду.

Намерение неприятеля было, видимо, стараться возвратить себе Очаков и овладеть Крымом.

Начало военных действий замедлилось в силу непредвиденных случайностей.

Растянутое положение екатеринославской армии и бури, свирепствовавшие на Днестре, не позволяли собрать ее к Ольвиополю ранее конца июня. Истощение молдаванских магазинов и сильное разлитие Прута, сорвавшего все устроенные на нем мосты и затопившего дороги, задержали Репнина в Молдавии.

В это же самое время умер султан Абдул-Гамид и его место занял юный Селим III.

Князь Потемкин, далеко не уклонявшийся от мирных переговоров с турками, считал за лучшее выждать, какой оборот примут дела в

Константинополе, вследствие перемены правительства.

Во время этого вынужденного обстоятельством бездействия, Григорий Александрович заложил при устье Ингула, недалеко от Очакова, новый портовый город с верфью и назвал его Николаевым, в память святителя, в день которого был взят Очаков.

В половине июня великий визирь, получив повеление нового султана начать наступательные действия, перешел Дунай и направил 25000 корпус на Фокшаны, чтобы вытеснить австрийцев из Молдавии.

Русские войска, стоявшие в Бырладе, поспешили на помощь к австрийским и соединенными силами разбили турок близ Фокшан.

Великий визирь, взбешенный неудачею, двинулся сам с 90000 армией против союзников, а для отвлечения оттуда главных сил Потемкина, велел сераскиру Гассан-паше выступить с 30000 из Измаила к Лапушне.

Обе эти армии потерпели полное поражение.

Суворов, вместе с австрийцами, разбил ви-

зиря наголову при Рымнике, а князь Репнин сераскира при Сальче.

Начало этой кампании было, таким образом, много счастливее начала первой.

Эти победы русских повлекли за собой сдачу турецких крепостей на Днестре.

Потемкин почти без боя занял 14 сентября замок Гаджи-бей, где впоследствии была выстроена Одесса, 23-го — укрепление Паланку, 30-го — крепость Аккерман.

Интересна подробность взятия последнего. Григорий Александрович послал сказать начальствовавшему в нем паше, чтобы он сдался без кровопролития.

Ответ, по мнению Потемкина, мог быть только утвердительным, а потому в ожидании его был приготовлен великолепный обед, к которому были приглашены генералитет и все почетные особы, принадлежавшие к свите светлейшего.

По расчету Потемкина, парламентар должен был явиться к самому обеду.

Однако же он не явился.

Князь сел за стол в дурном расположении духа, ничего не ел, грыз, по-своему обыкновенно-

нию, ногти, и беспрестанно спрашивал не едет ли посланник.

Обед оканчивался и нетерпение светлейшего возрастало.

Наконец, вбежал адъютант с известием, что парламентар идет.

— Скорей, скорей, сюда его! — воскликнул Григорий Александрович.

Через несколько минут в ставку вошел запыхавшийся офицер и подал князю письмо.

Распечатать и развернуть его было для князя делом одной минуты, но вот беда — оно было написано по-турецки.

Новый взрыв нетерпения.

— Скорее переводчика!.. — крикнул Потемкин.

Переводчик явился.

— На, читай и говори скорей, сдастся крепость, или нет?

Переводчик начал читать письмо, прочел раз, другой, оборачивает его, вертит перед глазами, но не говорит ни слова.

— Да говори же скорей, сдастся крепость или нет! — загремел князь.

— А как вашей светлости доложить? —

хладнокровно ответил переводчик. — Я сам в толк не возьму...

— Как так?

— Да извольте видеть, в турецком языке есть слова, имеющие двойное значение: утвердительное и отрицательное, смотря потому, бывает поставлена над ним точка или нет...

— Ну так что же?

— В этом письме есть именно такое слово. Если над ним поставлена точка, то крепость не сдается, но если эту точку насидела муха, то на сдачу крепости паша согласен.

— Ну, разумеется, насидела муха! — воскликнул Григорий Александрович и тут же соскоблил точку столовым ножом, приказал подать шампанское и первый провозгласил тост за здоровье императрицы.

Крепость Аккерман действительно сдалась, но только через двое суток, когда паше были обещаны подарки.

Донесение же государыне о сдаче этой крепости было, между тем, послано в тот же самый день, когда Потемкин соскоблил точку, будто бы насиденную мухой.

После взятия Аккермана Потемкин двинулся на Бендеры.

Во время этого движения в авангарде произошла ночью небольшая стычка.

Григорий Александрович, услышав перестрелку, немедленно сел на лошадь и поехал вперед.

Дорогой он встретил партию казаков, из которых один, весь в крови, шел пешком и во все горло пел песни.

Князь остановился, подозвал к себе казака и спросил его, что с ним случилось.

— Батько свитлый! — отвечал казак, — откакавался! Пропала рука! Сучий турчин отбив из гарматы.

Казак показал князю оторванную по самый локоть руку, которую он бережно нес, завернув в тряпку.

Григорий Александрович вздохнул, вынул из кармана десять червонцев и подарил их казаку.

Бендеры были обложены 28 октября. В них находилось 16000 человек гарнизона. Осадой крепости заведовал лично сам главнокомандующий.

Однажды он поехал на передовую линию, чтобы указать места для закладки осадных батарей. Турки узнали его и усилили огонь.

Одно из ядер упало около самого князя и забросало его землей.

— Турки в меня целят, — сказал он спокойно, — но Бог защитник мой, Он отразил этот удар.

Постояв еще некоторое время на том же месте, князь поехал медленным шагом по линии, не обращая никакого внимания на учащенные выстрелы.

Однако, осада сильной крепости в такое позднее время года могла иметь весьма невыгодные последствия для осаждающих и потому Потемкин старался всеми мерами побудить гарнизон сдаться.

«Я через сие даю знать, — писал он командовавшему в городе паше, — что с многочисленною армиею всемилостивейшей моей государыни императрицы Всероссийской приблизился к Бендерам, с тем, чтобы сей город взять непременно. Закон Божий повелевает наперед спросить. Я, следуя сему священному правилу и милосердию моей самодержи-

цы, объявляю всем и каждому, что если город будет отдан добровольно, то все без вреда, с собственным именем, отпущены будут к Дунаю, куда захотят; казенное же все должно быть отдано нам. В противном случае поступлено будет как с Очаковым и на вас уже тогда Бог взыщет за жен и младенцев. Выбирайте для себя лучшее».

Постоянные успехи и многочисленность русской армии, свежие еще в памяти гибель защитников Очакова и великодушные победителя к покорившемуся аккерманскому гарнизону, получившему свободу, сделали турок миролюбивыми.

Бендеры сдались.

В крепости было найдено 300 пушек, 25 мортир, 12000 пудов пороху, 22000 пудов сухарей и 24000 четвертей муки.

Григорий Александрович, верный своему слову, отпустил гарнизон и жителей в Измаил.

Приобретение такой сильной крепости без всякого урона было тем более приятно светлейшему, что в 1770 году эта же крепость три месяца была осаждаема графом П. И. Пани-

ным и, наконец, взята кровопролитным штурмом, стоившим свыше 7000 человек убитыми и ранеными.

Потемкин донес государыне о взятии Бендер. «Мы взяли девять судов, не потеряв даже одного мальчика и Бендеры с тремя пашами, не потеряв и кошки».

С этим донесением отправлен был в Петербург Валерьян Зубов, осыпанный милостями императрицы.

Взятием Бендер окончилась успешная кампания 1789 года.

Действия австрийцев тоже были гораздо счастливее сравнительно с предшествовавшими походами: они заняли Валахию и успешно воевали на Саве и Дунае.

В ноябре месяце князь распустил войска на зимние квартиры между Прутом и Днестром и поселился в Яссах, которые избрал своим местопребыванием и главною квартирою.

26 декабря он получил от императрицы благодарственный рескрипт, оканчивающийся такими словами: «дабы имя ваше, усердною к нам службою прославленное, в воин-

стве нашем пребывало навсегда в памяти, соизволяем, чтобы кирасирский екатеринославский полк, коего вы шеф, отныне впредь именовался „кирасирским князя Потемкина полком“».

Вслед за тем, государыня пожаловала ему 100000 рублей деньгами, 150000 лавровый венчик, осыпанный бриллиантами и другими драгоценными камнями, и звание «великого гетмана казацких войск, екатеринославских и черноморских».

Кроме того, императрица приказала выбить в честь Потемкина три золотые медали, с его изображением в виде героя, увенчанного лаврами. На обороте одной медали была представлена карта Крыма, на другой — план Очакова и на третьей — Бендеры.

Посылая князю эти медали, государыня, между прочим, писала ему: «Я в них любовалась как на образ твой, так и на дела того человека, в котором я никак не ошиблась, зная его усердие и рвение ко мне и к общему делу, совокупленное с отличными дарованиями души и сердца».

Потемкина ожидали после этой кампании

в Петербург, но он не поехал.

XIV В ЯССАХ

Блестящие успехи русского оружия не могли, однако, вывести России из того затруднительного положения, в которое она была поставлена в описываемое нами время.

В наступившем 1790 году эти затруднения достигли своего кульминационного пункта.

Война со Швецией не прекращалась. Польша собирала свои войска на наших границах. Пруссия, Англия и Голландия, опасаясь возроставшего могущества России, готовились, под предлогом пресловутого политического равновесия, помогать Турции и грозили войною, если не будет заключен мир с Портой, при условии возвращения последней завоеванных областей.

К довершению всего, верный союзник Екатерины, Иосиф II умер, а его преемник Леопольд II, под влиянием берлинского кабинета и вследствие внутренних неурядиц, поспешил заключить мир с Турцией.

Россия осталась одна, окруженная врагами.

Григорий Александрович Потемкин поневоле должен был ограничиться обороной взятых им крепостей, так как получить подкрепления войсками было невозможно. Он даже завязал с турками мирные переговоры, бесследно длившиеся до августа.

Сам же он проживал в Яссах. Эта жизнь была рядом великолепных празднеств.

Обеды и рауты сменялись балами. Оркестр в 300 человек, под управлением волшебника Сарти, ежедневно оглашал роскошное помещение светлейшего и разбитый вокруг его ставки английский сад.

Цветник красавиц, между которыми особенно выдавались Потемкина, де Витте, Гагарина и Долгорукая, украшал эти волшебные праздники и лукулловские пиры.

Тосты за этих представительниц прекрасного пола сопровождались грохотом пушек, во время десерта им раздавались бриллианты целыми ложками.

Григорий Александрович усиленно ухаживал в это время за княгиней Гагариной.

Она находилась в интересном положении и князь обещал ей собрать мирный конгресс в ее спальне.

На одном из таких праздников, Григорий Александрович, в порыве неудержимой страсти, обнял княгиню при всех.

Та ответила ему пощечиной.

Неожидавший этого Потемкин вскочил и весь бледный вышел из комнаты.

Гости похолодели от ужаса.

Наступило короткое, но казавшееся бесконечным, тяжелое молчание.

Григорий Александрович через несколько минут снова появился среди гостей, веселый, улыбающийся.

— Мир, княгиня... — подошел он к виновнице переполоха и поднес ей дорогую брошку с великолепным солитером.

Праздник, омрачившийся на несколько минут, продолжался.

«Делу — время, забаве — час», — говорит русская пословица.

Следуя ей, Григорий Александрович, несмотря на беспрерывно сменявшиеся праздники, неусыпно и неустанно работал.

Курьеры от начальников частей то и дело прибывали в Яссы с донесениями и за получением приказаний главнокомандующего.

Между этими курьерами явился и посланный Суворовым ротмистр Софийского кирасирского полка Линева.

Это был очень умный, образованный и богатый человек, но чрезвычайно невзрачной наружности.

Посланный был тотчас же представлен князю.

Приняв от Линева депешу, Потемкин взглянул на его некрасивое лицо, поморщился и произнес сквозь зубы:

— Хорошо! Приди ко мне завтра утром.

Когда на другой день Линева явился к князю, последний пристально посмотрел на него, снова поморщился и сказал:

— Ответ на донесение готов, но ты мне еще нужен, приди завтра.

— Я вижу, — резко ответил Линева, оскорбленный таким обращением, — что вашей светлости не нравится моя физиономия; мне это очень прискорбно; но, рассудите сами, что легче: вам ли привыкнуть к ней, или мне из-

менить ее?

Ответ этот привел в восхищение Григория Александровича.

Он расхохотался, вскочил, обнял Линева, расцеловал его и тут же произвел в следующий чин.

Горожане и окрестные жители Ясс чуть не молились на светлейшего.

Его щедрость вошла в пословицу.

Один из окрестных крестьян, узнав, что князь охотник до огурцов, принес ему ранней весной несколько штук.

Потемкин удивился, откуда крестьянин мог так рано достать свежих огурцов.

Тот доложил, что у него есть нечто вроде парника, и как только поспели первые огурцы, он счел долгом ударить ими челом светлейшему.

Григорий Александрович щедро наградил его.

Слухи об этом вскоре распространились по окрестным деревням.

Когда наступило лето и огурцы выросли уже на грядках, одна крестьянка начала понукавать своего мужа свезти огурцов светлейше-

му.

— Повези целый воз, князь тебя озолотить! — говорила она. Муж, было, заупрямился, но баба поставила на своем и отправила его в Яссы с возом огурцов.

— Прихвати и несколько арбузов... — заметила она. Но от арбузов мужик решительно отказался.

Григорию Александровичу доложили о приезде мужика. Князь был в эту минуту чем-то расстроен и сказал в сердцах:

— Выбросьте ему огурцы на голову...

Челядь с радостью принялась буквально исполнять приказание его светлости.

Пока в мужика швыряли огурцами, он обнаруживал не столько чувство боли, сколько чувство самодовольства.

— Хорошо-таки я сделал, — приговаривал он, — что не послушался бабы и не взял арбузов, а то теперь ими меня бы убили до смерти...

Челядь смеялась.

Потемкин, увидя в окно исполнение своего приказания, о котором уже успел позабыть, послал узнать о причине такого весело-

го настроения слуг.

Ему доложили все в подробности.

Поведение мужика, избиваемого его собственными огурцами, прогнало хандру князя, он улыбнулся и велел дать ему довольно значительную сумму денег.

Кроме щедрости, князь заслужил любовь жителей Ясс и справедливостью.

Людям его была отведена квартира в доме одного купца.

У последнего случилась крупная кража, грозившая ему совершенным разорением.

Купец принес Потемкину жалобу, объяснив, что причина кражи была та, что люди светлейшего беспрерывно днем и ночью ходят со двора, вследствие чего нельзя запереть ни ворот, ни дверей.

Григорий Александрович, убедившись в справедливости жалобы купца, приказал немедленно вознаградить его сполна наличными деньгами из своей шкатулки.

Сюда же, в Яссы, явился из отпуска Василий Романович Щегловский.

Князь Потемкин, к которому он не замедлил представиться, принял его более чем су-

ХО.

Он на его приветствие как-то загадочно посмотрел на него исподлобья и не сказал ни слова.

Щегловский вышел из приемной бледный как полотно, еле держась на ногах.

Он понял, что светлейшему известно, что он не сдержал своего слова и виделся в Петербурге не только с родными.

Выдержав свой характер, в присутствии князя в столице, Василий Романович после отъезда Потемкина, не устоял против соблазна посетить несколько раз восточный домик на Васильевском острове.

Григорий Александрович, до мелочей зорко следивший за исполнением своих приказаний, был уведомлен об этом из Петербурга.

Этим и объясняется холодная, суровая встреча провинившегося.

Василий Романович понял, что его карьера окончательно погибла.

Не таков был светлейший, чтобы забыть и оставить безнаказанным человека, нарушившего данное им честное слово.

«Честь прежде всего... потом женщи-

ны!..» — говаривал, как мы знаем, Потемкин, и твердо держался этого правила.

Щегловский чувствовал, что отныне над ним висит Дамоклов меч.

Меч упал.

Между прочими возложенными на него обязанностями, Василий Романович получил ордер сдать турецких пленных поручику Никорице. Из числа этих пленных девять турецких офицеров бежали.

Об этом доложили светлейшему.

Не прошло и пяти дней, как за это упущение пленных, без всякого допроса и суда, Щегловский был в кандалах отправлен в Сибирь.

В Яссах же находился и созданный Потемкиным богатый подрядчик Яковкин.

Он уже был титулярный советник и ездил на своих лошадях.

— Я слышал, что ты купил себе имение? А отцу своему купил ли? — раз спросил его светлейший.

— Я для себя купил имение, ваша светлость, а для отца еще нет.

— Купи и ему. Он стар и ему время на покой.

Воля князя была немедленно исполнена.

Старик Яковкин дослужился в это время, благодаря, конечно, покровительству Потемкина, уже до капитанского чина, вышел в отставку и зажил барином в своем имении.

Задаваемые чуть не ежедневно Григорием Александровичем пиры и праздники служили ему некоторым рассеянием от тяжелых гнетущих мыслей, которые невольно посещали его голову под влиянием сложившихся обстоятельств.

Старания князя, давно, кажется, разочаровавшегося в скором осуществлении своих крупных планов о мире, не увенчались успехом.

Конечно, мир, после всех блестящих успехов русского оружия, должен был бы быть почетным, между тем, Порта, подзадориваемая иностранными державами, не особенно спешила вести переговоры и делать уступки.

Потемкин стал приготовляться к военным действиям.

Он послал адмирала Ф. Ф. Ушакова с эскадрою отыскивать турецкий флот.

«Возложите твердое упование на Бога, —

писал ему набожный князь, — и при случае сразитесь с неприятелем. Христос с вами, я молю Его благодать, да ниспошлет на вас милость и увенчает успехом».

Через несколько дней он снова писал Ушакову.

«Молитесь Богу! Он вам поможет, положитесь на Него, ободрите команду и произведите в ней желание сразиться. Милость Божия с вами».

Кроме того, светлейший призвал Головатого и спросил, нет ли у него из числа возвратившихся из Турции беглых запорожцев, таких, которых можно было бы послать к Измаилу для разведывания о пришедшем турецком флоте и о положении островов на устье Дуная, ниже крепости.

— Стрывай, батьку, — отвечал Головатый, — я пиду пораспытаюсь до коша.

Собрав казаков и сделав им вызов, Головатый нашел многих, способных выполнить поручение.

Оказалось, что некоторые из них даже знали инженерную науку, умели рисовать и брались начертить всему точные планы.

Когда Головатый донес об этом светлейшему, тот приказал немедленно снабдить казаков всем нужным, но Головатый остановил его:

— Треба тилькы хлеба дать, а бильще ничего.

Вызвавшие на опасное поручение запорожцы, в числе сорока человек, отправились к устью Дуная, сели там на легкие рыбацкие лодки, взяли невод и объехали свободно весь турецкий флот, показывая вид, что они ловят рыбу.

Турки сначала было остановили их, но они уверили их, что они турецкие запорожцы и были отпущены.

Таким образом, смельчакам удалось снять подробные планы расположения турецкого флота и крепостей Измаила и Браилова.

Окончив поручение, запорожцы возвратились в Яссы.

Головатый представил план князю, который был чрезвычайно удивлен верностью чертежей и подробностью собранных сведений, и пожелал лично поблагодарить смельчаков-искусников.

Головатый привел их в залу и построил в одну шеренгу. Все они были оборванцы, оципаны, в рубищах. Некоторые не имели даже рубашек, не только платья и обуви.

Григорий Александрович вышел, и, думая что это стоят нищие, спросил:

— Где же они?

— Вот они, батько... — указал Головатый на запорожцев.

Князь был поражен представившейся ему картиной бедности и прослезился.

Он тут же произвел шестнадцать человек запорожцев в офицеры, а остальных, которые отказались от чина, велел обмундировать с ног до головы в лучшее казацкое платье и сверх того подарил каждому по сто червонцев.

Но ни денег, ни платья не стало некоторым и на месяц, — все было пропито и остались они опять в чем мать родила.

Наступил август.

Григорий Александрович получил неожиданно радостное известие о прекращении шведской войны.

«Велел Бог одну ногу высвободить из гря-

зи, — писала к нему государыня, — а как вы-
тащим другую, то пропоем аллилуйя».

Мир со Швецией дал возможность усилить нашу армию и возобновить наступательные действия на Дунае. Надо было сломить упорство Турции и взять ее последний оплот на театре войны — твердыню Измаила. Для со-
вершения этого дела, конечно, лучше всего было назначить Суворова.

XV СУВОРОВ

Александр Васильевич Суворов, этот знаме-
нитый чудак-полководец, уже в описывае-
мое нами время пользовался репутацией
непобедимого.

Он был кумиром солдат и одно его появле-
ние перед войсками уже предрешало победу.

Он украсил свое бессмертное чело первы-
ми военными лаврами в семилетнюю войну
в 1759 году, участвовал в усмирении Польши
в 1768 году и в подавлении пугачевского бун-
та в 1773 году и везде с одинаковым успехом.

Про него говорили, что он нашел тайну

побед. Эта тайна, как все на свете, была очень проста.

Гений — это труд.

Этот афоризм английского ученого всецело оправдывается на истории величайшего русского полководца.

Расскажем вкратце его биографию.

Отец Александра Васильевича Василий Иванович Суворов был потомок шведского дворянина Суворы, переселившегося в Россию при царе Михаиле Федоровиче.

Потомки Суворова верой и правдой служили русским государям и пользовались их особою милостью, что доказывается тем, что Василий Иванович был крестником Петра Великого.

Служа при своем высоком восприемнике, он дослужился до чина капитана гвардии и после кончины императрицы Екатерины I вышел в отставку, и поселился в своем имении в Новгородской губернии.

Там он занялся воспитанием своего единственного сына Александра, родившегося 15 ноября 1729 года.

Мальчик был очень худ и слаб, что беспо-

коило его отца и заставило его, скрепя сердце, решиться пустить сына по гражданской службе.

Маленький Саша, напротив, как бы унаследовал от отца любовь к военной службе и спал и видел себя солдатом.

После долгой борьбы с самим собою, по совету родственников, Василий Иванович решился исполнить желание сына.

Мальчик был в восторге.

Он был записан солдатом в гвардейский Семеновский полк.

Несколько лет провел он в родительском доме, и только в 1745 году, семнадцати лет, он вступил в действительную службу.

Отец его тоже, по восшествии на престол Елизаветы Петровны, событии радостном для всех приверженцев Петра Великого, покинул деревню и вновь был принят на службу, в чине генерал-майора.

Молодой солдат Александр Суворов с первых же шагов заявил себя примерным служакой, а свободное от фронтальной службы время посвящал изучению военной науки.

Однажды, летом 1749 года, он стоял на ча-

сах в Монплезире, в Петергофе.

Вдруг из большой аллеи вышла государыня.

Суворов не замедлил отдать ей честь.

Полюбовавший очаровательным видом открытого моря, Елизавета, возвращаясь, обратила внимание на молодого солдата.

— Как тебя зовут? — спросила она.

— Александром Суворовым, ваше императорское величество.

— Ты не родственник генерала Суворова?

— Я его сын, ваше величество.

— Поздравляю тебя с таким отцом; старайся следовать по его стопам и служи мне верно и усердно. Я не забуду.

— Рад стараться, ваше величество.

— А вот тебе от меня рубль серебром... — сказала императрица, подавая ему серебряную монету.

— Всемиловитейшая государыня, — закон запрещает солдату, стоящему на часах, принимать деньги.

— Ай да молодец... — улыбнулась Елизавета и, потрепав его по щеке и дав поцеловать свою руку, она прибавила: — Ты, я вижу, зна-

ешь службу. Я положу рубль на землю. Возьми, когда сменишься. Прощай.

Суворов снова отдал честь.

Когда его сменили, он поднял рубль и, поцеловав его, решил хранить, как святыню.

На другой же день рядового Александра Суворова потребовали к генералу.

— Поздравляю тебя, — сказал ему последний, — сейчас получен от императрицы приказ произвести тебя в капралы вне очереди. Продолжай служить как служил до сих пор и без награды не останешься. Ступай с Богом.

Весь сияющий, вышел от генерала Александр Васильевич. Несколько времени спустя после производства в капралы, Суворов опять случайно встретил императрицу Елизавету Петровну.

— Здравствуй, капрал! — милостиво улыбнулась она.

— Здравия желаю, ваше императорское величество.

— Послушай, Суворов, — продолжала государыня, — я слышала, что ты не только не водишься со своими товарищами, но даже избегаешь их общества... Какая тому причина?

— Ваше величество, — отвечал Суворов, — у меня много старых друзей, а старым для новых грешно изменять.

— Кто же эти старые друзья?

— Их много, ваше величество.

— Назови мне кого-нибудь.

— Слушаю, ваше величество. Старые друзья мои — Цезарь, Аннибал, Вобан, Когорн, Фолард, Тюрен, Мантекукули, Роллен... всех и не упомяну.

Императрица невольно улыбнулась, когда молодой солдат скороговоркой произносил имена знаменитых полководцев и историков, творения которых он не переставал изучать.

— Это очень похвально, — заметила государыня, — но не надобно отставать и от товарищей.

— Успею еще, ваше величество! Теперь же мне нечему у них учиться, а время дорого.

— Странный молодой человек! — сказала императрица одному из следовавших за нею придворных и, обратясь к Суворову, добавила: — Старайся поскорее дослужиться до офицерского чина. Ты, я вижу, будешь отличным офицером.

— Рад стараться, ваше величество! — отвечал молодой капрал, и когда императрица удалилась, милостиво кивнув ему головой, он прибавил вполголоса: — Нет! Я недолго буду ждать очереди к производству по гвардии. Я подам прошение о переводе в армию... Чины мои на неприятельских пушках...

Еще два года прослужил Суворов и был произведен в сержанты.

В этом чине его посылали курьером в Польшу и в Германию, а по возвращении отсюда он получил чин фельдфебеля.

Наконец, в 1754 году он был произведен в офицеры, а в 1757 году мы застаем его подполковником в действующей армии во время Семилетней войны.

Он командовал гусарами и казаками и в несколько недель превратил их в своих орлов.

— Ребята, — говорил он солдатам, — для русских солдат нет середины между победой и смертью. Коли сказано вперед, так я не знаю, что такое ретирада, усталость, голод и холод.

Офицерам же он говорил следующее:

— Господа, помните, что весь успех в войне составляют: глазомер, быстрота и натиск!..

С одной сотней казаков, он явился к стенам города Ландсберга. Казаки, высланные вперед для рекогносцировки, вернулись и с беспокойством объявили, что в городе прусские гусары.

— Помилуй Бог, как это хорошо! — заметил Суворов. — Ведь их-то и ищем.

— Не прикажете ли узнать, сколько их здесь?

— Зачем, мы пришли их бить, а не считать. Стройся, — скомандовал он своему отряду и крикнул:

— Марш-марш!

Впереди отряда он во весь опор проскакал к городским воротам.

— Ломи! — скомандовал Александр Васильевич.

В несколько минут ворота были выломаны бревном и казаки ворвались в город.

Неожиданное нападение смешало пруссаков, которые сдались, хотя были впятеро сильнее.

Таково было первое дело Суворова.

Близ Штаргарда, он с небольшим отрядом был окружен пруссаками, которые закричали ему:

— Сдавайся!

— Я этого слова не понимаю, — отвечал Александр Васильевич и, крикнув «ура», прочистил себе путь.

Таким образом, во время описываемой нами войны с турками имя Суворова уже было окружено ореолом славы — он был генерал-поручиком и участвовал, как мы знаем, в сражениях при Кинбурне и осаде Очакова.

Незадолго перед штурмом последнего, он был ранен пулею, ворвавшись и чуть не овладев одним из очаковских укреплений.

К телесным страданиям Суворова присоединились и душевные скорби.

Григорий Александрович выговаривал ему за последнее дело, где много легло русских солдат и писал ему:

«Мне странно, что в присутствии моем делают движения без моего приказанья пехотой и конницей... Извольте меня уведомить, что у вас происходит будет, да не так, что даже не прислали мне сказать о движении впе-

ред».

Александр Васильевич, огорченный этим выговором, просил Потемкина позволить ему удалиться в Москву для излечения ран.

Он писал, между прочим, князю:

«Невинность не терпит оправдания; всякий имеет свою систему, так и по службе я имею свою. Мне не переродиться и поздно! Светлейший князь! Успокойте остатки моих дней!.. Шея моя не оцарапана — чувствую сквозную рану, — тело мое изломано. Я христианин, имейте человеколюбие! Коли вы не можете победить свою немилость, удалите меня от себя. Но что вам сносить от меня малейшее беспокойство. Добродетель всегда гонима. Вы вечны, мы кратки».

Потемкин отпустил Суворова, но не вследствие немилости, а искренно примирившись с ним и называл его в письмах сердечным другом.

По взятии Очакова, Александр Васильевич встретился с Григорием Александровичем в Петербурге.

Григорий Александрович неоднократно назывался к нему на обед.

Суворов всячески отказывался, но, наконец, был вынужден принять князя с многочисленной свитой.

Накануне назначенного для обеда дня, Александр Васильевич позвал к себе лучшего княжеского метрдотеля, Матоне, и поручил ему, не щадя денег, изготовить великолепный стол; а для себя велел своему повару Мишке приготовить только два постных блюда.

Обед был самый утонченный и удивил даже Потемкина, но Суворов, под предлогом нездоровья, ни до чего не касался, за исключением своих блюд.

На другой день, когда метрдотель принес ему счет, простиравшийся за тысячу рублей, он подписал на нем: «Я ничего не ел» и отправил князю.

Потемкин рассмеялся и тотчас же заплатил деньги и сказал:

— Дорого стоит мне Суворов.

Императрица приняла Александра Васильевича в Петербурге очень милостиво и пожаловала ему бриллиантовое перо на каску, с изображением буквы К в воспоминание слав-

ного Кинбурнского дела.

В 1789 году Суворов снова вернулся в действующую армию.

Первыми славными делами его в эту кампанию были битвы при Фокшанах и на берегах Рымника.

В последней он явился спасителем австрийского корпуса, находившегося под начальством принца Кобургского.

Принц, увидав неожиданно перед собой турецкую армию, послал нарочного за помощью к Суворову.

«Иду! Суворов...» — отвечал Александр Васильевич.

Тотчас по прибытии его, принц приказал просить его к себе.

«Суворов Богу молится!» — был получен ответ. Принц, немного подождав, прислал вторично.

«Суворов ужинает», — получил он в ответ. Третьему нарочному, присланному принцем, отвечали:

«Суворов спит».

Между тем, он не думал спать, а с высокого дерева обозревал расположение неприятель-

ских войск и слез тогда, когда совершенно стемнело.

На рассвете он явился к принцу и условился с ним о нападении.

Турки, между тем, в надежде, что будут иметь дело с одними австрийцами и легко победят их, перешли через крутые берега Рымника и сами атаковали неприятеля.

Тут они неожиданно для себя встретились с Суворовскими штыками.

Когда великому визирю доложили, что войском командует Суворов, он не поверил и сказал:

— Это, наверное, другой Суворов, потому что первый умер от ран в Кинбурне.

Турки обращены были в позорное бегство.

Суворов преследовал бежавших, не давал им пощады, приказав рубить их всех и не брать в плен.

Следствием Рымникской победы было, как мы уже знаем, взятие Белграда, сдача Аккермана и Бендер.

Императрица истинно по-царски наградила победителя.

Александр Васильевич получил знаки ор-

дена Андрея Первозванного, осыпанные бриллиантами, шпагу, тоже украшенную бриллиантами и лаврами и надписью: «Победителю верховного визиря», диплом на графское достоинство с наименованием Рымникского и орден святого Георгия I класса.

Последняя награда особенно обрадовала Александра Васильевича.

Вот что писал он по этому случаю своей единственной горячо любимой им дочери, воспитывавшейся в институте в Петербурге.

«Слышала ли, сестрица, — в письмах Суворов, иногда в шутку, так называл свою дочь, — душа моя. От моей щедрой матушки — рескрипт на полулисте, будто Александру Македонскому; знаки святого Андрея тысяч в пятьдесят, да выше всего, голубушка, первый класс святого Георгия. Вот каков твой папенька за доброе сердце. Чуть, право, от радости не умер».

Император Иосиф пожаловал Александра Васильевича графом римской империи, а принца Кобургского в генерал-фельдмаршалы.

После сражения принц, сопровождаемый

своим штабом, пришел в палатку Суворова и оба полководца, со слезами на глазах бросились друг другу в объятия.

Все эти подвиги и победы Александр Васильевич приписывал далеко не себе, а солдатам — чудо-богатырям, как он всегда называл их.

«Помилуй Бог, — говаривал он о них, — это моя семья, мои дети! Я с ними пройду весь свет, принесу Царьград на плечах и сложу у ног моей матушки-царицы».

Многие удивлялись привязанности к нему со стороны солдат.

— А знаете ли вы, — говорил Суворов, — за что меня солдаты любят и народ уважает?

— За ваши геройские подвиги.

— Полноте, геройские подвиги не мои, а того же солдата... Любит он меня за то, что я забочусь о нем, люблю как брата родного, как сына, рано встаю, пою петухом и не изгибаюсь ни перед неприятельскими пулями, ни перед дураками.

Солдаты и народ действительно боготворили Александра Васильевича.

Первые иначе не называли его, как «отцом

родным».

— Батюшка нам родной!

— Кормилец!

— Ясный сокол!

— Красное солнышко!

Таковы были эпитеты Суворова, даваемые ему в народе и в войске.

Его-то и избрал Потемкин для взятия твердыни Измаила, считавшейся неприступной.

Суворов тоже не понимал этого слова.

XVI

ИЗМАИЛ

Наступил декабрь 1790 года.

Взять Измаил было тогда единственной мыслью Григория Александровича Потемкина.

О чем бы он ни начинал говорить, всегда кончалось тем, что он переводил разговор на эту неприступную, сидевшую неотступно в его мозгу, турецкую твердыню.

По оборонительным средствам, это была третья крепость в Европе: вал ее имел четыре сажени вышины, а ров семь сажень глубины и

столько же ширины, шесть бастионов защищали стену крепости.

Гарнизон, снабженный на несколько месяцев провиантом, состоял из 35000 человек отборного войска, под командою храброго сераскира Аудузлу-паши.

Турки, таким образом, не без основания считали Измаил неприступным.

Гудович и Кутузов открыли осадные работы, но, не предвидя успеха, собрали военный совет, который, приняв в соображение наступление ненастной погоды, появившейся в войсках болезни, крайнее изнурение солдат и недостаток в продовольствии, решил снять осаду.

Известие это не успело еще дойти до Потемкина, когда, однажды вечером, де Витт, гадая светлейшему на картах, сказал, что Измаил сдастся через три недели.

— Я умею гадать лучше вас! — отвечал с улыбкой Григорий Александрович и вышел в свой кабинет.

Оттуда он немедленно послал приказ Суворову:

«Взять Измаил во что бы то ни стало».

Александр Васильевич понимал почти невозможность исполнить это приказание. Все лучшие военные авторитеты того времени признавали штурм Измаила делом неисполнимым.

Вся армия Суворова состояла из 28000 человек, терпевших от болезней и недостатков.

Но... солдат не рассуждает — Суворов стал готовиться к приступу, послав начальнику крепости письмо светлейшего главнокомандующего, в котором Потемкин требовал сдачи Измаила.

— Скорее Дунай остановится в своем течении и небо преклонится к земле, нежели сдастся Измаил! — отвечал гордый Аудузлу-паша.

Суворов послал ему вторично письмо от себя:

«Если сераскир в тот же день не выставит белого флага, то крепость будет взята приступом и гарнизон сделается жертвою ожесточенных воинов».

Это письмо осталось без ответа.

На Григория Александровича, между тем, напала нерешительность и он послал Суворову

ву вторичное приказание:

«Если предвидится невозможность взять
Измаил, то оставить».

Александр Васильевич отвечал:

«Намерение мое твердо решено; два раза
русские были у ворот Измаила: стыдно будет
третий раз отступить».

Собран был военный совет.

Бригадир Платов — будущий герой Отече-
ственной войны 1812 года, первый написал:
«штурмовать».

Другие написали тоже.

Радостно принял это решение Александр
Васильевич.

— Один день — Богу молиться; другой
день — учиться; третий день — славная
смерть или победа! — воскликнул он.

Из каждого полка были выбраны лучшие
старые солдаты.

— Чудо-богатыри, — сказал им Суворов, —
крепость непременно должна быть взята; это
повелевает матушка-царица, а воля ее — свя-
той закон.

Наступила ночь на 11 декабря.

Еще часа за три до рассвета во всем рус-

ском лагере царила глубокая тишина.

Вдруг взвилась ракета и рассыпалась сотнями звезд во тьме ночи.

Штурмовые колонны стали по своим местам.

По второй ракете войска двинулось, а по третьей бегом бросилось к крепости.

Гробовую тишину не нарушал ни один выстрел.

Только в двух стах шагах от Измаила нападающие были встречены адским огнем со всех батарей и со всего вала.

Турки, зная хорошо Суворова, не спали и ожидали нападения.

Пули, ядра и картечь свистали в воздухе. Огненный дождь лился на русские войска. Весь Измаил светился от выстрелов.

Наши продолжали подвигаться вперед, не отвечали на выстрелы и подошли ко рву крепости.

Мигом стрелки рассыпались по краю рва и, под прикрытием их выстрелов, русские спустились в ров, приставили к стенам лестницы и полезли на вал.

Завязался страшный рукопашный бой.

В числе бывших на валу находился и Кутузов, этот тоже будущий герой двенадцатого года, более двух часов боровшийся с малочисленным отрядом против несметного числа неприятелей, получавших беспрестанно свежие подкрепления.

Наконец, он послал своего адъютанта к Суворову с донесением, что вскоре он не будет более в силах удержаться на валу и просил помощи.

Суворов ответил посылкой 200 человек и велел передать Кутузову, что поздравляет его с назначением комендантом крепости Измаил.

Только Суворов мог сказать эти замечательные слова и только Кутузов мог понять их. Последний возобновил отчаянную борьбу.

Рассветало. Битва продолжалась с обоюдным ожесточением. Час проходил за часом, а кровопролитная резня не прекращалась.

Русские стояли уже твердою ногой в Измаиле и бились с неприятелем на улицах крепости.

Наконец, победа была одержана окончательно. Измаил пал.

Перо прозаика слишком слабо для описания подробностей этого свирепого штурма, где люди превратились в зверей, где кровь лилась потоками и где живые дрались, попирая ногами мертвых и даже полумертвых.

Недаром, взятие Измаила, считавшееся беспримернейшим эпизодом всемирной истории, вдохновило гений Байрона, посвятившего в своем «Дон-Жуане» этому событию много чудных строк.

Приведем их:

*Над крепостью раздался крик:
«Аллах!»
Зловещий грохот битвы покрыва-
вая,
И повторился он на берегах;
Его шептали волны, повторяя;
Он был и вызывающ, и могуч,
И даже, наконец, из темных туч
Святое имя это раздавалось,
«Аллах, Аллах!» — повсюду повто-
рялось.
Сдавался шаг за шагом Измаил
И превращался в мрачное кладби-
ще.
Нет, не сдались твердыни Измаи-*

ла,
А пали под грозюю. Там ручьем,
Алея, кровь струи свои катила...
Штыки вонзались, длился смерт-
ный бой,
И здесь и там людей валялись кучи;
Так осенью, убор теряя свой,
В объятиях бури стонет лес дре-
мучий...

Наш славный русский поэт Г. Р. Державин написал оду на взятие Измаила. Вот несколько стихов из нее:

Представь последний день приро-
ды,
Что пролилася звезд река,
На огонь пошли стеною воды,
Бугры взвились в облака;
Что вихри тучи к тучам гнали,
Что мрак лишь молнии свещали,
Что гром потряс всемирну ось,
Что солнце, мглою покровенно,
Ядро казалось раскалено:
Се вид, как вшел в Измаил Росс.

Трофеи штурма Измаила были: 200 орудий, 350 знамен, 10000 пленных и более нежели на

два миллиона разных товаров и военных припасов.

Убитых со стороны турок было 15000 человек, а с нашей — 10000 человек убитыми и ранеными.

Утром 11 декабря Александр Васильевич Суворов рапортовал князю Потемкину:

«Нет крепче крепости и отчаяннее обороны, как Измаил, павший перед троном ее императорского величества кровопролитным штурмом. Нижайше поздравляю вашу светлость».

Императрице Суворов рапортовал кратко: «Знамена вашего величества развеваются на стенах Измаила».

Город Яссы принял праздничный вид. От дворца светлейшего по дороге к Измаилу были расставлены сигнальщики, и адъютанты князя скакали взад и вперед по всему протяжению.

Григорий Александр ожидал к себе Суворова.

Но день проходил за днем, а герой Измаила не приезжал. Оказалось, что Александр Васильевич, не любя никаких парадных встреч,

нарочно приехал в Яссы ночью, а рано утром явился к Потемкину в длинной молдаванской повозке, заложенной парюю лошадей в веревочной сбруе.

Один из адъютантов Потемкина узнал, однако, приехавшего в этом оригинальном экипаже и поспешил доложить об этом светлейшему.

Григорий Александрович вышел на крыльцо и обнял и расцеловал измаильского победителя.

— Чем могу я, дорогой граф Александр Васильевич, — сказал он ему, — наградить вас за все победы над врагами и за взятие Измаила... Скажите, друг мой!

Этот покровительственный тон оскорбил Суворова.

— Помилуй Бог, ваша светлость! — отвечал он, отвешивая чуть не земной поклон. — Сколько милости!.. Меня никто не может награждать, кроме Бога и всемилостивейшей нашей матушки, государыни царицы.

Григорий Александрович побледнел и закусил губу. Молча он прошел в залу, где Суворов с почтительностью подчиненного подал

ему рапорт. Фельдмаршал холодно принял его и также холодно расстался с Александром Васильевичем. Его гордости был нанесен страшный удар.

Это не прошло даром Суворову. Он был вскоре отозван в Петербург. Императрица, желая вознаградить его, велела спросить: где он желает быть наместником.

— Я знаю, — отвечал Александр Васильевич, — что матушка-царица слишком любит своих подданных, чтобы наказать мною какую-либо губернию... Я размеряю силы с бременем, какое могу поднять... Для другого не в состоянии и фельдмаршальский мундир.

Но фельдмаршальского мундира он не получил и сделан был лишь подполковником лейб-гвардии Преображенского полка.

Дочь его была пожалована фрейлиной.

Падение Измаила произвело сильное впечатление на Турцию, но, уверенная в помощи Пруссии и Англии, Порты отвергала мирные условия, предложенные ей Потемкиным и решилась продолжать войну.

Вследствие этого Григорий Александрович, приказал войскам расположиться на зимних

квартирах в Молдавии, начал деятельные приготовления к предстоявшей кампании.

Расположение духа светлейшего было в то время далеко не из веселых.

Уже в последних письмах к нему императрицы он читал между строк, что государыня недовольна громадностью военных издержек и жаждет мира.

Между нею и ним стали набегать черные тучки.

В Петербурге же при дворе появилось новое лицо — Платон Александрович Зубов — новое восходящее придворное светило.

Быстрое возвышение двадцатидвухлетнего Зубова было неожиданно для всех, а особенно для Потемкина.

В 1789 году он был только секунд-ротмистром конной гвардии, на следующий год он уже был флигель-адъютантом государыни, генерал-майором и кавалером орденов: святого Станислава, Белого Орла, святой Анны и святого Александра Невского.

При таких явных знаках благоволения монархини, надменный Зубов не искал благосклонности и покровительства Потемкина и

не обнаруживал к нему того раболепного уважения, с каким все преклонялось перед князем Тавриды.

Такая смелость глубоко потрясла душу человека, в течение пятнадцати лет привыкшего не видеть себе совместника в доверии императрицы, в ведении государственных дел и в общественном мнении относительно силы своей у престола.

Чувство оскорбленного колоссального самолюбия зародилось в груди всемогущего до этого времени вельможи.

Ни пышность, ни великолепие, его окружающие, ни почести, везде ему воздаваемые, не могли залечить этой ноющей раны.

Особенно в Яссах, после взятия Измаила, был он мрачен, задумчив, скучен, искал развлечения и нигде не находил его.

Не скрывая своих чувств от государыни, Григорий Александрович писал ей в конце 1790 года:

«Матушка родная!

При обстоятельствах отягощающих, не оставляйте меня без уведомления. Неужели вы не знаете меру моей привязанности, кото-

рая особая от всех. Каково слышать мне, со всех сторон, нелепые новости и не знать: верить мне или нет?

Заботы в такой неизвестности погрузили меня в несказанную слабость. Лишась сна и пищи, я хуже младенца. Все видят мое изнурение. Ехать в Херсон, сколь ни нужно, не могу двинуться; в подобных обстоятельствах скажите только, что вы здоровы».

В начале февраля 1791 года Потемкин начал готовиться к отъезду из Ясс в Петербург, и сделав распоряжение по армии и флоту, 9 февраля снабдил князя Репнина следующей инструкцией:

«Отъезжая на кратчайшее время в Петербург, препоручаю здесь командование всех войск вашему сиятельству, а потому и предписываю: сколь возможно остаться до времени без движений, ради успокоения войск, разве бы нужно было подкреплять которые, части.

Флот гребной исправить в скорости. Как крепости Измаил, Килия и Аккерман должны быть уничтожены, то взять на то меры, употреблять жителей на помянутую работу. Про-

тив неприятеля иметь всю должную осторожность.

С поляками обходиться ласково и дружно, но примечать. Если бы турки вызвались на переговоры и предложили бы перемирие, не принимать иначе, как разве утвердят предварительно объявленный от меня им ультиматум, состоящий в том, чтобы утверждено было все поставленное в кайнарджинском трактате и потом бывшие постановления; границу новую на Днестре и возвращение Молдавии и Валахии, на кондициях выгодных для помянутых княжеств — *sine qua non*.

Казначейство будет зависеть от вашего распоряжения, о чем и в Варшаву я дал знать. Работами судов на Пруте и Днестре поспешить прикажите и почаству наблюдать.

Я в полной надежде, что ваше сиятельство все устроите к лучшему. Меня же уведомляйте через курьеров каждую неделю».

Мечты о восстановлении Византии снова начали копошиться в уме Потемкина, особенно вследствие того, что императрица, под влиянием Зубова и его партии, желала прекращения военных действий.

Григорий Александрович надеялся лично убедить государыню в необходимости продолжения войны.

Мысль о Зубове не давала ему покоя.

— Зуб болит, — говаривал он окружающим, — еду в Петербург вырвать...

Близкие к князю понимали этот намек.

Кроме этого государственного дела, у князя было в Петербурге еще дело личное..

Он хотел сам возвратить княгине Святозаровой ее сына Владимира.

Получив в дороге письмо княгини, он тотчас же ответил ей, что ее сын с честью сражается с неприятелем и вполне достоин имени, которое носит его мать, и что по окончании кампании он сам привезет его к ней.

В письме он много не распространялся.

Тогда же Григорий Александрович написал императрице письмо с подробным изложением семейного дела князей Святозаровых и его в нем участия и просил высочайшего ее соизволения на восстановление прав усыновленного дворянина Владимира Андреевича Петровского, дарования ему княжества и фамилии его отца Святозарова.

«Только сделать это надо, матушка, секретно, чтобы злые языки о том не проведали и не оскорбили княгиню-страдалицу нелепым подозрением», — заключил свое письмо Потемкин.

Императрица отозвалась на это письмо чутким женским сердцем и просьба Потемкина была исполнена.

Владимир Андреевич Петровский, за жизнью и воспитанием которого неусыпно следил князь, действительно, окончив курс в московском университетском пансионе, по собственному желанию пошел в военную службу, в армию, и в описываемое нами время служил в отряде Кутузова.

Во время штурма Измаила он был легко ранен, и ко времени отъезда светлейшего находился накануне выписки из лазарета.

В день своего отъезда Потемкин подписал приказ о переводе Владимира Андреевича Петровского в гвардию, с откомандированием в распоряжение фельдмаршала.

XVII НА ПУТИ

Вторая поездка Григория Александровича Потемкина в Петербург с театра военных действий сопровождалась такою же торжественною обстановкою, как и первая, после Очакова.

Во всех городах были парадные встречи, при звоне колоколов и пальбе из пушек, если таковые, конечно имелись в тех городах, которые проезжал светлейший фельдмаршал.

Роскошные пиры и праздники устраивались в честь победителя Очакова и Измаила в более значительных городах. Ночью путь князя освещался горящими смоляными бочками.

Но пресыщенного властелина не тешили почести, не радовали торжества. Он был уныл, сердит и мрачен.

Лишь при особом умении приближенных к нему лиц, в нем пробуждались интерес к чему-нибудь и желание.

В одном из маленьких городов, лежавших

на пути, жители ожидали проезда светлейшего с особенным нетерпением, так как хотели подать ему просьбу о городских нуждах.

Дни шли за днями. Наконец, ночью появился экипаж Потемкина. Жители окружили его. Но на их беду, князь дремал и не велел себя тревожить и останавливаться в городе.

В этом затруднительном положении горожане обратились к одному из свиты светлейшего, и тот, тронутый их просьбами, согласился устроить дело.

Когда Григорий Александрович сердито спросил, скоро ли будут готовы лошади, он отвечал:

— Сейчас, ваша светлость! А какая здесь капуста, какой хлеб! — добавил он, как бы про себя, со вздохом.

Потемкин вдруг встрепенулся:

— Где, братец, давай сюда!

Капуста и хлеб были мигом поданы. Они оказались действительно прекрасными. Князь покушал, похвалил, внимательно рассмотрел просьбу горожан и, найдя ее справедливою, тут же удовлетворил их желания.

Светлейший приближался к Тульской гу-

бернии.

Знали, что он выразил желание пробыть в Туле несколько дней, чтобы осмотреть оружейный завод.

— Тульский завод, — сказал дорогой Григорий Александрович, — есть такое государственное заведение, такой военный предмет, который заслуживает моего внимательного обозрения, и я непременно займусь этим делом тщательно и серьезно.

Когда это намерение светлейшего стало известным в Туле, все пришло в движение.

Везде готовились роскошные торжества, спектакли, иллюминации и разного рода увеселения.

Местные власти с неутомимой энергией спешили привести в порядок город и завод, в сладкой надежде хотя на одно слово похвалы полудержавного властелина, хотя на один взгляд одобрения.

Так ценны были милости светлейшего.

Тульский губернский предводитель с дворянством и чиновники всех присутственных мест были наготове по первой повестке явиться в парадных кафтанах к тульскому на-

местнику, генерал-аншефу Михаилу Никитичу Кречетникову, для представления могущественному вельможе.

По-видимому, и народ принимал живейшее участие в этой парадной встрече.

Множество крестьян пришли в Тулу из ближайших сел и деревень.

Все хотели посмотреть на человека, на которого обращено было внимание всех и слава о котором гремела по всей обширной России.

Ежедневно толпы этого пришедшего люда собирались по Киевской улице и осаждали тогда еще существовавшие триумфальные ворота, дворец, где должен был остановиться высокий путешественник, и крепость.

Михаил Никитич Кречетников, зная хорошо Григория Александровича, приказал, на всякий случай, приготовить на каждой станции все, что только могло удовлетворить причудливый вкус князя.

Тульский губернатор, Андрей Иванович Лопухин, ожидал дорогого гостя на границе Мценского уезда.

Все суетилось, готовилось, хлопотало.

Наконец, светлейший въехал в Тульскую

губернию и, нигде не останавливаясь, даже не вылезая из своего зимнего дормеза, продолжал путь.

Таким образом, сопровождаемый губернатором, капитаном-исправником и некоторыми чиновниками, он проскакал Малое и Большое Скуратово — станции, где переменяли лошадей, а Лопухин все еще не видал его.

Желая непременно представиться светлейшему и донести об этом свидании наместнику, Лопухин решил обратиться к любимому адъютанту князя — Бауру, который был не только ему знаком, но даже несколько обязан.

Это было в Сергеевске, в шестидесяти верстах от Тулы, где переменяли лошадей.

Баур, сидевший вместе с Григорием Александровичем, вышел из дормеза и Лопухин спросил его каким-нибудь средством доставить ему случай сейчас представиться князю.

— Хорошо, — ответил Баур, — я сделаю все, что могу, но за успех не ручаюсь.

Подойдя к дормезу и обращаясь к своим товарищам — другим адъютантам, которые от инея, облепившего их с головы до ног, бы-

ли похожи на белых медведей, громко он сказал:

— Вот каков русский мороз: и без румян покраснеешь! Бррр... хорошо бы теперь, знаете, перекусить чего-нибудь да подкрепиться водочкой.

Князь из наглухо закрытого дормеза не подавал голоса, хотя мог слышать этот разговор.

— Кто бы отказался от таких благ! — подхватил один из адъютантов, переминаясь с ноги на ногу у дормеза.

Потемкин молчал.

— Этак, пожалуй, чего доброго, застынешь как студень, — продолжал Баур.

— Ты шутишь, а нам не до шуток — мы смертельно прозябли.

Потемкин молчал.

— Ваша светлость, — крикнул, наконец, потерявший терпение Баур, подойдя к самому окну дормеза, — здесь приготовлен вкусный завтрак.

Григорий Александрович сделал легкое движение.

— Тульские гольцы теперь только из воды, а калачи еще горячие. Право, все это стоит

внимания вашей светлости.

Стекло дормеза опустилось.

— Алексинские грузди и осетровая икра заслуживают того же... — продолжал Баур.

— Гм!.. — отвечал Потемкин.

— А ерши, крупные, животрепещущие, так и напрашиваются в рот.

— Ой ли?

— Сверх того, ваша светлость, здесь мигом приготовят и яичницу-глазунью.

— Вели отворить карету! — крикнул Григорий Александрович, видимо, соблазненный последним блюдом русской кухни.

Светлейший вышел из дормеза, вытянулся во всю длину своего роста, окинул блуждающим взором своих полузамерзших спутников и сказал Попову и Бауру:

— Пойдем.

Они отправились к почтовому дому, где их действительно ожидали сытные яства и превосходное вино.

Когда с князя сняли шубу, он скорее упал, нежели сел в вольтеровское кресло в каком-то изнеможении, которое, вероятно, было следствием продолжительной и необычно-

венно скорой езды.

Баур, улучшив минуту, доложил ему, что тульский губернатор уже две станции сопровождает их и желает представиться его светлости.

— Попроси сюда господина губернатора, — отвечал Григорий Александрович и велел своему камердинеру подать флягу с водкой.

Баур бросился за Лопухиным в другое отделение почтового дома.

— Его светлость просит ваше превосходительство к себе... Пожалуйста скорее...

Лопухин не заставил себя ждать и вошел к князю, который, сидя откинувшись на спинку кресла, отвинчивал серебряную крышку у фляги, оклеенной красным сафьяном.

Увидя вошедшего, он сделал легкое движение головой, что означало поклон, и холодно сказал:

— Напрасно вы беспокоились, я слышал, что вы проехали с нами две станции.

— Три, ваша светлость, — отвечал Андрей Иванович.

— Напрасно, повторяю вам, — возразил князь, — я, право, не мог этого знать, потому

что не выходил из кареты.

Крышка, между тем, была отвинчена.

Светлейший налил в нее из фляги тминной водки, которую всегда употреблял, выпил, потом налил Попову, а флягу отдал Бауру, который, в свою очередь, также налил из нее, проглотил свою порцию и передал флягу камердинеру.

— Я здесь немного отдохну и позавтракаю, — продолжал Григорий Александрович, обращаясь к Лопухину, — а вы поезжайте с Богом в Тулу и потрудитесь поклониться Михаилу Никитичу, с которым я сам скоро увижусь... Вас же лично благодарю.

Князь опять сделал легкое движение головой. Андрей Иванович низко поклонился, вышел из комнаты, надел шубу, сел в сани и помчался в город.

Наступило продолжительное молчание.

Подали яичницу. Баур напомнил о ней светлейшему, полулежавшему в кресле, в мрачной задумчивости.

— Яичница готова, ваша светлость! — сказал Баур.

Потемкин встрепенулся, как бы от сна и

начал завтракать. Его примеру последовала и свита, и скоро яичница, а за ней и другие кушанья были истреблены по-военному.

В этот день вечером вся Тула осветилась иллюминацией. Светлейший въехал в город. Наместник, губернатор, вице-губернатор, губернские и уездные предводители с дворянством, многие военные генералы, штаб-офицеры, гарнизон, все чиновники присутственных мест встретили его у дворца.

Григорий Александрович был на этот раз в хорошем расположении духа.

Он был крайне вежлив с Кречетниковым, повторил свою благодарность Лопухину, сказал несколько приветливых слов генералам, губернскому предводителю, вице-губернатору, похвалил почетный караул, ординарцев и сделал всем остальным общие поклоны, прошел вместе с наместником и губернатором во внутренние покои дворца.

На другой день, за обеденным столом, к которому было приглашено более сорока особ, Григорий Александрович, обращаясь к Кречетникову, сидевшему с ним рядом, сказал, указывая на некоторые Кушанья.

— Я замечаю, Михаил Никитич, что вы меня балуете. Все, что я видел и вижу, доказывает особое ваше обо мне озабочивание.

— Очень рад, ваша светлость, — отвечал тот, улыбаясь, — что я мог угодить вам этими мелочами.

Взяв с тарелки огромную мясцовскую редьку, стоявшую на столе под хрустальным колпаком, Потемкин отрезал от нее толстый ломоть и продолжал:

— У вас каждое блюдо так хорошо смотрит, что я начинаю бояться за свой желудок.

Редька ему чрезвычайно понравилась; но он, к удивлению всех, взял, вслед затем, свежий ананас, разрезал его пополам и начал есть, заметив:

— У всякого свой вкус.

Тогда наместник провозгласил тост за князя, музыка заиграла туш и артиллерия, привезенная из парка, открыла пальбу.

— Все это прекрасно, Михаил Никитич, — сказал князь Кречетникову, — но здесь нет еще одной вещи, до которой я большой охотник и которую вы, помните, прислали мне с курьером в Бендеры.

— Не могу догадаться, ваша светлость, — отвечал несколько изумленный Кречетников.

— Вы, кажется, и калужский наместник?

— Точно так, ваша светлость.

— А забыли, что тульские обварные калачи едва ли лучше калужского теста...

На другой день за завтраком светлейший уже ел калужское тесто.

Князь, между тем, не забыл главнейшей цели пребывания своего в Туле — оружейного завода. Он посвятил ему два утра и осмотрел подробно во всех частях. Многие он одобрил, но многое нашел требующим значительных улучшений и преобразований.

Он сделал тут же некоторые распоряжения и приказал начальству выбрать двух чиновников, которых хотел послать в Англию для изучения оружейного искусства.

Он изъявил, кроме того, желание вызвать оттуда же опытных и знающих мастеров для закалки стали, которую делали у нас очень дурно.

Эти предложения светлейшего осуществились уже после его кончины.

Два дня и два вечера толпился народ на тульских улицах, то бегал за каретой Потемкина, с любопытством и уважением поглядывая на знаменитого вельможу, то любовался иллюминацией, дивился прозрачным картинам, глазел на тысячи предметов, для него диковинных и чудесных.

Два дня и два вечера в Туле непрерывно происходили торжества, спектакли, раздавались музыка и песни.

Наконец, Григорий Александрович уехал и город снова вернулся к своей однообразной и скучной жизни.

Императрица отправила навстречу светлейшему главнокомандующему графа Безбородко. Она ждала своего друга с радостью, вельможи же, которых он заслонил своим присутствием, с ненавистью.

Среди придворной толпы один только не боялся предстоящей встречи — это Платон Зубов. Страшно честолюбивый и затаивший ненависть против Потемкина, не дававшего ему быть «первою персоною» в государстве, он, поощряемый большой партией при дворе и благоволением государыни, вздумал сло-

мить гиганта. Предстояла борьба великана с пигмеем.

Встреча князя в Петербурге, куда он прибыл 28 февраля 1791 года, была необыкновенна по своей пышности.

XVIII ДЕНЬ ПОТЕМКИНА

С первого взгляда казалось, что Григорий Александрович ничуть не утратил своего могущества.

Роль его в устройстве государственных дел по-прежнему была первенствующая.

Имя его имело такое же, как и прежде, обаяние в придворных сферах.

Но... Это «но» было и у Потемкина; хотя императрица и относилась к нему по-старому благосклонно, однако порой замечалось с ее стороны как бы какое-то тайное предубеждение против князя.

Это были, видимо, результаты наветов графа Платона Зубова.

Светлейший, по самому своему характеру, не был склонен к мелким интригам — он

привык сокрушать смаху, одним ударом, а не валить противника «под ножку».

Понятно, почему этот чисто русский богатырь не мог терпеть совместничества во власти с Зубовым.

Не желая иметь с ним частых встреч, князь не остановился в приготовленных для него его прежних покоях в Зимнем дворце, а поселился в Таврическом.

Столкновений между этими «светилами», одним еще стоявшим на зените, а другим восходящим, не было, по крайней мере крупных.

Из мелких отметим лишь одно:

Вскоре после приезда Григория Александровича в столицу, императрица объявила Зубову, что дарит ему за заслуги имение в Могилевской губернии, заселенное 15000 душ крестьян, но потом спохватилась, вспомнив, что имение это уже подарено Потемкину.

Тогда она раз за обедом сказала князю:

— Продай мне твое Могилевское имение.

— При всем моем желании исполнить желание вашего величества, — сказал, весь вспыхнув, Потемкин, догадавшись для кого предназначается покупка, — исполнить его

не могу.

— Почему?

— Я продал имение...

— Кому?

— Вот ему... — оглянувшись кругом, сказал Потемкин, указывая на стоявшего за его креслом молодого камер-юнкера Голынского.

Императрица, догадавшись, что князь догадался о ее намерении, сильно смущенная, растерянно спросила Голынского:

— Как же ты это купил имение у светлейшего?

Григорий Александрович бросил на молодого человека выразительный взгляд.

— Точно так, ваше величество, купил... — ответил с низким поклоном догадливый Голынский.

В этом поступке виден гигантский размах «великолепного князя» — он не пожалел огромного богатства, швырнув его юноше, лишь бы это богатство не досталось Зубову.

В общем отношении Екатерина к своему подданному другу оставалась, однако, по-прежнему благосклонно. На него сыпались милостивые знаки внимания, награды и по-

дарки.

Григорий Александрович с присущим ему тактом, сам удалился от Зимнего дворца, проводя время у себя в Таврическом.

В своей домашней жизни князь всегда держался порядка, к которому сделал привычку еще в молодости.

Он ложился спать и вставал в назначенные часы.

Впрочем, нередко, особенно в описываемое нами время, он проводил целые ночи, ходя и лежа в постели, но не засыпая. Терпел от этого не столько сам князь, сколько Василий Степанович Попов, изумлявший всех своей неутомимой деятельностью.

Когда Григорий Александрович мучился бессонницей, то беспрестанно призывал его к себе, заставлял записывать мысли и планы, отдавал различные приказания и поручал тотчас же приводить их в исполнение.

Попов являлся всегда в полной форме, работал до утра, не смыкая глаз, и несмотря на это, когда Потемкин просыпался, первым входил к нему с донесением.

Такая неутомимость Василия Степановича

удивляла иногда даже самого князя, потому что Попов, не имевший буквально минуты покоя и исправлявший самые трудные и разнообразные обязанности, был постоянно весел и бодр.

Проснувшись и выслушав доклад Попова, князь на целый час садился в холодную ванну, потом одевался, отправлял краткое утреннее моление и выходил в столовую, где уже стоял завтрак, заключающийся обыкновенно в чашке шоколада и рюмке ликера.

Затем, если был весел, приказывал своим музыкантам и певцам исполнять какую-нибудь кантату.

Нередко он приглашал к завтраку и красавиц своих, которые, по выражению современника, «отличным образом прелестного обхождения и редкою красотою могли затмить самих граций».

Когда же князь был не в духе, что также случалось нередко, к нему никто не смел являться, за исключением должностных лиц, и все двери кругом затворялись, чтобы до него не доходил никакой шум.

После завтрака к Григорию Александрови-

чу снова входил Попов, вручал полученные бумаги и письма и оставался до тех пор, пока не получал приказа удалиться.

Попова сменял секретарь, имевший доклад два раза в день, потом медик, наконец все, прибывшие с поручением от разных правительств, иностранцы.

По отпуске последних Потемкин запирает свой кабинет и оставался часа два один.

Служить у Потемкина было трудно.

Василий Степанович Попов, отлично изучивший все привычки светлейшего, никогда и ни в каком случае не начинал говорить первым и не осмеливался напоминать ему о каком-либо деле, которое он почему бы то ни было медлил исполнять, потому что князь, никогда и ничего не забывавший, терпеть не мог напоминаний.

Не только служившие при князе лица, но даже все вельможи и иностранцы без изъятия должны были приноравливаться к его характеру, если не хотели навлечь на себя его неудовольствия и гнева.

Перед обедом, если не было надобности собственноручно писать императрице или не

удерживали другие важные дела, Григорий Александрович обыкновенно ехал навестить кого-нибудь из своих близких.

При возвращении, он подписывал все приготовленные бумаги, отдавал пароль и в два часа садился обедать.

Насколько был великолепен двор светлейшего, по блеску многочисленности равнявшийся королевскому, настолько был роскошен и его стол, к которому ежедневно собиралось несколько десятков гостей, званых и незваных.

В продолжении обеда играл прекрасный домовый оркестр князя, меняясь по очереди с хорами русских песенников и оперных певцов и певиц.

В это время Потемкин был почти всегда весел, разговорчив и любезен.

Хотя он, величием своей осанки и обхождением, немного резким и гордым, внушал каждому какое-то подобострастие к себе, тем не менее, все современники согласны в том, что князь был очень внимателен и снисходителен к своим гостям и не делал между ними никакого различия.

Григорий Александрович старался строго следовать правилам умеренности и трезвости и, для сбережения своего здоровья, воздерживался иногда по целым месяцам, от употребления вина и других излишеств.

После обеда, который продолжался не более двух, иногда трех часов, князь, посидев еще немного с гостями, удалялся в свой кабинет, где так же, как поутру, оставался некоторое время один.

Затем, если не препятствовали дела, он развлекался игрою в карты с приближенными к нему людьми.

Игра происходила всегда в глубокой тишине, потому что партнеры князя, зная его привычки, не говорили ни слова, кроме того, что следовало по игре, или если Григорий Александрович не подавал сам повода к разговору.

Вечером Потемкин занимался гимнастикой или гулял пешком.

Потом ехал в концерт или театр, если же назначал у себя вечера, что бывало довольно часто.

Кроме порядка, введенного в доме князя и соблюдавшегося им даже в походах, он неред-

ко давал великолепные, стоившие огромных издержек, балы, на которые приглашались все придворные, генералитет, офицеры.

Сознавая вполне необходимость и пользу развлечений, Потемкин заботился доставлять их не только себе, но и своим подчиненным.

«Чтобы человек был совершенно способен к своему назначению, — говорил он, — потребно оному столько же веселия, сколько и пищи; в рассуждении сего наипаче надлежит помышлять о солдатах, кои без того, быв часто повергаемы великим трудам и отягощениям, тратят бодрость и силы сердца. Унылое же войско не токмо бывает неспособно к трудным предприятиям, но и легко подвергается разным болезням».

Руководствуясь таким правилом, Григорий Александрович не жалел ни трудов, ни денег на устройство и содержание вверенных ему войск и этим приобрел себе искреннюю любовь подчиненных и солдат.

В тех случаях, когда около князя все веселилось, был весел и сам он, хотя нередко среди веселья внезапно подвергался припадкам своей обычной скупчивости и раздражитель-

ности.

Григорий Александрович ужасно боялся болезней и питал отвращение ко всем лекарствам.

Когда он заболел, нужно было иметь необыкновенное терпение, чтобы переносить капризы и раздражительность, проявлявшиеся в нем в это время.

Доктора возились с ним и день и ночь, как с ребенком и должны были давать ему лекарства обманом, в пищу и питье, потому что иначе он ни за что бы не принял их.

Несмотря на все просьбы медиков, он никогда не хотел слушаться их советов, не лежал в постели, когда того требовали обстоятельства болезни, и не мог долго выдерживать диеты.

Как только силы ему позволяли, он тотчас же выезжал и без разбора ел все, что нравилось. Скорое выздоровление производило в Потемкине чрезвычайную радость.

Вскоре после приезда в Петербург после падения Измаила, он простудился на охоте. Врачи уложили его в постель и приписали лекарство, которое, по обыкновению, осталось

нетронутым.

Почувствовав ночью сильный лихорадочный пароксизм, Григорий Александрович кликнул камердинера и велел подать себе горячего пунша. Несколько стаканов этого напитка вызвали, разумеется, обильный пот и князь вдруг почувствовал себя совершенно здоровым.

Это привело его в такой восторг, что он немедленно велел осветить весь дом, приготовить великолепный ужин и разослал гонцов будить всех своих коротких знакомых и звать их сейчас же на бал.

Еще не рассвело, как все уже танцевали под звуки двух оркестров. Потемкин сам открыл бал и старался доставить присутствующим разнообразные удовольствия, которые продолжались до самого обеда.

Вот мнение о великолепном князе Тавриды одного из его современников:

«При великих свойствах Потемкина, нельзя не дивиться и противоположностям, кои имел знаменитый вельможа в нравственном своем поведении. Характер его с этой стороны был из самых странных, каковой едва ли

можно в сравнении приискать в другом муже; поэтому нельзя верить, чтобы человек в состоянии был предаваться стольким непостоянным страстям, как Потемкин.

Люди, возраставшие с ним в молодости, обнадеживали, что он прихоти свои усвоил в совершенных летах, с приумножением его необычайного счастья, и что в молодости своей не оказывал он и следов такого нрава.

Великое богатство, дозволявшее ему издерживать ежегодно свыше трех миллионов рублей, не в состоянии было доставить ему радость, чтобы он хотя один день в покое оным наслаждался. Он не щадил великих сумм для удовлетворения страстям своим, и прежде нежели что-либо доходило к его употреблению, он терял уже желание, побудившее его в первые мгновения сделать на то издержки.

Сколько странна была сия его перемена страстей, столько же быстро действовала и переменчивость его душевного состояния; несколько раз в день можно было видеть его в полном веселии и удовольствии и столько же раз в совершенном унынии. Нередко случалось, что во время увеселений, князь ясно-

стью своего духа и радованием превосходил всех участвующих; но прежде, нежели кто-либо мог вообразить, делался он столь унылым, как бы произошли с ним все несчастья в свете.

Радость и огорчение с равномерною быстротою в нем действовать могли и потому нельзя было воспринимать осторожности, чтобы заблаговременно избегать его гнева, поелику нрав его был вспыльчивый и действия оного следовали скорее, нежели можно себе представить.

Малость в состоянии была доставить ему несказанное удовольствие и опять малость могла на целый день повергнуть в несносную скуку. Он имел некоторые часы, в которые сердце его таяло, иногда от радости, иногда же от сострадания; еще иные, в которые ему ничто на свете не нравилось, не могло восстановить его понуренного духа. Он имел привычку непременно окусывать ногти, отчего всегда говорил сквозь пальцы и большею частью наморщив лицо; а сие представляло в нем вид недовольный. Чтобы не видеть уныния на лице других, Потемкин, особливо же

в веселом духе, расточал свои сокровища, в другое же слезы невинности и бедности служили орудием к вящему раздражению его гнева; но через несколько мгновений приходил он в состояние, в котором о поступке своем раскаивался. Вообще, кроме занятий по своей обязанности, ни к чему на свете применить не мог».

Мы знаем истинную причину такого, оставшегося для современников, не посвященных в роман юности Потемкина, странно-го душевного состояния светлейшего князя, этого «несчастливого баловня счастья».

Загадочная хандра в последние приезды князя в Петербург повторялась с ним особенно часто.

Причиной ее с одной стороны была известная нам «болезнь зуба», вырвать который оказалось труднее, нежели князь предполагал, а с другой — душевное состояние княгини Святозаровой, с которой князь виделся несколько раз, и которая с нетерпением ожидала заключить в объятия своего второго сына.

Хандра напала на князя, как мы знаем, и в

день приезда в Петербург Владимира Андреевича Петровского, загадочным образом по-
павшего с первых же своих шагов в столице в
восточный домик Калисфении Николаевны
Мазараки, откуда под арестом его привезли в
Таврический дворец.

ХІХ ДУЭЛЬ

Состояние духа княгини Зинаиды Сергеев-
ны Святозаровой со дня полученного ею от
Аннушки известия о том, что сын, рожден-
ный ею в Несвицком, появления на свет кото-
рого она, как, вероятно, не забыл читатель,
ожидала с таким нетерпением, жив, до само-
го получения ею ответа на ее письмо от По-
темкина и даже после этого ответа, едва ли
поддается описанию.

Она, несмотря на громадную силу воли, хо-
дила положительно в каком-то тумане, с
единственной мыслью о предстоящем свидан-
ии с своим ребенком, которого она никогда
в жизни не видала.

Из письма Григория Александровича она

поняла, что последний все время заботился о Володе, как уже она мысленно называла своего сына, и несомненно, сделал его достойным имени, которое он будет носить.

«Которое носит его мать...» — вспомнилась ей фраза из письма Потемкина.

«Почему же он не написал достойным имени своего отца?» — возник вопрос в уме Зинаиды Сергеевны.

«Он прав!» — решила она через мгновение и горькое чувство к покойному мужу шевельнулось в ее душе.

«Царство ему небесное!» — остановила она сама течение этой мысли, которое могло разрастись до страшного обвинения.

Он искупил свою вину... страшной смертью...

Он покаялся перед ней коротким предсмертным письмом... Он написал в нем «наш сын». Он безумно ревновал ее, но ревность ведь признак любви... Можно ли обвинять в чем-нибудь человека, который любит... Любовь искупает все... — мелькали в уме княгини мысли, клонившиеся к защите несчастного самоубийцы...

Невольню в уме Святозаровой возникло сравнение между тем сыном, который с честью сражается с неприятелем, и этим, старшим, который проводит время среди праздности и веселья, в то время когда там, на границах Турции, льется кровь героев.

Володя, ее сын, один из этих героев.

Княгиня припоминает все подробности о ее неожиданно найденном сыне, рассказанные ей Григорием Александровичем, несколько раз посетившим ее по приезде в Петербург после падения Измаила.

— Он похож на Васю лицом и фигурой, только немного ниже ростом, да выражение лица более серьезное, вдумчивое, — перебирает в своей памяти Зинаида Сергеевна. — Он до сих пор не знает, кто он. Князь скажет ему это здесь, накануне свидания с нею... Потемкин для этого вызовет ее к себе... Свидание произойдет при нем...

Княгиню всю охватывала нервная дрожь при одной мысли, что эта минута скоро наступит.

— Скоро, очень скоро... Князь уже уведомил ее, что ее сын выехал из Ясс и... едет... Это

было вскоре после приезда светлейшего...
Уже давно, значит...

— Авось доедет благополучно... а так он здоров, совершенно здоров... Ужели... накануне... Не может быть... Бог этого не допустит.

Таковы были беспокойные мысли княгини Святозаровой.

Сердце ее болезненно сжималось, точно чуя какую-то близкую беду...

Беда на самом деле была у ворот, но не касалась ее нового — она так и называла его — «новый» — сына Владимира.

Мы оставили князя Василия Андреевича Святозарова в тот момент, когда он возвратился к себе после объяснения с князем Потемкиным, по поводу его ухаживания за Калисфенией Николаевной Мазараки, объяснения, как мы знаем, сильно подействовавшего на молодого человека и заставившего его совершенно изменить свое поведение относительно «потемкинской затворницы».

Насколько сильно ранее он искал с ней хотя мимолетной встречи, настолько после он упорно и настойчиво стал избегать ее.

Это было для него тем более необходимо,

что чувство к «прекрасной гречанке» далеко не потухло в сердце князя Святозарова.

Скажем более: властное потемкинское «не тронь — моя» и данное светлейшему честное слово, положив между ним и предметом его любви безбрежную пропасть, только усилило в нем обожание к этой женщине.

Она, со времени его объяснения со светлейшим, умерла для него, но память о ней была для него священна.

Он смешивал, как это всегда бывает с влюбленными, ее личность с своим чувством и чистоту последнего переносил на его предмет.

Фривольно и двусмысленно произносимое имя Калисфении заставляло его страдать и портило на несколько дней расположение его духа.

Товарищи знали это, и более чуткие и дальновидные щадили его и были осторожны в разговорах.

Увы, такой тактики держались не все.

Граф Владислав Нарцисович Сандомирский, бесплодно, как мы знаем, ухаживавший за красавицей-гречанкой, ничего не выиграл,

удалив с своей, как ему казалось, дороги князя Василия.

Скорее даже он проиграл.

На Калисфению разрыв с князем Святозаровым, так неожиданно начатый им самим, произвел неожиданное для нее самой впечатление. Ей вдруг страшно захотелось, чтобы князь Святозаров был снова у ее ног.

Это был каприз оскорбленного женского самолюбия — импульс, зачастую заменяющий у женщин любовь и страсть.

Она изобретала всякие способы, чтобы увидаться с князем, рассчитывая на силу своих чар, писала ему письма. Но Василий Андреевич оставлял их без ответа и не являлся ни к ней, ни в места, назначенные для свидания.

Молодая женщина выходила из себя, рвала и метала.

Это состояние духа далеко не способствовало победе над ней со стороны другого.

Граф Сандомирский оставался, как выражаются гадалки, при пиковом интересе.

Красавица перестала на него обращать даже небольшое, как прежде, внимание.

Пришлось отказаться от всякой надежды.

Фат по природе и воспитанию, пустой человек, с мелким самолюбием, граф Владислав Нарцисович был взбешен.

Он считал уничтоженным свой престиж «неотразимого», которым он так кичился в товарищеском кругу.

Он начал поднимать этот престиж, стараясь при всяком случае намекнуть, что он был близок к «жар-птице», но что она ему надое-ла.

«Слишком навязчива... не люблю таких... прямо бросилась на шею, так и висит, не стряхнешь... Ну, да я не из таковских — стряхнул... С такими, как она, чем круче, тем лучше... Видали мы их не одну сотню... какое, тысячу...» — врал озлобленно отвергнутый лове-лас.

Товарищи посмеивались, но слушали. Многие знали, что он врет, но молчали.

«Какое нам дело... Пусть врет...» — думали, вероятно, они.

По счастливой случайности, это хвастовство графа происходило без князя Святозарова.

В тот самый день, с которого мы начали наше правдивое повествование, у князя Василия Андреевича Святозарова был товарищеский обед, обильно политый всевозможными винами.

После обеда все холостое общество собралось в кабинете князя с трубками.

Разговор перешел, сообразно настроению собравшихся, на женщин и вообще и на Калифению Николаевну в частности.

О последней заговорил Сандомирский. Он стал, по обыкновению, рассказывать о своей к ней близости и вошел в самые пикантные подробности.

— Подлец! — вдруг, не выдержав, вскочил князь Василий.

— Что-о!.. — в свою очередь крикнул граф.

— Подлец!.. говорю я, кто рассказывает так о женщинах. Если же, вдобавок, он, как ты, врет, то подлец — вдвойне!..

Граф Сандомирский было рванулся к князю, с поднятой рукой, но его удержали.

— Ты мне за это ответишь!.. Думаешь, как самого тебя прогнала кокотка, так и всех...

Князь Святозаров поднял чубук и хотел

ударить им графа, но его также не допустили сделать этого.

— Ты мне ответишь... за это... — прохрипел князь, вырываясь из рук державших его товарищей.

— Хоть сейчас... — отозвался, тоже силившийся освободиться из непрошенных объятий офицеров, граф.

— Сейчас... так сейчас... вот шпаги... Снимите!.. — прохрипел князь Святозаров.

Над диваном, крест-на-крест, были расположены прекрасные, парные дуэльные шпаги.

Этому обороту дела присутствующие не решились воспрепятствовать.

Дуэли были тогда в ходу.

Оскорбление, служащее поводом к дуэли, несомненно имело место.

Двое из товарищей графа Сандомирского и князя Василия сами вызвались быть секундантами и начали говорить, что дуэль надо отложить до более удобного времени и назначить в более удобном месте.

— К чему... — сказал князь Василий, — он сам сказал сейчас... А я говорю здесь...

— Я согласен... — отозвался граф.

Секунданты подали противникам шпаги и поставили их на позиции.

Дуэль с хозяином дома, при весьма оригинальной обстановке в его собственном кабинете, началась.

Князь Василий горячился.

Граф Сандомирский, напротив, совершенно овладел собою и, видимо, хладнокровно рассчитывал каждый удар.

В этом было его преимущество, так как они оба фехтовали прекрасно.

Горячность погубила князя.

Он сделал неосторожный выпад и открыл противнику правый бок.

Шпага Сандомирского почти до половины лезвия вонзилась в бок князя Святозарова несколько выше бедра.

Этот страшный удар был, видимо, непредвиден самим графом, быть может и не желавшим убить товарища.

Владислав Нарцисович бросил эфес шпаги и в ужасе отступил.

Князь Святозаров медленно опустился на ковер кабинета. Шпага дрожала в его боку.

Широко раскрытые глаза князя были полны предсмертного ужаса.

Все присутствующие окружили тяжелораненного.

В наступившем переполохе не заметили, как граф Сандомирский выбежал из кабинета, а затем из дома.

Один из товарищей быстрым движением вынул шпагу. Кровь хлынула фонтаном и обогрела пушистый ковер. Глаза раненого закатились.

С помощью сбежавшейся прислуги раненого раздели, уложили на диван и сделали первую перевязку.

Прибывший очень скоро врач констатировал безнадежное положение князя Василия Андреевича.

Княгиня Зинаида Сергеевна, несмотря на осторожность, с которой ей сообщили о случившемся несчастье, бледная как смерть, поспешила к смертному одру своего старшего сына. Она приняла его последний вздох.

Он умер, не приходя в сознание.

Княгиню без чувств унесли наверх.

Все это произошло в тот самый вечер, ко-

гда Владимир Андреевич Петровский был в Большом театре и принятый Калисфенией Николаевной за его брата князя Василия Святозарова, совершил после спектакля таинственное и загадочное для него путешествие в восточный домик Васильевского острова.

Обморок княгини продолжался недолго. Несчастливая женщина, закаленная под ударами судьбы и поддерживаемая религиозным чувством покорности воле Божией, вскоре встала и почти спокойно стала делать необходимые распоряжения.

Дали знать полиции. Та по горячим следам бросилась за графом Сандомирским, но разыскать его не могли: он как в воду канул. Оказалось впоследствии, что он в этот же вечер бежал за границу.

Одинокая и беспомощная княгиня вспомнила естественно о Потемкине и о своем втором сыне, возвратить которого обещался ей светлейший. Она приказала заложить карету и поехала в Таврический дворец.

Мы знаем, что Григорий Александрович не принял ее: у него был припадок жестокой хандры.

Через несколько часов после ее отъезда был привезен Бауром Петровский.

Хандра князя на этот раз продолжалась с небольшим сутки.

Входивший на другой день несколько раз в кабинет светлейшего Попов застал его около четырех часов дня уже сидевшим за письменным столом. Он осторожно доложил ему о случае с Петровским И повторил свой вчерашний доклад о дуэли между князем Святозаровым и графом Сандомирским, со смертельным исходом для первого, и о посещении княгини.

Князь молча выслушал первую часть доклада и мрачно улыбнулся. На вторую часть он сквозь зубы сказал:

— Знаю!..

Наступило молчание. Григорий Александрович озлобленно кусал ногти.

— Петровского... сюда, — наконец произнес он. Попов вышел, чтобы исполнить приказание.

Через несколько минут смущенный и бледный Петровский уже стоял перед светлейшим князем.

Григорий Александрович принял его почти ласково, несмотря на свое мрачное настроение духа.

Он подробно рассказал ему историю его рождения и воспитания и окончил сообщением, что по воле императрице он теперь получил принадлежащий ему по праву княжеский титул и фамилию его отца и матери...

— Не обвиняй твоего несчастного отца... Быть может, каждый сильно любящий и дорожащий своею честью человек поступил бы так же как и он... не обвиняй и мать... они оба и виноваты и не виноваты... Оба они были жертвою светской интриги... небывалой, возмутительной... Кроме того, возмездие за их поступок уже свершилось... Отец твой окончил жизнь самоубийством... брат вчера убит в дуэли... Ты теперь один, будь опорой, утешителем своей матери... Она... святая женщина.

У Григория Александровича на глазах блеснули слезы. Расстроенный Владимир Андреевич плакал как ребенок. Князь дал ему выплакаться.

— Поедем к матери! — сказал он ему, когда

тот несколько успокоился. — Подожди меня в приемной, я оденусь.

Князь дернул за сонетку.

Владимир Андреевич, шатаясь, вышел из кабинета светлейшего и в изнеможении опустился на один из ближайших к нему стульев приемной.

XX

ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК

Мириады мыслей неслись в голове молодого офицера. Все прошлое восстало перед ним общей картиной; дымка таинственности с нее исчезла. Все мучившие его еще с детства вопросы вдруг получили неожиданное разрешение.

Все для него стало ясно, включительно до эпизода вчерашнего вечера. Она, Эта красавица, приняла его за брата, за того брата, который теперь лежит мертвый, убитый на дуэли.

«Быть может, из-за нее!» — мелькнуло в его голове предположение.

Он инстинктивно угадал истину.

Владимир Андреевич вырос без родитель-

ской ласки. Потребность в ней гнездится в сердце каждого человека. Имя «мать» звучит для всякого, даже дикаря, небесной мелодией.

«У него есть мать!» — это сознание, как вывод из объяснения князя, вдруг поселило в его душе какое-то неземное спокойствие.

«Поскорей бы очутиться в ее объятиях, поскорей бы начать жизнь для нее...»

До сих пор его жизнь казалась ему бесцельной, теперь цель жизни была отыскана. Широкая волна энергии и подъема духа охватила все его существо.

Князь Владимир Святозаров — так мы теперь будем называть его — встал.

В это самое время вышел из кабинета Григорий Александрович Потемкин.

— Едем! — коротко обратился он к Святозарову.

Владимир Андреевич с сильно бьющимся сердцем последовал за князем.

В карете всю дорогу они молчали. Григорий Александрович усиленно кусал ногти, что было у него, как известно, признаком сильного волнения.

Княгиня молилась у гроба сына, когда ей

доложили о приезде светлейшего князя Потемкина.

— Князь один? — спросила она лакея.

— Никак нет-с, с ними офицер.

Сердце княгини сжалось от охватившего ее волнения. Она догадалась, что это — он, ее сын. Зинаида Сергеевна вышла в гостиную.

— Княгиня... — сделал к ней несколько шагов Потемкин, — ваш сын, Владимир...

Не успел он договорить этой фразы, как княгиня Святозарова была уже на груди Владимира Андреевича.

— Володя, дорогой, милый... — шептала она, рыдая.

— Мама, мама... — задыхаясь от волнения, говорил молодой офицер, и слезы крупными каплями падали из его глаз.

Потемкин, усиленно моргая глазами, смотрел на эту сцену.

Когда сын и мать выплакались и успокоились, когда он перестал покрывать ее руки поцелуями, обливая их слезами, а она с какою-то ненасытностью целовать его в лоб, щеки, губы, Зинаида Сергеевна, вдруг, бросилась на шею Потемкину и поцеловала его в

губы.

Князь дрогнул и было в первое мгновение отшатнулся, но затем сжал княгиню в своих мощных объятиях.

— Княгиня... Зинаида Сергеевна... Зина... — заговорил он, не помня себя от нахлынувшего на него потока счастья.

— Вам, одному вам я обязана этим счастьем... Вам я обязана моим возрождением... Вы единственный светлый луч во тьме моей жизни... Гриш... Григорий Александрович...

Она опомнилась и отшатнулась.

Потемкин тоже пришел в себя... Страдальческая улыбка промелькнула на его губах.

— Я рад, княгиня, что мог доставить вам утешение в вашем горе... — сдержанным тоном сказал он. — Я хотел бы поклониться покойнику...

Он прошел в залу.

Княгиня, опираясь на руку сына, последовала за ним.

Они все трое преклонили колени перед гробом усопшего Василия.

Вскоре Потемкин уехал.

Он присутствовал через два дня на похоро-

нах молодого князя, которые отличались необыкновенною помпою и многолюдством.

Весь великосветский Петербург собрался проводить прах безвременно погибшего молодого человека, а главное посмотреть на нового, неожиданно, точно с неба, свалившегося сына княгини Святозаровой — Владимира Андреевича.

История появления этого сына в самых разнообразных версиях уже успела облететь все петербургские гостиные.

Злые языки уверяли, что это побочный сын Потемкина и княгини, не признанный покойным князем Андреем Павловичем, простившей жену под условием, что плод ее любви к Григорию Александровичу не разделит ни титула, ни состояния с их сыном.

Теперь законный сын умер, а незаконный вступил в его права. Могущество светлейшего сделало эту метаморфозу.

Так шептались в гостиных..

Молодого князя похоронили в фамильном склепе князей Святозаровых, на кладбище Александро-Невской лавры.

Таинственная история семейства князей

Святозаровых снова заняла умы петербургского большого света и заняла бы на более долгое время, если бы его внимание не отвлек данный светлейшим князем Потемкиным волшебный праздник в Таврическом дворце.

Приготовления к этому празднику делались уже давно, и также давно в обществе циркулировали слухи о тех и других подробностях его программы, но самый праздник превзошел как это нередко бывает, даже самые взыскательные ожидания, самую пылкую фантазию приглашенных, которых было множество.

Приглашен был буквально весь великосветский Петербург, кроме Александра Васильевича Суворова, которому светлейший не забыл нанесенной обиды.

К огорчению Григория Александровича, не могла, конечно, быть и княгиня Святозарова с сыном.

Наконец день праздника наступил.

Это было 8 мая 1791 года. На площади, перед Таврическим дворцом построены были качели и разного рода лавки, из которых без-

денежно раздавалось народу не только яства и питье, но платья, обувь, шляпы, шапки и прочее.

Народу, конечно, собралась несметная толпа. К дворцовому подъезду, между тем, один за другим подкатывали богатые экипажи. Над подъездом красовалась из металлических букв надпись, выражавшая благодарность Потемкина великодушной его благодетельнице.

Всех приглашенных было три тысячи человек, и все они как мужчины, так и дамы, должны были явиться в маскарадных костюмах.

На самом Григорие Александровиче был алый кафтан и епанча из черных кружев, стоившая несколько тысяч рублей.

Все это, по обыкновению светлейшего, сияло бриллиантами, а на шляпе его было их столько, что ему стало тяжело держать ее в руке и он отдал ее одному из своих адъютантов, который и носил за ним эту неоцененную драгоценность.

Обстановка и убранство комнат были великолепные.

Из передней, не очень большой комнаты, с трех дверей, входили в огромную большую залу с куполом и светом сверху. Под куполом устроены были хоры, на которых стояли невидимые снизу часы с курантами, игравшие попеременно пьесы лучших тогдашних композиторов; тут же помещены были триста человек музыкантов и певцов.

Во всю длину залы, в четыре ряда, шли высокие и массивные колонны из белого полированного гипса, образовавшие таким образом две узкие галереи, и по четырем концам которых были громаднейшие зеркала.

Окна находились не в продольных, а в поперечных стенах комнат, и тут, у каждого из этих стен, устроено было по эстраде, отделявшейся от полу несколькими ступенями.

Одна из эстрад, предназначавшаяся для императрице, была покрыта драгоценнейшим персидским шелковым ковром.

На каждой из эстрад стояло по огромнейшей вазе из белого каррарского мрамора, на пьедестале из серого; а над вазами висели две люстры из черного хрусталя, в которых вделаны были часы с музыкой.

Люстры эти стоили сорок две тысячи рублей.

Кроме того, в зале было еще пятьдесят шесть люстр и пять тысяч разноцветных лампад, белых и цветных, сделанных на подобие роз, тюльпанов и лилий и развешанных гирляндами.

При входе в залу, по обеим сторонам от дверей, устроены были ложи, задрапированные роскошными материями и убранные цветами.

Под ними были входы в четыре ряда комнат, обитых драгоценными обоями.

На стенах этих комнат красовались великолепные картины, купленные Потемкиным, как и описываемые нами вазы из черного хрусталя у герцогини Кингстон.

Из этих комнат особенным великолепием отличались комнаты, предназначенные для карточной игры императрицы и великой княгини Марии Федоровны. Обои в них были гобеленовские, софы и стулья стоили сорок шесть тысяч рублей.

В одной из этих комнат находился «золотой слон» и средней величины часы, стояв-

шие перед зеркалом на мраморном столе. Часы служили пьедесталом небольшому золотому слону, на котором сидел персиянин. Слон был обвешен драгоценными камнями.

Из большой залы был выход в зимний сад, в шесть раз больший эрмитажного и несравненно красивее распланированный.

На дорожках сада и на невысоких дерновых холмиках стояли мраморные вазы и статуи, изображающие гениев, из которых одни венчали очень сходно сделанный бюст Екатерины, а другие совершали перед ним жертвоприношения.

Посреди сада возвышался храм с куполом, достигавшим до самого потолка, искусно расписанного в виде неба. Купол опирался на восемь колонн из белого мрамора.

Государыня была представлена в царской мантии, держащею рог изобилия, из которого сыпались орденские кресты и деньги.

На жертвеннике была надпись: «Матери отечества и моей благодетельнице».

Сад был увешан также гирляндами разноцветных лампад в форме цветов и плодов, оглашался пением певчих птиц и был полон

ароматами от поставленных там и сям курильниц и фонтана, бывшего лавандового водою.

Эффект, производимый этой волшебной обстановкой, был чрезвычайный.

Самый Таврический сад, окружавший дворец, был точно также великолепно убран и иллюминирован. В нем построены были несколько новых мостов из мрамора и железа, несколько павильонов и беседок, а в аллеях поставлены были новые статуи.

В шестом часу съехались почти все приглашенные, но в роскошных залах дворца царствовала чинная тишина. Все ждали царицу праздника.

Пробило шесть часов и из уст в уста стали передавать известие, что императрица едет.

Действительно, вокруг дворца раскатилось громopodobное «ура». Это народ приветствовал свою «матушку-царицу».

Екатерина с великими княгинями Александрю Павловною и Еленою Павловною подъехала ко дворцу.

Григорий Александрович принял ее из кареты, а в передней комнате встретил импера-

трицу наследник престола Павел Петрович и его супруга Мария Федоровна.

Сопровождаемая всей высочайшей фамилией, государыня прошла на приготовленную для нее, в большой зале, эстраду и начался балет сочинения знаменитого балетмейстера того времени Пика.

В балете участвовали двадцать четыре пары из знатнейших фамилий — на подбор красавцы и красавицы.

Все они были в белых атласных костюмах, украшенных бриллиантами, которых в итоге было на десять миллионов рублей.

Предводительствовали танцевавшими великие князья Александр и Константин Павлович и принц Виртембергский.

В конце балета явился сам Пик и отличился необыкновенным соло.

Стало уже смеркаться.

Григорий Александрович пригласил императрицу, со всей высочайшей фамилией, в театр, устроенный в одной из боковых зал, куда последовала и часть гостей, сколько могло уместиться.

Когда занавес поднялся, на сцене появи-

лось лучезарное солнце, в середине которого в зеленых лаврах стояло вензелевое имя Екатерины II.

Поселяне и поселянки, воздавая к солнцу руки, выражали движениями благоговейные и признательные к нему чувства.

Затем следовали две французские комедии и балет.

В последнем представлен был смирнский купец, торгующий невольниками всех народов, между которыми не было ни одного русского.

После спектакля императрица, в сопровождении великих князей и княжен, прошла сперва в большую залу, а потом в зимний сад.

Там уже все приняло другой вид.

Дворец освещен был ста сорока тысячами лампад и двадцатью тысячами восковых свечей.

Он был буквально залит светом, всюду отражавшимся в бесчисленных зеркалах, всюду дробившемся в хрустале и драгоценных украшениях.

— Неужели мы там, где и прежде были? — спросила Потемкина Екатерина, изумленная

и, видимо, довольная представившимися ей великолепным зрелищем.

Государыня последовала в зимний сад.

Там заливались на все голоса соловьи и другие птицы.

На колоссальной, украшенной хрусталем пирамиде, находившейся между храмом и устроенной за ним лиственной беседкой, сверкало бриллиантовыми литерами имя Екатерины, от которого на все стороны исходило сияние.

На других пирамидах горели составленные из фиолетовых и зеленых огней вензелевые имена наследника престола, его супруги и обоих великих князей, Александра и Константина Павловичей.

Когда императрица со своею свитою подошла к храму, Григорий Александрович на его ступенях упал на колени перед изображением государыни и благодарил ее за все ее благодеяния.

Екатерина ласково подняла его и поцеловала в лоб.

По возвращении высочайших особ в залу, начался бал.

Он открылся знаменитым польским Козловского «Гром победы раздавайся», слова которого сочинил Державин, с трескотней литавр, пением и пушечными выстрелами.

Императрица во время бала играла в карты с великой княгиней Марией Федоровной, а гости, кроме обыкновенных танцев, забавлялись плясками, русскою и малороссийскою музыкой, устроенными в комнате качелями и разными другими увеселениями.

Прохладительные напитки, плоды и конфеты подавались непрерывно.

Угощался и веселился по-своему и народ в дворцовом саду, который тоже весь горел огнями.

Иллюминированы были беседки, иллюминированы аллеи, иллюминированы суда, стоявшие на прудах, иллюминированы берега самых прудов.

Роговая музыка и хор песенников попеременно услаждали слух несметной толпы гуляющих.

На столе, за которым ужинала императрица с наследником престола и его супругою, был золотой сервиз и сам Потемкин прислу-

живал императрице, пока она не попросила его сесть.

Сервировка и посуда и на других столах были драгоценные. Нечего и говорить, что ужин состоял из самых изысканных и редких блюд.

После ужина бал продолжался до самого утра, но императрица с высочайшей фамилией уехала в исходе второго часа ночи.

Никто и не помнил, чтобы она у кого-либо оставалась так долго.

Когда она уже выходила из залы, с хор, закрытых стеклянными сосудами, сиявшими яркими огнями, слышалось нежное пение с тихими звуками органа.

Пели известную итальянскую кантату, слова которой были следующие:

«Царство здесь удовольствий, владычество щедрот твоих; здесь вода, земля и воздух — дышат все твоей душой. Лишь твоим я благом и живу, и счастлив. Что в богатстве и в почестях, что в великости людей, если мысль — тебя не видеть — дух ввергает в ужас! Стой, не лети время, и благ наших нас не лишай! Жизнь наша — путь печали: пусть на ней

цветут цветы».

Императрица обернулась к провожавшему ее Потемкину и объявила ему свое живейшее удовольствие и признательность за прекрасный праздник.

Григорий Александрович упал перед Екатериной на колени, схватил ее руку и прижал к губам своим. Она была глубоко тронута, он плакал.

На глаза императрицы тоже навернулись слезы...

Многие из присутствующих при этом говорили потом, что светлейший был растроган потому, что предчувствовал близкую смерть.

Предчувствовал ли он ее, или нет — неизвестно, но смерть, действительно, уже избрала его своей жертвой, и во время этого «волшебного праздника» он в последний раз видел императрицу в своем доме.

Ранним утром разъехались от Таврического дворца последние экипажи, и он опустел и принял угрюмый вид.

Угрюмый, проводив гостей, отправился на покой и его светлейший хозяин.

XXI ЗАКАТ

После данного Потемкиным «волшебного праздника», он еще около трех месяцев оставался в Петербурге.

Для такой отсрочки отъезда в армию, казалось, не было основательной причины, но князь просто хандрил и не хотел ехать.

Это странное поведение главнокомандующего породило в Петербурге массу слухов.

Говорили даже, что он хлопотал о разрешении основать из областей, отнятых у турок, особое царство и владычествовать в нем под протекторатом России.

Это были, конечно, выдумки досужих и праздных умов.

На самом деле на Григория Александровича напал продолжительный припадок его болезненной хандры, и он, бросив все дела, то валялся по целым неделям на диване в своем кабинете нечесанный, полураздетый, то задавал пиры и проводил в самых необузданных оргиях по несколько дней и бессонных ночей

подряд.

Временами «великолепный князь Тавриды» по целым часам стоял на коленях, бил с рыданием головой в пол перед образами, в горячей молитве, то в бешеной злобе катался по широким оттоманкам, изрыгая страшные ругательства и проклятия, а иногда по целым дням сидел, уставившись в одну точку, грызя ногти, не слыша и не видя ничего и никого, и не принимая пищи.

Вдруг, среди ночи, это мрачное настроение сменялось бурным весельем.

Таврический дворец горел огнями, гремела музыка, пел хор певцов, начинались увлекательные танцы, дорогие вина лились рекой и сам хозяин был как-то необузданно весел и ухаживал за женщинами с пылкостью юноши.

Но в середине пира, внезапно он хмурился, уходил на полуслове; музыка смолкала, огни потухали, и сконфуженные гости спешили разъехаться по домам.

Между тем, на театре войны турки потерпели несколько чувствительных поражений.

Еще в последних числах марта генерал-по-

ручик князь Голицын, переправясь через Буг, взял Мачин, срыл его и потом овладел укреплениями на острове Концефан, лежащем против Браилова. В начале июня генерал-майор Кутузов разбил турок при Пободаче, а командовавший на Кавказе, генерал-аншеф Гудович, взял приступом сильную и важную крепость Анапу; наконец, 28 июля князь Репнин одержал блистательную победу над верховным визирем при Мачине.

Диван, уstraшенный мачинской победой и падением Анапы предписал верховному визирю сделать Репнину мирные предложения.

Все эти победоносные подвиги русских войск не были известны в Петербурге.

Хандривший Потемкин не распечатывал пакетов князя Репнина, которые последний один за другим слал ему с курьерами, напрасно ожидавшими ответа светлейшего главнокомандующего в кордегардии Таврического дворца.

Слух о курьерском пленении дошел до придворных сфер, но не находилось смельчака доложить о действиях Потемкина императрице.

Узнал об этом и Алексей Григорьевич Орлов, а на другой же день он присутствовал за завтраком во дворце среди небольшого кружка первых вельмож двора.

Тут, среди других, находился и остроумец того времени Лев Александрович Нарышкин.

Разговор зашел о необыкновенном молчании князя Репнина по поводу военных действий с турками. Больше всех возмущался поведением Репнина Нарышкин.

Орлов молчал, но под шумок разговора незаметно собрал со всего стола ножи и спрятал их под салфетку около своего прибора.

— Лев Александрович! Отрежь, благодетель, телятинки, что около тебя стоит, — обратился он к Нарышкину, сидевшему на противоположном конце стола.

— С удовольствием, Алексей Григорьевич, с удовольствием.

Нарышкин начал искать нож около телятины, около своего прибора, на всем столе, но безуспешно.

— Чудеса в решете... Точно от суцеглупых все ножи обобрали... Эй, кто там! — крикнул он.

— Постой, Лев Александрович, не надо ножей, вот они здесь, это я нарочно... Ты вот говоришь, что Репнин вестей не шлет и здесь ничего о войне неизвестно! А как же быть известным, коли все репнинские вести, как у меня ножи, у светлейшего Григория Александровича под спудом лежат.

— Как, что такое? Как под спудом?

— Да так!.. Он нынче в грустях находится и курьеров с письмами Репнина без ответа во дворце держит, и писем не читает, и подступиться никто к нему не смеет.

— Да как же это можно?

— Нам с тобой не можно, а ему можно, — съязвил Орлов.

— Нет, это великолепно... — восхитился Нарышкин. — Отобрать все ножи и просить отрезать... Так и письма Репнина... Сегодня же буду у ее величества в Царском, насмешу ее до слез... Ножей нет, а отрежь...

Нарышкин хохотал от души.

Он, действительно, сообщил это императрице, но далеко не насмешил ее.

Государыня рассердилась.

Она призвала к себе Василия Степановича

Попова и приказала ей немедленно доставить все пакеты Репнина, а затем сама приехала к Потемкину и объявила князю в решительных выражениях о необходимости отъезда в армию.

Григорий Александрович должен был покориться.

Он выехал 24 июля 1791 года.

Он ехал медленно, в покойном экипаже, но, несмотря на это, путешествие чрезвычайно утомляло его.

Но через несколько дней пути он вдруг ожил.

Эта бодрость, впрочем, была неестественная, а следствие сильного раздражения и страшного гнева.

По дороге Григорий Александрович встретил курьера, отправленного из армии в Петербург, и узнал от него, что князь Репнин уже подписал мирный договор с Турцией.

Забыв свою болезнь, Потемкин стрелою помчался в Галац.

Тотчас же по прибытии туда был позван князь Репнин.

— Несчастный, что ты сделал!.. — восклик-

нул Григорий Александрович.

— Я исполнил свой долг... — спокойно отвечал Репнин.

— Ты изменил мне...

Князь Репнин нахмурился.

— Как ты смел начать без меня кампанию? — неистовствовал Потемкин.

— Я должен был отразить нападение тридцатитысячного турецкого корпуса сераскира Ботал-Бея.

— Но как дерзнул ты заключить мир не только без моего согласия, но даже не посоветовавшись со мной?.. Мир невыгодный, и в тот самый день, когда Ушаков одержал победу над турецким флотом у мыса Калакрии, когда султан уже трепетал видеть русский флот под стенами Царьграда... Несчастный!

— Я исполнил свой долг, повторяю вам, ваша светлость.

— А я повторяю тебе... — с пеной у рта закричал Григорий Александрович, — что ты головой заплатишься мне за эту дерзость... Я велю тебя судить, как изменника...

— Ваша светлость... — возразил Репнин, с трудом сдерживая свой гнев, — если бы вы не

были ослеплены в эту минуту гневом, то я заставил бы вас раскаяться в последнем слове...

— Угрозы... — зарычал Потемкин. — Да ты знаешь ли, что через час я могу приказать расстрелять тебя...

Князь Репнин гордо поднял голову и пристально глядя на светлейшего, спокойно отвечал ему:

— Знаете ли, князь, что я могу арестовать вас, как человека, противящегося повелениям государыни.

Григорий Александрович остолбенел.

— Что это значит? — спросил он задыхающимся голосом.

— Это значит, что я повинуюсь и обязан отдавать отчет в своих действиях одной государыне императрице.

Потемкин понял, что во время пребывания его в Петербурге императрица уполномочила князя Репнина на самостоятельные действия.

Страшный удар был нанесен его самолюбию.

Он удалился к себе в кабинет и слег в постель, на самом деле совершенно разбитый и нравственно, и физически.

В это время, а именно в половине августа, в Галаце скончался брат великой княгини Марии Федоровны, принц Виртембергский.

Григорий Александрович полубольной был через несколько дней на похоронах. Выйдя из церкви, он, в задумчивости, вместо своей кареты, сел на похоронные дроги, но во время в ужасе отступил.

Это произвело страшное впечатление на суеверного Григория Александровича.

Через пять дней его, уже совершенно больного, повезли в Яссы.

Тут болезнь князя ежедневно стала усиливаться, и натура, изнуренная трудами, страстями и невоздержанностью, не могла победить ее, несмотря на старание и искусство генерал-штаб-доктора Тимона и доктора хирургии Массота.

Сначала, впрочем, ему стало лучше, но, по нетерпеливости своего характера, он не берегся, то и дело нарушая правила диеты, и болезнь перешла в горячку.

К нему приехала его племянница, графиня Браницкая.

Григорий Александрович пожелал приоб-

щиться святых тайн и послал за духовником своим, архиепископом херсонским Амвросием, который и прибыл к нему вместе с русинским митрополитом Ионою.

Оба они умоляли князя беречь себя, принимать лекарства и воздерживаться от вредной пищи.

— Едва ли я выздоровею, — отвечал он им, — сколько уже времени, а облегчения нет, как нет. Но да будет воля Божия! Только вы молитесь о душе моей и помните меня. Ты духовник мой, — обратился Григорий Александрович к Амвросию, — и ведаешь, что я никому не желал зла. Осчастливить человека было целью моих желаний.

Амвросий и Иона не могли удержать рыданий и, обливаясь слезами, приступили к исполнению великого таинства.

Потемкин исповедовался и приобщился с живейшими знаками веры и тотчас же велел собираться к выезду из Ясс.

— По крайней мере умру в моем Николаеве, — говорил он, — а то место сие, наполненное трупами человеческими и животных, более походит на гроб, нежели на обиталище

ЖИВЫХ...

2 октября дрожащею рукою он подписал последнюю официальную бумагу — полномочие генералам Самойлову, Рибасу и Лошкареву на окончательное ведение мирных переговоров с Турцией, а 4 числа, бережно уложенный в экипаж, отправился в Николаев, в сопровождении графини Браницкой, правителя канцелярии Попова и нескольких слуг.

С самого начала дороги Григорий Александрович жаловался по временам на сильную боль в желудке.

В общем, впрочем, он был в веселом расположении духа.

— Тише, тише! — кричал он во время приступов боли кучеру. Ехали тихо и в день отъехали только двадцать пять верст. К ночи припадки желудочной боли усилились. Экипаж остановился. Князя внесли в хату, стоявшую на дороге. Он несколько раз спрашивал:

— Скоро ли рассветет?

Чувствуя удушье, он судорожно вырывал пузыри, заменявшие в хате стекла.

— Боже, Боже мой, как я страдаю... — изредка стонал князь.

— Дядюшка, успокойтесь, в Николаеве вы отдохнете, выздоровеете... — успокаивала его графиня Александра Васильевна.

— Выздоровею... — повторил Григорий Александрович... — К чему мне выздороветь... Я лишний на этом свете... Императрица более не нуждается во мне...

Горькая усмешка пробежала по губам светлейшего.

— Дядюшка, вы несправедливы... Государыня до сих пор к вам расположена... Когда мир будет окончательно заключен...

— Мир... — заскрежетал зубами Потемкин, — мир! Я не хочу мира! Этот мир опозорит меня в глазах всего света... Я хочу войны, жесткой, упорной, неумолимой... и хоть бы мне пришлось вести ее на свой счет, я продал бы свое последнее имение и отдохнул только в Царьграде...

Волнение еще более усилило боли...

Наконец, занялась утренняя заря. Потемкина снова уложили в карету и продолжали путь. Боли несчастного страдальца все усиливались.

— О, как я страдаю, как страдаю... — то и

дело повторял он.

— Потерпите, дядюшка, мы остановимся у первого дома...

— Не могу... стой... — пронзительно вскрикнул Григорий Александрович.

Кучер вздрогнул и остановил лошадей.

Место было совершенно пустынное. С одной стороны расстилалась бесконечная равнина, с другой чернелся густой лес... Кругом не было видно ни одного жилища. Браницкой стало страшно.

— Остановитесь! Мне дурно! Теперь некуда ехать, некуда ехать... Умираю... Выньте меня из кареты... я хочу умереть в поле...

Слуги, окружившие карету, поспешно разостлали белый плащ под деревом, стоящим при дороге, и положили на него князя. Свежий воздух раннего утра облегчил страдания больного.

— Где ты... где! — произнес он слабым голосом, потухающим взором отыскивая свою племянницу.

— Я здесь, дядюшка, не угодно ли вам чего...

— Мне худо, очень худо, дайте образ...

Ему подали образ Христа Спасителя, с которым он никогда не расставался.

Он взял его благоговейно, поцеловал три раза, осенив себя крестом.

— Мне худо, очень худо, — повторил он.

— Пройдет, дядюшка...

Князь безнадежно покачал головой.

— Наклонись ко мне...

Александра Васильевна села рядом и наклонила свою голову к умирающему.

— Дай мне руку... вот так... Слушай... более тридцати лет... служил я государыне верой и правдой и теперь, в предсмертную минуту, сожалею только об одном... что прогневил ее...

— Оставьте, дядюшка, эти печальные мысли... они несправедливы.

— Слушай... скажи государыне... Боже... опять... опять... эти страдания... Господи! В руке Твои предаю дух мой...

Князь замолчал и казалось успокоился. Холодная рука его продолжала держать руку графини Браницкой.

— Его светлость отходит, — сказал стоявший рядом казак. Все окружавшие поняли

горькую истину этих слов. Александра Васильевна приложила руку к сердцу Григория Александровича.

Оно не билось.

Тот же казак положил дрожащей рукой на глаза усопшего две медные монеты.

Светлейший князь Потемкин-Таврический, президент государственной военной коллегии, генерал-фельдмаршал, великий гетман казацких екатеринославских и черноморских войск, главнокомандующий екатеринославскою армиею, легкою конницею, регулярною и нерегулярною, флотом черноморским и другими сухопутными и морскими военными силами, сенатор екатеринославский, таврический и харьковский генерал-губернатор, ее императорского величества генерал-адъютант, действительный камергер, войск генерал-инспектор, лейб-гвардии Преображенского полка полковник, корпуса кавалергардов и полков екатеринославского кирасирского, екатеринославского гренадерского и смоленского драгунского шеф, мастерской оружейной палаты главный начальник и орденов российских: святого апостола Ан-

дрея Первозванного, святого Александра Невского, святого великомученика и победоносца Георгия и святого равноапостольного князя Владимира, больших крестов и святой Анны; иностранных: прусского — Черного Орла, датского — Слона, шведского — Серафима, польского — Белого Орла и Святого Станислава кавалер — отошел в вечность.

Ночью, в той же самой карете, окруженный конвоем и освещенной факелами, привезли усопшего обратно в Яссы.

XXII

ПОХОРОНЫ ПОТЕМКИНА

Графиня Александра Васильевна Браницкая была права, говоря своему покойному дяде Григорию Александровичу Потемкину, что он не прав, жалуясь на изменившееся к нему отношение императрицы.

Екатерина, на самом деле, выпроводив князя из Петербурга, как того требовала честь государства и его личная, нимало не уменьшила своего расположения к подданному-другу.

Целый ряд самых ласковых и ободряющих ее писем полетел вслед за Григорием Александровичем, едва он выехал из столицы.

Императрице нужно лишь было, чтобы он «для славы империи» уехал в армию; но она все-таки по-прежнему ценила его таланты и сердце.

Когда донеслась до Екатерины первая весть о болезни светлейшего, она писала ему:

«О чем я всекрайне сожалею и что меня же столько беспокоит, есть твоя болезнь и что ты мне пишешь, что не в силах себя чувствуешь одной выдержать. Я Бога прошу, чтобы он отворотил от тебя сию скорбь, а меня избавил от такого, удара, о котором и думать не могу без крайнего огорчения».

«Обрадовал ты меня, — писала она в другом письме, — прелиминарными пунктами о мире, за что тебя благодарю сердцем и душою.

Желаю весьма, чтобы великие жары и труды дороги здоровью твоему не нанесли вреда, в теперешнее паче время, когда всякая минута требует нового труда.

Adieu, mon ami».

Болезнь князя очень сильно беспокоила государыню.

Подтверждением этого служит заметка в дневнике Храповицкого от 28 августа 1791 года: «Получено известие через Кречетникова из Киева, что Потемкин был очень болен и что к нему поехала Браницкая... Печаль и слезы».

Опечаленная Екатерина на другой же день, то есть 29 августа, ездила ко всенощной в Невский монастырь и пожертвовала в тамошнюю церковь большое серебряное паникадило, золотую лампаду к раке святого Александра Невского и несколько золотых сосудов с антиками и бриллиантами.

Вслед затем четыре курьера, один за другим, привезли сведения, что князю все хуже и хуже.

Наконец, 14 октября прискакал нарочный из Ясс с роковым известием, что Потемкина не стало.

Весть эта поразила императрицу, как громом. Она впала в совершенное отчаяние, заперлась в своем кабинете, плакала и долго не могла утешиться.

— Мне некем заменить Потемкина, — говорила она окружающим, — он имел необыкновенный ум, нрав горячий, сердце доброе; глядел волком и потому не пользовался любовью многих; но, давая все, благодетельствовал даже врагам своим; его нельзя было купить — он был настоящий дворянин.

Уведомляя о смерти князя принца Нассау-Зигена, Екатерина писала:

«Это был мой ученик, человек гениальный; он делал добро своим неприятелям и тем обезоруживал их».

Письмо государыни к Гримму — великолепное надгробное слово светлейшему.

«Древо великое пало — был человек необыкновенный», — сказал о Потемкине московский митрополит Платон.

Честолюбивый фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский не любил Григория Александровича и постоянно завидовал его значению и влиянию при дворе.

Когда, как вероятно не забыл читатель, в 1788 году главное начальство над действующею армиею против турок было вверено императрицей Потемкину, Румянцев оскорбился

предпочтением, оказанным его противнику, уехал из армии и поселился в деревне, которую уже не оставлял с тех пор до самой своей кончины.

Он получил известие о смерти светлейшего, сидя за ужином со своими друзьями, князем Дашковым и Апраксиным.

Старый фельдмаршал быстро поднялся с кресла, стал на колени перед образом и громко произнес:

— Вечная тебе память, князь Григорий Александрович!

Затем, обратись к Дашкову и Апраксину, удивленно глядевших на него, сказал:

— Чему вы удивляетесь? Князь был мне соперником, может быть даже неприятелем; но Россия лишилась великого человека, отечество потеряло сына, бессмертного по заслугам своим.

Подробности об обстоятельствах, сопровождающих необыкновенную по своей внезапности смерть «необыкновенного человека», ходили из уст в уста по обширной России.

Кроме описанного нами происшествия с погребальными дорогами, рассказывали еще

следующее предзнаменование кончины Григория Александровича.

На одной из черниговских церквей, во имя святого Иоанна Богослова, до сих пор находится 600-пудовый колокол, отличающийся необыкновенно приятным звуком.

Народная молва говорила, что, когда Потемкина, по приезде в Чернигов в 1791 году, встречали колокольным звоном во все городские колокола, он отличил звук богословского колокола и с удовольствием слушал его.

Захворав, он пробыл в Чернигове три дня и в продолжение всего этого времени велел звонить в колокол.

«Потемкин звонит по себе!» — говорили в народе.

Когда князь выехал из Чернигова, колокол стащили и повезли в только что основанный Екатеринославль.

Народ со слезами провожал свою потерю.

Вдруг колокол воротился с дороги... с ним вместе пришла весть о кончине Потемкина.

Императрица велела похоронить Потемкина почти с царскими почестями и великолепием и поставить в Херсоне мраморный па-

МЯТНИК.

Тело усопшего, по прибытии в Яссы, было поставлено в доме, где он жил прежде, в большой зале, которая, к этому случаю была вся обита черным крепом с флеровыми перевязями по бортам. Часть залы была отделена для катафалка черною шелковою занавесью, обложенною по бортам серебряным позументом, и большими висячими серебряными кистями и подтянутою серебряным шнуром; несколько поодаль поставлена была баллюстрада, обитая черным сукном и обложенная сверху по краям широким серебряным позументом.

Потолок этого отделения был задрапирован, наподобие павильона, черным сукном и увит крестообразно по краям белыми и креповыми перевязями.

По середине отделения был поставлен амвон, обитый красным сукном, с тремя степенями, обложенными по краям серебряным позументом.

На амвоне сделано было возвышение, покрытое богатою парчою, на котором стоял гроб, обитый розовым бархатом, выложен-

ный богатыми позументами с серебряными скобами, на серебряных подножиях и покрытый великолепным златотканым покровом.

Над гробом возвышался огромный балдахин из розового бархата, обложенный по краям черным бархатом с богатым золотым позументом.

Спуски его были из розового бархата, обложенные золотым позументом с бахромой и подтянутые шнурками с небольшими золотыми кистями.

Балдахин стоял на десяти древках, обтянутых розовым бархатом и перевитых серебряными позументами и укреплен к полу восьмью золотыми шнурками, на которых висели большие золотые кисти. Верх балдахина украшался черными и белыми страусовыми перьями, а внутренность была обложена белым атласом.

В головах, на особом возвышении, лежала на парчовой подушке княжеская корона, обвитая лаврами.

На первых ступенях гроба, у головы с обеих сторон, стояли табуреты, покрытые красным сукном с золотыми по краям позумента-

ми, на которых были положены подушки из малинового бархата, обложенные золотым позументом с бахромою и висячими по углам золотыми кистями.

На них с правой стороны лежал фельдмаршальский жезл, а с левой пожалованный покойному императрицей золотой лавровый венок, усыпанный изумрудами и бриллиантами; с той же стороны лежала крышка от гроба, на которой были укреплены шпага, шляпа и шарф.

На последней ступени были расположены на бархатных подушках все ордена умершего, по старшинству их, все знаки власти, полученные им от щедрот монарших.

По сторонам катафалка возвышались две пирамиды из белого атласа, увешанные перевязями из черного и белого крепа.

На пирамиде, стоявшей с правой стороны, виден был герб Потемкина, осененный двумя знаменами великого гетмана; на черной доске изображена была белыми буквами следующая надпись:

«В бозе почивающий светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Тавриче-

ский и прочее и прочее, усерднейший сын отечества, присоединитель к Российской империи Крыма, Тамани, Кубани, основатель и соорудитель победоносных флотов на южных морях, победитель сил турецких на суше и на море, завоеватель Бессарабии, Очакова, Бендер, Аккермана, Килии, Измаила, Анапы, Кучук-Кале, Сунии, Тульчи, Исакчи, острова Березанского, Хаджибея и Паланки, прославивший оружие Российской империи в Европе и Азии, приведший в трепет столицу и потрясший сердце Оттоманской империи победами на морях и положивший к преславному миру с оною; основатель и соорудитель многих городов, покровитель науки, художеств и торговли, муж, украшенный всеми доблестями общественными и благочестием.

Скончал преславное течение жизни своей в княжестве Молдавском, в 34 верстах от столичного города Ясс, в 1791 года, октября в пятый день, на 52 году от рождения, повергнув в бездну горести не только благодетельствованных, но едва ведающих его».

На пирамиде, стоявшей с левой стороны, находился герб, во всем подобный первому,

осененный справа кейзер-флагом, слева — гетманским знаменем.

Девятнадцать больших свеч, в высоких подсвечниках, обложенных золотою парчою, и множество меньших свеч, поставленных кругом гроба, освещая катафалк, придавали всему великолепный вид.

При гробе были учреждены дежурства из одного генерал-майора, двух полковников, четырех штаб-офицеров, восьми обер-офицеров, одного генерал-адъютанта и одного флигель-адъютанта.

11 октября жителям города было объявлено, что желающие отдать последний долг покойному фельдмаршалу будут допускаться без изъятия.

Народ стоял толпами; горесть была написана на всех лицах, преимущественно военные и молдавские бояре проливали слезы о потере своего благодетеля и защитника.

В это время, поставленный у дверей залы офицер раздавал нищим мелкие серебряные деньги.

Поклонение телу происходило в тот день от 3 до 6 часов пополудни.

В часы прихода для поклонения у головы усопшего стояли по обеим сторонам два генерал-адъютанта, у середины гроба по два офицера гвардии и два флигель-адъютанта, несколько подалее по два офицера екатеринославского гренадерского полка, лейб-гвардии бомбардирской роты и кирасирского князя Потемкина полка, а у баллюстрады по два офицера того же полка в супервестах.

12 числа двери залы были отворены для публики от 10 часов утра до двух часов пополудни и от 3 до 8 часов вечера.

В это же время, по-прежнему, происходила раздача нищим мелких серебряных денег.

Между тем, один генерал-адъютант, два флигель-адъютанта на лошадях, в сопровождении одного эскадрона кирасирского князя Потемкина полка, в траурном одеянии, с литаврами, покрытыми черным сукном, возвести городу о времени выноса тела, которое назначено было на другой день в 8 часов утра.

Шествие происходило в следующем порядке:

- 1) Эскадрон конвойных гусар усопшего

фельдмаршала.

2) Кирасирский полк князя Потемкина.

3) Дом покойного в трауре.

4) Верховые лошади в богатых уборах; каждую вели два конюха в богатых ливреях, в черных епанчах и шляпах.

5) Сто двадцать человек солдат с факелами, в черных епанчах и в распущенных шляпах с черным флером.

6) Двадцать четыре обер-офицера в траурном одеянии со свечами.

7) Двенадцать штаб-офицеров в траурной одежде со свечами.

8) Бояре княжества Молдавского, князья и посланники черкесские.

9) За ними должен был следовать генералитет, но генералы выносили гроб и шли по сторонам его до самого монастыря.

10) Знаки отличия, из которых каждый несли штаб-офицеры с двумя обер-офицерами за ассистентов: а) ордена святого Андрея Первозванного; б) святого Александра Невского; в) святого Георгия I класса; г) святого Владимира I класса; д) Белого Орла; е) святого Станислава; ж) прусского Черного Орла; з) Дат-

ского Слона; и) Шведского Серафима; и) святой Анны I класса; к) камергерский ключ; л) гетманская булава; м) гетманская сабля; н) жалованная шпага; о) венец золотой с бриллиантами; п) бант от портрета императрицы; р) фельдмаршальский жезл; с) гетманское знамя; ф) княжеская корона.

12) Гроб на черных дрогах, запряженных 8 лошадьми, в черных пополах, из которых каждую вел конюх в черной епанче и шляпе.

13) Парадная карета, покрытая черным сукном, запряженная 8 лошадьми, под черными покрывалами; при ней конюхи в парадных ливреях и черных епанчах.

14) Родственники покойного.

15) Шествие замыкали: эскадрон конвойных гусар, казачий полк великого гетмана и донской казачий полк князя Потемкина.

По совершению литургии, преосвященный Амвросий, местоблюститель экзархии молдавско-валахской, вышел было сказать надгробное слово, но, зарыдав, не мог выговорить ни слова и возвратился в алтарь.

По окончании отпевания, когда запели «вечную память», сделав одиннадцать вы-

стрелов, войска произвели троекратный беглый оружейный огонь.

Церковь огласилась рыданием присутствующих.

Штаб и обер-офицерам были розданы золотые кольца с именем покойного фельдмаршала.

Четырем полкам были розданы на каждого человека по рублю серебром.

Тело покойного оставалось еще на несколько дней в монастыре, а затем было перевезено в Херсон и 23 ноября положено в крепостной соборной церкви во имя святой Екатерины, в особом склепе, куда все желающие могли входить и служить панихиды.

Особенно горевали о Григории Александровиче солдаты.

— Покойный, его светлость, — твердили они, — был наш отец, облегчал нашу службу, довольствовал нас всякими потребностями; словом сказать, мы были избалованные его дети; не будем иметь подобного ему командира; дай Бог ему вечную память!

Но были люди, которые обрадовались смерти светлейшего князя.

Прежде всего — все придворные.

Рады были смерти Потемкина и его родственники, получившие от него огромное наследство в десять миллионов и неисчислимые художественные сокровища.

В память Потемкина государыня, кроме памятника, приказала изготовить грамоту с перечислением всех подвигов и хранить ее в соборной церкви Херсона.

В степях Бессарабии, на том месте, где умер «князь Тавриды», возвышается небольшая пирамида.

XXIII

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Гигант пал.

Князь Тавриды, жизни и действительности которого мы посвятили наше правдивое повествование, отошел в вечность.

Остается сказать лишь несколько слов о судьбе оставшихся в живых второстепенных выведенных нами героев и героинь и о судьбе останков светлейшего князя Тавриды.

Эта судьба последних, как и жизнь и

смерть русского Алкивиада, не из обыкновенных.

Калисфения Фемистокловна Мазараки не выдержала монастырского заключения и, не получая ответа от своей дочери, поняла, что последняя оставила ее на произвол судьбы.

Бывшая куртизанка загрустила, а через год с небольшим после приезда в монастырь утонула в монастырском пруде.

Начальство монастыря, впрочем, приписало это несчастной случайности, и наложившая на себя руки грешница была похоронена по христианскому обряду и нашла успокоение от полной тревожений жизни на монастырском кладбище.

О судьбе матери Калисфения Николаевна узнала лишь после смерти Григория Александровича, кстати сказать, не очень ее огорчившей — она уже успела себе составить большое состояние.

Равнодушно узнала она и о том, что ее матери уже нет в живых. Эгоизм, почти нечеловеческий, нашел себе воплощение в этой красавице.

Возмездие, впрочем, не заставило себя

ждать. Года через три после смерти Григория Александровича, она увлеклась венгерцем — наездником из цирка, который сумел быстро обратить красавицу и убежать с ее капиталом за границу.

К довершению несчастья, Калисфения Николаевна заболела. У нее сделалась оспа, поветрие которой было тогда в Петербурге.

Крепкий организм выдержал болезнь, но... она встала с постели уродом.

Когда она подошла к зеркалу, то невольно отшатнулась.

Изрытое лицо, глаза, лишенные ресниц, с воспаленными веками, поредевшие волосы сделали неузнаваемой за какие-нибудь два месяца очаровательную женщину.

Калисфения Николаевна зарыдала.

Это были первые серьезные слезы ее жизни — горькие слезы безнадежного отчаяния.

Она поняла, что ее жизнь кончена. Красота и деньги были главными рычагами ее существования. У нее не было ни того, ни другого.

На другой день ее нашли повесившеюся на шелковом шнурке в том самом будуаре, слу-

жившем алтарем поклонения ее исчезнувшей красоты, где было принесено столько жертв, где несколько томительно-сладких минут провел Владимир Андреевич Петровский-Святозаров.

Она висела на крючке, вбитом в потолок для снятой на летнее время люстры.

Искаженное лицо удавленницы обращено было к висевшему на стене большому портрету, из золотой рамы которого насмешливо смотрел на нее Григорий Александрович Потемкин.

Восточный домик после смерти Мазараки был приобретен родственниками покойного Потемкина и лучшие вещи, вместе с портретом светлейшего князя, вывезены, а другие распроданы.

Вырученные деньги, как выморочное имущество, поступило в казну.

Домик был заколочен наглухо.

О нем на Васильевском острове сложилось множество легенд, пока, пришедший в ветхость, он не был продан на слом уже в конце царствования императора Александра I.

Княгиня Зинаида Сергеевна Святозарова

была глубоко потрясена вестью о кончине Потемкина.

Она нашла, впрочем, утешение в своем «новом» сыне, который свято сдержал слово, данное им светлейшему — быть опорой матери, умершей через десять лет после смерти Григорий Александровича.

В царствование императора Павла и особенно Александра I князь Владимир Андреевич Святозаров сделал блестящую карьеру.

Аннушка и Анфиса нашли себе приют в одном из отдаленнейших и строгих женских монастырей и постриглись в монашество, сделав богатый вклад из оставшихся нерозданных денег, взятых с собою из Петербурга.

Игуменья этого монастыря отличалась святой, почти отшельнической жизнью. Она начала в нем с самых тяжелых трудов послушницы около тридцати лет тому назад и дослужилась до звания игуменьи за свое более чем строгое житье.

Кто она и при каких обстоятельствах поступила в монастырь, — никто из монашек не знал.

Для Аннушки в лице игуменьи, матери До-

сифеи, мелькнуло что-то знакомое.

Бывшая горничная княгини Святозаровой стала напрягать свою память и вспомнила.

Мать Досифея оказалась никто иная, как пропавшая без вести графиня Клавдия Афанасьевна Переметьева.

Императрица Екатерина пережила своего подданного друга на шесть лет.

В первый же год царствования Павла I, который не любил Потемкина и увидев из его бумаг, как много он вредил ему в мнении императрицы, херсонским губернатором были получены следующие бумаги:

Помеченная 18 апреля 1798. Секретно.

«Милостивый государь мой, Иван Яковлевич.

Известно государю императору, что тело покойного князя Потемкина до ныне еще не предано земле, а держится в особо сделанном под церковью погребу, и от людей бывает посещаемо, а потому, находя сие непристойным, высочайше соизволяет, дабы тело без дальнейшей огласки в самом же том погребу погребено было в особо вырытую яму, поверх засыпано землею и

выглажено, как бы его никогда не бывало.

*Вследствие чего, о такой высокомо-
наршей воле вашему превосходитель-
ству сообщая, есмь впрочем с истин-
ным и непременно почтением ваше-
го превосходительства, милостивого
государя моего покорный слуга*

Алексей Куракин.

Марта 27 дня 1879 года».

Приказ был, конечно, немедленно исполнен.

Не прошло и месяца, как была получена бумага и о памятнике Потемкину, воздвигнутом по велению Екатерины II.

Бумага эта, помеченная 7 мая 1798 года, была следующего содержания:

«Милостивый государь мой, Иван Яковлевич.

Господин действительный тайный советник генерал-прокурор и кавалер князь Алексей Борисович Куракин 10 минувшего марта сообщил мне высочайшее его императорского величества повеление, на имя его данное, чтобы сооруженный в Херсоне от каз-

ны в память князю Потемкину памятник был уничтожен.

А потому предписав о точном и немедленном исполнении сего высочайшего соизволения херсонскому коменданту, нужным почитаю об оном известить сим и ваше превосходительство.

Имею честь быть с совершенным почетом вашего превосходительства покорнейший слуга

Граф Михаил Каховский.

Апреля 27 дня 1798 года».

Херсонский комендант вскоре донес, что высочайшая воля относительно памятника князя Потемкина исполнена.

Эти распоряжения подали основание молве, быстро облетевшей всю Россию и проникшей за границу, будто тело князя вынуто было из гроба и зарыто бесследно во рву херсонской крепости.

Молва эта была несправедлива — тело оставалось в гробу неприкосновенным.

В 1818 году при объезде епархии екатеринославский архиепископ Иов Потемкин, по родству, пожелал убедиться в справедливости

носившегося слуха.

Ночью 4 июля в присутствии нескольких духовных лиц поднят был церковный пол, проломан свод склепа и вскрыт гроб.

Архиепископ удостоверился в присутствии в гробу тела.

Рассказывали, что он вынул из склепа какой-то сосуд и поместил его в свою карету; в сосуде этом, по догадкам, находились внутренности покойного.

Говорили, что сосуд отправлен был в сельце Чижово, Смоленского уезда, на родину князя.

Предание гласит, что захватив из склепа сосуд, иерарх взял и портрет императрицы Екатерины II, осыпанный бриллиантами, лежавший в гробу.

В 1859 году, по случаю внутренних починков в церкви, пять лиц спустились через пролом в склепе и, вынув из развалившегося гроба засыпанные землею череп и некоторые кости покойного, вложили их в особый ящик с задвижкой и оставили в склепе.

Около этого времени, как рассказывают, из склепа взято было все до последней пугови-

цы, куски золотого позумента и даже сняты полуистлевшие туфли Потемкина.

Череп и несколько костей — вот что осталось от великолепного «князя Тавриды».

Позднейшее потомство лучше оценило заслуги великого государственного мужа.

В 1836 году «благодарный Новороссийский край» с высочайшего соизволения воздвиг в честь Потемкина в центре Херсона, в городском саду, новый бронзовый памятник, который изображает князя во весь рост, облеченного в рыцарскую мантию: лицо его обращено к завоеванной им Тавриде, а взор устремлен на Екатеринославль.

В одной руке он держит фельдмаршальский жезл — эмблему военных подвигов, в другой — подзорную трубу — эмблему зоркой проницательности.

Чудный вид принимает памятник среди деревьев, когда весеннее солнце яркими лучами играет на его блестящей поверхности.

Колоссальная фигура князя, превосходно исполненная знаменитым художником Мартосом, возвышается на гранитном пьедестале, окруженном чугунными колоннами и це-

ПЬЮ.

В 1873 году херсонское земство повесило в церкви святой Екатерины в память князя Таврического небольшую мраморную доску с надписью.